СЕРГЕЙ АНТОНОВ

ЦАРСКИЙ ДВУГРИВЕННЫЙ





СЕРГЕЙ
АНТОНОВ

ЦАРСКИЙ ДВУГРИВЕННЫЙ

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

ЦАРСКИЙ ДВУГРИВЕННЫЙ

ПОВЕСТЬ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1981

Р2
А72

Текст печатается
по изданию:
С. Антонов. Три повести.
М., «Известия», 1973.

А 70803—081 / М158(03)—81

Наташе

1

Все это случилось давным-давно, когда деньги называли червонцами, жили без паспортов, кино смотрели по частям, боролись с волокитой, трамбовали бетон ногами, мастерили детекторные радиоприемники, когда в моде были штиблеты фасона «шимми» и на базарах продавали занимательную игрушку «Борьба Маркса с торгашами».

В те далекие времена, когда были еще живы изобретатель граммофона Томас Альва Эдисон и великий художник Репин, а Маяковский дописывал поэму под названием «Хорошо!», ревизор международных вагонов прямого сообщения Зиновий Мартынович Таранков прибыл домой выпивши.

Прибыл он среди ночи и с клеткой. В клетке бились два голубя.

Хотя ревизор долго плутал под дождем, клетку он все-таки дотащил и положил на кровать в ноги.

Проснулся он от голубиного гуркования. В памяти всплыла вчерашняя пирушка, длинная карточная баталия — сперва преферанс, потом «по носам». Хозяин проигрался в пух и в прах и вместо выигрыша всучил сильно выпившему ревизору голубей.

Припомнив всю эту чертовщину, Таранков выплюнул изо рта перышко и велел сыну убрать клетку с глаз долой.

Сына Таранкова во дворе звали Таракан. Таракан никогда не смеялся. Лицо его казалось костяным. Сколько ему было лет, тринадцать или четырнадцать,— отец не помнил, а сам Таракан не знал. Мать его оставила в наследство сыну зеленоватые, золоченые глаза и сбежала с дутовским есаулом куда-то в Харбин. Таракан был мальчишка тщедушный, но отчаянный. Все знали, что где-то на себе он прячет острый, как бритва, самодельный кинжальчик — «перышко»,— и без нужды к нему не приближались.

Таракан вынес клетку с голубями во двор.

— Митька, смотри-ка,— простонал вымазанный чернилами Коська.— Вот это так крем-бруле!

Долговязый Коська знал множество красивых выражений: «Крем-бруле», «Я по-прежнему такой же нежный» и даже «Лиловый негр мне подает пальто», но применял их не всегда к месту. Парень он был туповатый и считал, что в Америку ездят на поезде.

Вместе с мальчишками подошла поглядеть на голубков и шестилетняя Коськина сестренка Машутка, замечательная тем, что почти со дня своего рождения носила дамскую шляпу с большим зеленым пером.

Ребята любовались голубями. Только Славик сидел на корточках возле помойки и, притворяясь занятым, выковыривал щепкой из земли винтовочный патрон.

Среди дворовых ребят царили твердые правила и обычаи. Например, дома рубли назывались рублями, а во дворе — хрустами. Перед дракой обязательно надо было засучить рукава. Слабый должен беспрекословно слушаться сильного. Всем было известно, кто кого должен бояться. Машутка боялась Митю, Митя боялся Коську, а дылда Коська, хотя ему и стукнуло пятнадцать лет и у него уже была дама сердца, боялся Таракана.

Славик боялся всех, даже Машутку.

Только что получив от Коськи ни за что по уху, он решил выказать гордость и некоторое даже чувство собственного достоинства. «Сейчас позовут,— думал он,— а я скажу: «Благодарю вас... Мне некогда. Ко мне с минуты на минуту придет учительница музыки... Кроме того, у меня будет день рождения, и мне подарят турманов не хуже ваших».

Но его никто не звал, к сожалению.

Некоторое время ребята смотрели, как Таракан выправляет погнутые прутья клетки. Потом Коська спросил:

— Ты чего это делаешь?

— Стригу шерсть с черепахи,— ответил Таракан.

Зрители почтительно помолчали.

Конопатый до самых ушей, будто заржавленный, Митя протянул загадочно:

— А я знаю, где сетку для голубятни стырить!

Водить голубей была его заветная мечта.

— Думаешь, Таракан сам не знает? — сказал Коська.— Голубей гдей-то унес, так сетку и подавно унесет. Таракан чего хочешь стырит.

Примитивная лесть не подействовала. Таракан в беседу не включался.

— А голуби дорогие. Чистые,— сказал Коська.

— Ясно, чистые. Трубачи,— согласился Митя и, чтобы понравиться Таракану, добавил:— Три хруста — пара. Не меньше.

— Ну да, три,— возразил Коська.— Пять хрустов.

Мальчишки выжидали. Митя понимал, что кого-то из них Таракан обязательно должен взять в напарники. На общем дворе, куда выходит не меньше шестидесяти окон, одному человеку голубей не уберечь.

— Вот ты, Коська, заладил: «Пять хрустов, пять хрустов», а не знаешь, почему трубача называют трубачом. А я знаю,— похвастал Митя.

— И я знаю.

— Почему?

— Потому.

— А почему?

— Потому что они трубят.

— Ты что — очумел?

— А чего? Раздувают зоб и трубят нутром.

— Трубач залетает на небо и падает оттудова камнем,— снисходительно объяснил Митя.— Падает и перекувыркивается. И, не разобравшись, может угодить в трубу. Потому и называется трубач.

Ребята посмотрели на Таракана. Он и на этот раз не изъявил желания включиться в беседу.

— Я так считаю, что голубятню надо ставить на крыше. С нашей крыши всех голубятников видать.

— Это правда,— добавил Коська.— С нашей крыши всех голубятников видать.

Таракан не отозвался и на это разумное соображение.

Он вычистил клетку и собрался уходить.

И тут Коська не выдержал:

— Таракан, прими, а-а-а!..— заныл он, как нищенка. У него ломался голос. Он ныл то басом, то тенором.

Таракан скрестил руки на груди — принял позу, как известно со времен Бонапарта, ничего доброго не предвещавшую.

— А кто пожалел пирога с визигой, когда Таранков согнал меня с квартиры и я голодовал три дня, как собака? — вопросил Таракан.

Он называл родного отца не иначе как по фамилии.

— У нас пирогов, сроду не пекут,— сказал Коська.— У нас и печки нет, чтобы пироги печь.

— Чужому побирушке и то подают, когда он голодует, а тут свой же кореш застывает от холода-голода, выгнатый родителем из дома...— голос Таракана дрогнул. Как истинный атаман, он любил посентиментальничать.— Свой же кореш застывает от холода-голода, а они куска не вынесут. А ну, давай отсюда! — взъярился он внезапно.

Митя мигом отлетел к черному ходу и сказал с крыльца:

— Двор не твой. Двор народный.

Он потоптался на крыльце.

— Пошли к нам, Коська! Ну его, с его голубями! Пошли, меду пошамаем.

Минут через пять ребята высунулись из окна третьего этажа. Оба держали ломти хлеба, залитые медом, на растопыренной пятерне, как блюдца.

— Разве это голуби,— сказал Митя из окна.— Вот у Самсона голуби так голуби.

— Да! — подтвердил Коська.— У Самсона голуби — крем-бруле!

— У Самсона, я видал, мохначи так это действительно мохначи. Пять хрустов пара. А за этих хруста никто не даст.

— Кому они нужны за хруст-то,— согласился Коська, слизывая мед с пальцев.

— Заморенные какие-то. Лохматые. Сроду не видал таких лохматых голубей. Они, я думаю, не чистые трубачи.

— Они рядом с чистыми не сидели.

— Они, Коська, на курей похожи,— засмеялся Митя.

— Это верно,— гоготал Коська то басом, то тенором.— Это куры у него, а не голуби...

Тонкие губы Таракана сошлись в ниточку. Он стал искать глазами камень. Взгляд его наткнулся на Славика.

— Огурец! — позвал он.— Иди сюда!

Славик растерянно поднялся, сделал шагов пять и остановился.

— Мне домой надо,— сказал.— Ко мне должна прийти учительница музыки. С минуты на минуту.

— Иди, не трону,— подбодрил его Таракан.

Славик стал пододвигаться вроде бы к Таракану, но в то же время и немного наискосок. Ясно, что Таракан задумал какой-то подвох.

Ни над кем так часто не потешались во дворе, как над

Славиком. Происходило это, наверное, потому, что у него была продолговатая голова. У всех ребят головы были круглые, а у него длинная. За эту неприличную голову его дразнили «Клин-башка — поперек доска» и прозвали Огурцом. К прозвищу он привык и откликался беззлобно, а дома мечтал иногда, что в одно прекрасное утро проснется с круглой, как колобок, головой и выйдет во двор такой же, как все...

Недавно Коська ни с того ни с сего предложил ему поиграть в красных дьяволят. Славик радостно согласился. Коська велел ему встать на пост возле дровяного сарая и пообещал вынести из дома настоящее ружье. Он спросил, держал ли когда-нибудь Славик на плече ружье. Славик честно признался, что не держал. Коська согнул ему правую руку в локте, ладонью вверх, велел закрыть глаза и побежал за ружьем. Замирая от счастья, Славик крепко зажмурился. Он слышал, как пискнул, не удержавшись от смеха, Митя, слышал тонкий голос Машутки: «Ну не надо... Ну зачем вы его», но ни тени сомнения не закралось в его доверчивую душу. Он только спросил: «Скоро?», услышал: «Сейчас, сейчас!» и вместо надежной тяжести правдашнего приклада ощутил на ладони мокрое. Он открыл глаза. Сердобольная Машутка стыдливо хихикала. На ладони Славика лежала куриная какашка.

Славик покраснел, очистил травой руку, деликатно посмеялся вместе со всеми. Потом ушел домой, чувствуя себя почему-то виноватым, и не выходил во двор два дня...

— Ну чего застыл? Топай! — звал его Таракан.

— Мне домой надо. Ко мне должна прийти учительница музыки. С минуты на минуту.

— Иди, не трону... У меня к тебе клевое предложение. Хочешь голубей водить?

Славик выпучил большие серые глаза.

— Чего зенки вылупил? Хочешь?

— Хочу,— сказал Славик тихо.

Таракан открыл дверцу. Два голубя мраморной масти важно вышли на травку.

Голоса на третьем этаже затихли.

Славик вроде бы не понимал, чего от него хотят. У него звенело в ушах.

— Не надо, Таракан,— боязливо проговорила Машутка.— Чего ты...

— Ну, выбирай!

Славик, замирая, показал на ближнего подбородком.

— Женский пол уважаешь? — Таракан ухмыльнулся.

Славик сказал, что уважает.

— А можно, я моего голубка поглажу?

— Это не голубок, а голубка. Самка. Ясно?

— Ясно. А можно...— Славик громко сглотнул,— я мою самку в руки возьму?

— А мне что? Она твоя. Хоть хвост отрывай.

И Таракан с удовольствием метнул взгляд наверх, на неподвижные, онемевшие головы.

Славик поднял с земли голубку и осторожно понес по двору. Машутка, тихонько причитая, шла рядом.

— Какой из него голубятник! — плаксиво выкрикнул Коська.— Он свистать не умеет.

Таракан и ухом не повел.

— А я знаю, зачем ему Огурец! — съехидничал Митя.— Голубям шамать надо, а у Таранковых у самих завсегда жрать нечего.

«Ну, ладно. Сейчас я тебя достану, конопатый»,— подумал Таракан.

— Огурец,— позвал он звонко,— Коську возьмешь? — и, не дожидаясь ответа, позвал: — Коська, слезай!

— Больно надо, верно, Коська? — залебезил Митя.— Еще неизвестно, где он голубей стащил, верно? Он их на базаре стырил... Привлекут, тогда узнает... И Огурца с ним привлекут. Хочешь еще с медом?

— Давай,— сказал Коська.

— Выходи! — зазывал Таракан.— Не трону!

— Больно нам надо ворованных голубей! — быстро говорил Митя.— Ворованные, они все равно к старому хозяину полетят. Верно, Коська? Мы, если захочем... Куда ты? Значит, ты так? Да? Так?

— А если нет, то почему? — бесстыдно процитировал Коська и появился на крыльце, облизывая сладкие пальцы. В затруднительных обстоятельствах он обыкновенно прикидывался дурачком, и это у него хорошо получалось.

— Больно надо! — сиротливо выкликал Митя.— Курей водить! Привлекут!.. Больно надо!

— Теперь ты, Огурец, и ты, Коська, все равно что я,— сказал Таракан.— Наша задача одна: загонять чужаков. Ясно? Голубятники понесут выкуп — задешево не отдавать. Торговаться до поту. Всю выручку — в копилку. А когда копилка набьется полная и деньги не станут пролезать в дырку — ясно? — мы ее об кирпич — и каждый бери сколько надо...

— А у Коськи на носу черти ели колбасу! — жалобно донеслось сверху. Таракан подождал, не будет ли еще чего. Больше ничего не было.

— Каждый бери сколько надо и девай куда хочешь,— продолжал Таракан.— Хочешь — на кино, хочешь — на шамовку. Хочешь — в ресторан к нэпачам шамать иди.

— Вот это да! — загоготал Коська.— Ноги вымою и пойду в ресторан... Лиловый негр вам подает пальто!

Мстительно прищурившись, Таракан взглянул наверх. Рыжая голова исчезла.

Митя уполз страдать в глубину комнаты.

2

После завтрака мама разрешила Славику подышать воздухом.

Дышать воздухом полагалось в соборном садике. Там росли акации со стручками, и между акациями, по гравийной дорожке, как в мирное время, гуляли приличные дети.

Славик выбежал во двор. Никого не было. Только Машутка стерегла белье.

— Огурец, айда в камушки! — позвала она.

Славик мотнул головой. Ответить он не имел возможности. Только что на кухне он залил в рот полкружки воды и вынес ее во рту из дому.

Он посмотрел, не выглядывает ли из окна мама, и, вместо того чтобы дышать воздухом, полез по отвесной пожарной лестнице на крышу.

Лестница болталась и гремела. Взрослые без крайней надобности по ней не лазали. Но Славик забрался благополучно. Он нес голубям завтрак.

Голубятня наполовину высовывалась из слухового окна и глядела на юг. Торцовая рама, затянутая сеткой, выдвигалась вбок, как крышка пенала.

Голуби привыкали к месту. Чтобы трубачи не скучали, им в компанию была прикуплена пара копеечных разномастных скобарей.

Когда Славик подошел, вся четверка сидела на жердочке, нахохлившись, будто на приеме у зубного врача.

Птицы одинаково, одним глазом, посмотрели, кто пришел, и отвернулись.

Даже Зорька — так Славик назвал свою мраморную голубку — не проявила радости при виде хозяина. Вероятно,

она ожидала Таракана или, на худой конец, Коську.

Славик достал из голубятни банку, вылил в нее изо рта воду, поставил банку на место, покрошил хлебца.

С высоты четырех этажей хорошо был виден весь город — и громадный, похожий на мечеть собор, построенный неожиданно разбогатевшим и вследствие этого поверившим в русского бога татарином, и дико разросшийся вокруг собора садик, тот самый, где дышали воздухом приличные дети. Про татарина-выкреста рассказывали, что он обеднел так же быстро, как и обогатился, и умер, всеми покинутый, со словами корана на устах: «Кого проклинает аллах, тому не найти помощников...» Видна была и каланча, на которой зажигалкой сверкала каска пожарника, и остро заточенный карандаш колокольни, на которую залезал сам Пугачев, когда собирался «заморить город мором».

С другой стороны, за цирком, куликовой битвой гудел и равномерно перемешивался базар и, как насосы, в себя и из себя, ревели ишаки, а еще дальше темнели добротные крыши Форштадта. Там обитали потомки славного яицкого воинства, трудовые казаки, хвастали своими дедами и прадедами, пасли гусей и откармливали чушек.

Большой дом, в котором жил Славик, назывался домом Доливо-Добровольского. После революции дом был национализирован. Бывшему хозяину оставили две комнаты, а в просторные квартиры поселили железнодорожных рабочих и служащих, стоящих на платформе Советской власти.

В дом Доливо-Добровольского упиралась Артиллерийская улица, знаменитая не артиллерией, а тем, что на ней проживал кривой Самсон, владелец самой большой во всем городе голубиной стаи.

Вряд ли у кого-нибудь в другом городе, даже в Москве, была такая богатая стая. Рассказывали, что Самсон давно потерял счет голубям и не может отличить своих от чужаков.

Лестница загремела. Над крышей высунулась рыжая голова Мити.

— Нету? — спросил Митя.

Славик понял, что вопрос относился к Таракану.

— Нет,— сказал он.— Заходи.

Митя подошел, присел на корточки и спросил:

— Который твой?

— Вон тот. Крайний. Называется Зорька.

— Давай его сахарком угостим. Пускай погрызет.

Митя зачерпнул из кармана горсть гвоздиков, цветных стеклышек, ломаных оловянных солдатиков и разыскал среди этого добра черный кусочек сахара.

— Не надо,— сказал Славик.— Скобари отнимут.

— А ты ее достань. Мы из рук угостим.

— Нельзя. Во-первых, ты бы уходил, Митя. Таракан увидит — обоим достанется.

— Крыша не его,— возразил Митя.— Крыша народная. Пусть только тронет. Я тогда у вас всех голубей повыпускаю.

— Вот так здорово! А моя голубка при чем?

— Твоя! Ты ее и тронуть боишься.

— Почему боюсь. Нисколько не боюсь.

— Ну так достань. Чего же ты?

— Как ты не понимаешь, Митя... Голубей на руки брать нельзя. От рук они лысеют.

— Ладно заливать! Лысеют!.. Таракана боишься... Так и скажи. Ну, открой сетку. Положим ей сахарку.

— И открывать нельзя. Отойди.

— Вот хозяин! — ухмыльнулся Митя.— Того нельзя, этого нельзя. А чего тебе можно?

— Как чего? — Славик смутился.— Водичку давать можно. Смотреть можно.

Митя прошелся по крыше, почесал ногой ногу и сказал:

— Никакой ты не голубятник.

Славик сделал вид, что не слышал.

— Никакой ты не голубятник,— повторил Митя,— а обыкновенный лакей. Как при баринах были лакеи, так и ты при Таракане лакей.

— Ну ладно.— Славик подумал немного.— Какой же я лакей, когда он мне Зорьку подарил. Лакеям трубачей не дарят.

— Подарил, а в руки взять не смеешь. Она тебя и за хозяина не признает.

— Кто?! Зорька?! Не признает?

— Ну да. И не глядит на тебя. Тоже называется — хозяин!

— Ну и чего? И чего? И ничего особенного. Ей кушать не дали, она расстроилась... Гуля-гуля!.. Ее скобари побили... Зорька, Зорька, на-на-на!..

— Не глядит! — с удовольствием отметил Митя.

— Погоди, я спою. Коська им пел, они глядели...

И Славик торопливо запел:

Ах, Мотя, подлец буду,
Твой взгляд я не забуду,
Ведь я любовь потратил на тебя...

— Все равно не глядит,— безжалостно повторил Митя.— Хоть пой, хоть пляши.

Во дворе послышался голос Митиной матери.

— Тебя зовут, Митя,— сказал Славик.

Митя прислушался.

— Уже перестали... Лакей ты, Огурец, и больше ты никто. Как раньше говорили: верный подданный.

— Погоди. Сейчас увидишь.

Славик достал голубку, посадил на колени, соскреб крошки, прилипшие к пузу. Она стала доверчиво клевать с ладони.

— Ну чего! — ликовал Славик.— А ты говоришь — не глядит!

— Так-то она каждого признает,— заметил Митя.— Вот если бы она без шамовки пошла, тогда бы да.

— И пойдет! — кричал Славик.— Тащи ее куда хочешь!

Митя отнес Зорьку на край крыши и отошел. Зорька посмотрела вниз, потом вверх, вспрыгнула на ребро водосточного желоба, устроилась поудобнее и задремала.

— Зорька, Зорька! Гуля-гуля! — позвал Славик.

Она не открыла глаз.

— Может, ее вовсе и не Зорькой звать? — спросил Митя.— Может, она Варька?

— Какая тебе Варька! Это же моя голубка. Я знаю лучше тебя, как ее звать! Зорька! Зорька!

— Варька! Варька!

— Зорька!.. Перестань, Митя! Зорька!

Митя пульнул в нее стеклышком.

Голубка испугалась и пошла. По пути замешкалась, клюнула шляпку гвоздя и, нежно капая лапками по железу, направилась к Славику.

— Я тебе говорил! — завопил Славик.— Она меня обожает, если ты хочешь знать!

— Давай спорить, что нет,— сказал Митя.

— Нет, обожает! Крылья развяжу, а она не улетит!

— Улетит!

Подражая Таракану, Славик решительно сжал ротик.

— Как ты меня раздражаешь, Митя,— сказал он.

Он прищемил Зорьку коленями, порвал нитки, стягивающие перья, и поставил ее на лапки.

Голубка отряхнулась.

— Кыш! — сказал Митя.

— Никуда она от меня не уйдет! — хвастал Славик.— Смотри!

Он бросил голубку в воздух с размаху. Она мокро зашлепала крылом о крыло и села.

— Умница! — Славик погладил ее по головке.— Какая ты у меня прелесть!.. Митю не принимают — он и наговаривает на тебя. Ему завидно — он и наговаривает...

— Больно надо! — грустно протянул Митя.— Пойду сейчас домой, растоплю оловянных солдатов, буду биток заливать... Больно надо!

Славик внимательно посмотрел на него.

— Хочешь, Митя, я Таракана попрошу. Он тебя примет.

— Не примет.

— Примет. У нас же четыре голубя. А водим трое.

— Не примет. Я его Болдуином обозвал.

— А кто это?

Митя вздохнул.

— Ничего, Митя... Скажи Таракану, что хлебца будешь носить, он и примет. Хлебца много надо. Половину голуби кушают, половину Таракан.

На каланче пробило одиннадцать, и кривой Самсон поднял своих голубей. Поклубившись возле усадьбы, они метнулись к базару и стали набирать высоту. В конце базара стая резко срубила угол и прошла над головой Славика двумя этажами.

— Вот как правдащные голуби-то гуляют,— сказал Митя.— А твоя и летать не может. Курица.

Ответить Славик не успел. Как будто расколдованная, Зорька вздрогнула, нырнула вниз и потерялась из виду. Через секунду она внезапно появилась со стороны улицы, пологим винтом забралась высоко в небо, спланировала и села на крышу цирка.

Она устроилась там на деревянной букве «Ц» и стала укладывать перышки.

— Неси трубача на подманку! — встревожился Митя.— Быстро!

— Что ты! — Славик еще не понимал беды.— Таракан не позволяет...

— Неси, тебе говорят! Уйдет!

Пока Славик бегал к голубятне, Самсонова стая прозрачной лентой прошла мимо цирка. Он увидел, как Зорь-

ка нагнала стаю, кокетливо пошла рядом, не смешиваясь с чужаками, словно прогуливалась сама по себе и не имела к ним никакого интереса.

— Прилетит...— шептал Славик дрожащими губами.— Никуда не денется... Прилетит... Что вы, товарищи!

Митя выхватил у него голубя, посадил на трубу.

И Зорька увидела супруга.

Она отвалила в сторону, камнем пошла вниз и, распахнув крылья с пуховыми подмышками, описала вокруг него циркульную окружность.

Связанный трубач изобразил полное безразличие.

Зорька замкнула второй круг и села на букву «Ц».

Как сквозь сон, Славик услышал рояль. Мама играла «Оружьем на солнце сверкая...» И не в лад музыке Самсон стал стучать палкой по пустому ведру. Он сзывал стаю на обед. Судя по стуку, ведро было мятое, как бумага.

Плотным ковром-самолетом голуби пролетели вдоль улицы, и, когда цирк снова открылся, Зорьки уже не было.

— Ну все, — сказал Митя,— теперь тебе ее не видать как своих ушей. Задешево у Самсона не выкупишь.

— Не бойся...— лепетал Славик.— Она прилетит... Она где-нибудь спряталась.

— А все почему? — назидательно проговорил Митя.— Потому, что свистать не можешь. Какой же голубятник без свиста? Ну, я пошел биток заливать.

— Погоди, Митя,— взмолился Славик.— Пожалуйста, подожди... Она прилетит... Давай спрячемся, она и прилетит.

Умные голуби Самсона осторожно, словно боясь обжечься, опускались за высокий заплот. Где-то среди них была Зорька.

— Тикай, Огурец,— посоветовал Митя.— Таракан придет, плохо будет.

Тикать было поздно. По крыше шел Таракан. Щеки его были надуты.

Он погрозил Мите, вылил изо рта в банку воду, утерся локтем и пообещал:

— На панель скину — все конопушки растеряешь!

Он был в добродушном настроении.

Ребята притаились. Таракан взглянул на голубятню и сразу все понял. Лицо его стало костяным.

— Она прилетит...— проговорил Славик придавленно.— Я ей хлебца... а она... Я больше не буду...

Таракан встал над ним. «Сейчас побьет»,— подумал Славик и зажмурился.

Мама второй раз начала «Оружьем на солнце сверкая...» Она играла о том, что у нее все в порядке, папа обещал рано вернуться со службы, бульон получается наваристый и Славик дышит воздухом в соборном садике...

Славик опасливо открыл глаза. Таракан стоял все так же и скучно глядел на него. Мити уже не было.

— Она прилетит,— пытался объяснить Славик.— Митя сказал, что она клушка... Она и улетела...

Таракан, казалось, слушал не его, а мамину музыку.

— А Зорька моя! — неожиданно для себя взвизгнул Славик.— Захотел и выпустил! Моя Зорька! Лакеев нету!

В глазах Таракана появился интерес. Он посмотрел на Славика с любопытством, небрежно отодвинул его с пути и направился к лестнице. И железная кровля громыхала от его шагов то далеко, то близко.

Стало тихо. Мама кончила играть и, наверное, пошла на кухню.

Измученный Славик опустился у трубы. Сперва ему то и дело казалось, что возвращается Зорька. Но прилетели только галки. Прошел час, потом второй. Славик отупел и перестал надеяться. Зорька, день рождения, даже мама — все на свете стало казаться ему неважным, ничтожным.

Важным было только то, что он какой-то такой, что его брезгуют даже ударить. Воистину: кого проклинает аллах, тому не найти помощников.

3

Таракан думал.

Если бы голубку загнал какой-нибудь форштадтский фраер — вернуть ее было бы проще простого. Забраться ночью на крышу, сбить замок — и, как выражается Коська, пламенный привет! Слободские куроеды спят крепко, цепные кобели по крышам не бегают.

К Самсону дуром не заберешься. Зорьку придется выкупать примитивным способом — за деньги. За рубль, а то и дороже.

«Где бы наколоть рубль,— подумал Таракан.— Что бы такое продать?»

Взгляд его скользнул по солдатской постели отца, по

своей просиженной и пролежанной кушетке. На кушетке валялись грязная подушка, ватное одеяло, которым Таракан укрывался круглый год. Простыней ему не полагалось.

В комнате царствовал холостяцкий порядок: венские стулья стояли по обе стороны стола, рюмки в буфете стояли по три штуки по обе стороны графина, книжки лежали двумя пирамидками — большие снизу, маленькие сверху — на обоих краях стола.

Таранков понимал порядок как симметрию.

Таракан открыл ящик буфета. Там валялись сухари, сахар и бритва с костяной ручкой. Таракан уже таскал эту бритву на толкучку, но без толку: мужики смеялись, что ручка дороже лезвия.

В другой ящик в дальний угол были засунуты пронумерованные блокноты и тетрадки. Отец задумал воспоминания о местном красногвардейском отряде. Он конфузился этой работы и постоянно перепрятывал рукопись. Сочинял он медленней Бабеля: за восемь лет написал в общей сложности страниц восемьдесят, если считать копии приказов и тексты листовок.

Таракан отлично знал, где спрятаны бумаги. Когда поведение отца казалось ему особенно несправедливым, он доставал какую-нибудь тетрадку и прочитывал с полстранички вслух, издевательски завывая. На этот раз ему попался документ: инструкция для стрелков народного вооружения.

«...Каждый день по нескольку раз быстро схватывайте винтовку, прижимайтесь к косяку, прячьтесь за стол или ложитесь на пол за что-нибудь и учитесь быстро заряжать...

...Идя по улице, приучите себя определять расстояние от вас до определенных предметов...

...Стрелять научится скоро и дешево не тот, кто будет много раз стрелять, а тот, кто ежедневно около часу занимается упорно «прикладкой», то есть целится, заряжает, разряжает учебными патронами...

...Недопустимо и позорно шутить с оружием и целиться друг в друга...

...Никогда не стрелять, чтобы пугать или поднять этим свое настроение. Цельтесь и стреляйте только тогда, когда надо убить...

...Испробовав все средства морально дезорганизовать

противника (переговоры, воззвания), стреляйте на выбор по руководителям противника...»

Таракан спрятал бумаги на прежнее место и вытащил из-под кровати пыльный, похожий на барабаны короб с ремнями. Короб был сделан из фанеры, но назывался почему-то картонкой. Картонка принадлежала матери — фельдшерице и до сих пор пахла лекарствами. Там перекатывались желатиновые капсулы-облатки, валялось черствое пожелтевшее кружево и много цветных, похожих на галстуки аптечных сигнатурок.

По-видимому, отца не очень трогал тот факт, что жена бросила его и удрала с белогвардейцами в далекую Маньчжурию, в город Харбин. Как-то, крепко выпивши, отец покаялся приятелю, что виноват сам. Был молодой, торопливый, выбирал жену на ощупь. Но когда Таракан загнал на толкучке добытый из той же картонки никелированный крючок (как оказалось, это был мамин крючок для застегивания ботинок), отец рассвирепел, выгнал Таракана на улицу и не пускал домой трое суток.

Мать убежала, когда Таракану было лет шесть, и он почти не помнил ее. А когда пробовал расспрашивать, рябое лицо отца каменело, и стриженная под нулевку голова становилась похожей на выветренный булыжник.

Иногда Таракану было приятно без цели копаться в картонке. Перед ним возникало что-то быстрое, сияющее, с изумрудными глазами. Он любил мать и восхищался тем, что она убежала. Разве она могла жить под одной крышей с изрытым оспой человеком, который по нескольку раз в день схватывал винтовку, прятался за стол и учился заряжать? Таракан гордился матерью за то, что она нашла в себе силы бросить единственного ребенка. Раз бросила — значит, знала, что Таракан — настоящий парень и нигде не пропадет.

У отца не хватило ума стать жуликом или нэпачом — стал ревизором; целыми днями листает папки, проверяет печати, высматривает на свет компостеры на провизионках и щелкает на счетах. Ищет дурее себя.

Интересно, что он будет делать, когда подойдет коммунизм, все станут честные и ревизоры отомрут наравне с государством?..

Где же все-таки добыть денег? Одолжить у ребят? У Коськи просить смешно. У него в руках сроду денег не бывало. Вот у Огурца отец богатый. Инженер путей сооб-

щения. Но в Огурце боятся развивать жадность, поэтому денег ему не дают. А стащить он не сумеет. Остается, пожалуй, Митя. У него, бывает, бренчат монеты.

В окно было видно: Митя показывал Машутке оловянных солдатиков. Таракан кликнул его. Митя метнулся к крыльцу.

— Не бойся, не трону,— позвал Таракан.— Хочешь голубей шугать?

— Нет,— сказал Митя на всякий случай.

— Ну как хочешь. Шугай тогда воробьев. А я бы тебе Зорьку отдал.

— Какой хитрый! Ее же Огурец упустил.

— Ну и что? Выкупим. Ты что думаешь, я голубей заимел, чтобы их пшеном кормить? Пшено я и без них съем. В голубях весь интерес — загонять их и выкупать... Я к Самсону собрался. Хочешь, на пару пойдем.

— А когда? — спросил Митя издали. У него было предчувствие, что Таракан заманивает его, чтобы излупцевать за голубку.

— Хоть сейчас.

— А деньги есть?

— Немного не хватает,— уклончиво отвечал Таракан. У него не было ни копейки.— Хруст бы не мешало где-нибудь вынуть. Не знаешь где?

— Хруст — не знаю. А восемьдесят копеек можно нацарапать.

— Я давно говорил, что наш конопатый на всем дворе самый вдумчивый пацан. Другие треплются, а у Платоновых всегда деньги есть.

Было ясно, Таракан драться не собирался.

— У нас насчет этого просто! — Митя подошел к окну.— У нас получку кладут в комод. Папа получит — кладет, мама плучит — кладет. Папа говорит, общий, говорит, котел. Берите, говорит, сколько хочете.

— И два рубля можно?

— Сколько хочешь, столько бери. Пахан все время спрашивает: чего это у нас Митька денег не берет? Бери, говорит, Митька, я тебя драть не буду.

— У тебя не вредный пахан.

— Он у нас знаешь какой сознательный. «Будем,— говорит,— жить по новому быту». Его партийным секретарем выбрали. Теперь ему ни ударить, ни выпить — ничего нельзя. Захочу — три рубля возьму, и ничего не будет.

— Ну, три нам не надо. Куда столько. Тащи два.

— Чего «два»?

— Два рубля.

— Так ведь это после получки. Неужели не понимаешь? А перед получкой я сколько раз глядел — в комоде ничего нету. Мама сама удивляется, куда это деньги горят. А папа смеется: «Базар близко, вот они у тебя и горят».

— Чего же ты треплешься попусту.— Таракан с трудом сохранил спокойствие.— Ты же сам обещал восемьдесят копеек.

— А! Восемьдесят копеек? Раз плюнуть! — Митя залез на подоконник и проговорил вкрадчиво: — Знаешь, что нам надо? Нам надо ириски продавать.

— Чего?

— Ну, ириски. Ириски.

— Какие ириски? Ты чего, вовсе чокнутый?

— Нет. Ты слушай: коробка стоит сорок две копейки. А в коробке — пятьдесят ирисок. Так? Продаем по копейке штуку. Сорок две штуки за сорок две копейки. Сорок две копейки заначили в карман. Так? В коробке остается восемь ирисок. За восемь ирисок выручаем восемь копеек, кладем в следующий карман. Бежим в пайторг, покупаем за сорок две копейки — которые в первом кармане — другую коробку. Из другой коробки загоняем сорок две штуки, обратно сорок две копейки кладем в следующий карман...

— Погоди! Продали, заначили... Ничего не поймешь! Это сколько же надо торговать за восемьдесят копеек?

— Десять коробок.

— Ну вот. А Зорьку надо сегодня выкупать. Она там, у Самсона, слюбится с каким-нибудь трубачом и привыкнет. У вас самовар есть. Давай самовар продадим.

— Что ты! А как же чай пить?

— А мы другой купим.

— Это когда еще купим... А сегодня мама придет, а самовара нет. Она расстроится.

— А ты скажи — Огурец стащил.

— Что ты! Разве Огурец стащит!..

— Ну вот. Новый быт. А самовар взять боишься.

— Ну нет... Я бы взял, да у него кран текет. Погоди, папа запаяет, тогда продадим. А чего ты, ириски можно не хуже самовара продать. Встань и кричи: «А ну, налетай, ириски покупай!» И вся забота... Прошлый год, когда меня еще в пионеры не брали, я у «Ампира» четыре коробки сторговал. У «Ампира» всегда берут. Столько денег

надавали, оба кармана набил. Штаны сползали — гад буду! Мама и та спросила: откуда у тебя, сынок, столько денег? И пошла общий котел проверять.

— В коробке пятьдесят штук? Точно?

— Точно. Ты гляди: вот так лежат пять рядков. В каждом рядке — десять штук. Вот и считай. Пятью десять — пятьдесят. Кого хочешь спроси. Форштадтские, знаешь, как друг перед другом фасонят? Один своей пять штук берет, другой своей — обязательно шесть. А ихние марухи без ирисок на бульвар не пойдут. Они только за ириски и ходят. Вот смотри.— Он крикнул: — Машутка, хочешь ириску?

Машутка подошла и встала под окном молча.

— Вот! — показал на нее пальцем Митя.— А куда им деваться? В пайторге надо коробку брать, а у них на двоих — копеечка. Купят штучку, пополам разделят и сосут. Нэпачи, эти, правда, брезгуют, а пацаны берут беспрерывно.

Машутка стояла и слушала.

— Ну что же.— Таракан подумал.— Попробуем. Сбегай морду умой. Чтобы не распугивать покупателей.

— Нет, что ты! Мне нельзя!

— Как это нельзя? Шугать голубей можно, а работать нельзя?

— Я бы пошел, если бы в прошлом году. В прошлом году я был никто, а теперь я пионер. Мне нельзя спекулянничать. Танька накроет.

— Что за Танька?

— Пионервожатая. Я перед знаменем обещание давал.

— Чего же ты тогда треплешься? Ты что думал? Меня поставить с конфетками?

— Почему обязательно тебя? Давай Коську попросим. Машутка, где Коська?

Оказывается, Коська отправился к крестному и вернется поздно. Крестный пилит дрова, а Коська должен сидеть на бревне, чтобы не крутилось.

— Ты чего тут стоишь? — крикнул на нее Таракан.— Чеши отсюда!

Девчонка пошла и села на свой камушек, ничуть не обидевшись.

— А знаешь, Таракан,— заметил Митя,— ты Коське, конечно, не говори, а я бы ему ириски не доверил. Мослы еще можно ему доверить, а конфеты — нет. Не стерпит. Съест.

— Это верно. Все десять коробок сшамает.

— А знаешь что давай? Давай Огурца выставим.

Таракан посмотрел на Митьку холодными зелеными глазами и ничего не ответил.

— А правда! — убеждал Митя.— Дохлый, штанишки короткие. У него из жалости брать будут.

— У него коробку отнимут. Выйдет — и выхватят.

— Ничего не сделаешь. Страховать так и так надо. Кто бы ни стоял. Хоть я, хоть кто. Страховать все равно надо. Ничего не поделаешь.

Таракан подумал.

— Огурец дома?

— Дома.

— Зови его. И коробку тащи.

— Какую коробку?

— Что значит какую? С ирисками.

— Так ведь коробку-то надо купить за сорок две копейки. В пайторге.

— А где сорок две копейки?

Митька хотел спрыгнуть с подоконника, но Таракан схватил его за шиворот.

— Ты долго будешь людям голову морочить? — спросил он, по-старушечьи поджимая губы.

Предчувствие не обмануло Митю. Ему попало за все сразу: и за пустое хвастовство, и за Зорьку, и за то, что он обозвал Таракана на публике неприличным словом — Болдуин.

4

— Что с тобой? — Мама прижимала ко лбу Славика пальцы с холодными как лед кольцами.— Покажи язык. У тебя был стул? Кого спрашивают?

Мама у него была костлявая и порывистая. На кухне она обваривалась и обжигалась. Несмотря на решительный характер, она обожала перламутровые пуговицы, тонкий батист и совсем не шедшие к ее длинному, лошадиному лицу нежные кружева. Звали ее Лия Акимовна.

Она неохотно пускала Славика во двор. Она подозревала, что там ему уже рассказали о том, как получаются дети, и боялась, что он наберется вошек. Но отец требовал, чтобы мама не держала единственное чадо под юбкой,

и она была вынуждена отпускать его в опасный мир дворовых мальчишек.

Хотя Славик ни в чем не признался и ничего не рассказал, мама чувствовала, что с ним случилось что-то чрезвычайное, и на всякий случай уложила его в постель.

Славик заснул не сразу.

Он закрыл глаза, зарылся под одеяло, легонько крутанул никелированный шарик кровати — и вылетел через окно из комнаты. Никто не знал, что у Славика был свой личный воздухоплавательный аппарат и что этим аппаратом была металлическая кровать с панцирной сеткой. Обыкновенно он пускался в полет, когда на душе его было очень уж тошно. Славик облетал на своей кровати весь земной шар, бывал на Северном полюсе, в Патагонии, на реке Сосквегане — родине индейца Чингачгука, на острове Целебес, где выпускают красивые треугольные почтовые марки.

Подготовка к полету была несложна: закутавшись одеялом, Славик нащупывал никелированный шарик, и легкого поворота было достаточно, чтобы кровать сорвалась с места и пулей вылетела в окно.

Второй шарик служил для набора высоты. Этот шарик применялся редко — например, когда Славик залетал к Чемберлену и выдергивал у него из глаза монокль. Представляете, на какой высоте приходилось ему удирать? Он летел с такой умопомрачительной скоростью, что встречные звезды чиркали о кровать. Он летел, уютно поеживаясь под одеялом.

На этот раз Славик отправился не на Целебес и не в Патагонию. Он коршуном парил над Артиллерийской улицей и дожидался, когда Самсон выпустит свою стаю. Сердце его было преисполнено мстительной решимостью. И вот наконец внизу замелькали голуби. Оборот шарика — и летающая кровать, с воем рассекая воздух, врезалась в стаю. Бездыханные турманы и трубачи падают на землю. Тоскливо причитает Самсон. Славик настигает Зорьку, ловит ее за ноги и, накрыв одеялом, спрашивает: «Будешь еще?» Зорька виновато мотает головой. Наступает сладостный момент. На крыше грустят Таракан, Коська, Митя. Денег у них нет. Как выкупать Зорьку — неизвестно. Коська, вздыхая, декламирует: «Где вы теперь, кто вам целует палец?» Славик прячет Зорьку под рубаху и выходит к ребятам из-за трубы...

— Вот это да! — доносится голос Мити.— Еще ужи-

нать не подавали, а он кимарит! Вставай быстро — биток покажу...

Славик открыл глаза и сощурился от солнца.

Возле его кровати стоял неумытый Митя.

— Вставай! — говорил Митя.— Я, знаешь, какой биток оловом залил. Пошли во двор — покажу.

Они жили в одной квартире. У родителей Славика было четыре комнаты на семьдесят аршин: гостиная-столовая с черным роялем и с картиной Клевера, детская, папин кабинет, в который Славику разрешалось заходить только в том случае, если зазвонит телефон, и спальня, где папа и мама спали на отдельных кроватях.

Митя жил вместе с папой и мамой в одной комнате. В этой комнате они и обедали, и принимали гостей, и ночевали. Отец Мити служил в главных мастерских, в вагоноколесном цехе, слесарем, и мальчишки часто навещали друг друга без приглашения.

— Ну вставай, чего ты! — торопил Митька.

— Я, кажется, заболел.

— Ничего ты не заболел. Тебе за Зорьку досталось. Чего я, не знаю, что ли... Вставай. Я биток залил. Пойдем погуляем.

Славик стал нехотя натягивать одежку: лифчик с розовыми подвязками, чулки, коротенькие штанишки. Потом началась сущая пытка: шнуровка ботинок. На шнурках давно появились мохнатые кисточки.

— Нюра! — капризно позвал Славик.

По комнатам затопала прислуга Нюра, тупо и часто — будто с самоваром, наткнулась на Митю, проворчала: «Думала, свежи, а это все те же» — и опустилась на колени шнуровать «дитю» ботинки.

Отец Славика Иван Васильевич вывез ее из своей родной тверской деревни, и она быстро прижилась на границе Европы и Азии: по воскресеньям выходила к воротам в фильдеперсовых чулках и, поклевывая семя, строго шептала соседкам: «А Славик-то все срамные слова знает!.. Что куды — все знает!.. А десять лет! Вот без веры-то!.. Что же это будет, батюшки!»

В доме Нюра поставила себя гордо, держалась хозяйкой, бранила Ивана Васильевича за курево и Лию Акимовну «видела насквозь». Она была уверена, что Лия Акимовна подкидывает на пол копейки нарочно, проверяет ее честность. Славика она обожала и жила у Русаковых только ради него.

Зашнуровав ему ботинки, она пошла в столовую, и рояль загудел под ее шагами. Но слышно было, что и там она ворчала на Митю:

— Пойдем в кабинет,— шепнул Славик.

В кабинете все было пропитано запахом табака и химических карандашей. Когда папа задерживался на службе, мама зажигала лампу и, печально мурлыча под нос «Оружьем на солнце сверкая...», набивала папиросы.

Дома папа давно не работал, но мама любила, чтобы на столе у него был порядок: завостряла карандаши и наливала в чернильницы разные чернила: в одну — красные, в другую — синие.

— Погляди-ка вот тут,— попросил Митя.— Синяк напух?

Они подошли к окну.

— Вот тут глянь. Под самым глазом. Ломит — спасу нет.

На конопатых щеках Мити темнели грязные разводы. Только маленький носик блестел, как лощеный.

— Синяка нету? — спросил он.

— Нет,— ответил Славик.

— А под другим глазом?

— И тут нет. Поймал он тебя все-таки? — спросил Славик завистливо.

— Он меня на понт взял. Развел уваженье: «Я тебя в голубятники приму... Как поживаешь!» А сам как цапнет! Как чумовой все равно. Погляди — шиворот не оторватый?

— Нет.

— Крепкая бумазея,— сказал Митя с сожалением.— Я крутанулся, пальцы ему завинтил. Он распузырился, ка-ак цапнет меня за прическу, ка-ак даст по сопатке. Кулаком, со всего размаха. А потом — ногой, прямо по косточке.

Славик с завистью слушал.

— Я даже присел...— Митя задрал штанину.— Ничего не видать?

— Нет ничего.

— Гляди лучше. Шишка должна быть. Он подошвой ударил. Наверное, нога теперь ходить не будет.

Митя показал пальцем, куда смотреть. Славик опустился на корточки и сказал, не скрывая злорадства:

— Нет. Коленка торчит. А больше ничего нету.

— Всегда так,— вздохнул Митя.— У меня все болячки заплывают. Зимой, помнишь, как он меня накосмырял? Мама хотела на суд подавать. Пока собралась — все про-

шло. На суде надо, чтобы ты был убитый насмерть или в крайнем случае потерпевший... А то бы он закаялся за волосы хватать.

— А у меня будет день рождения,— сказал Славик нараспев.

— Как даст ботинком по косточке...

— А у меня будет день рождения,— повторил Славик.— Мы на пикник поедем... И гости приедут. В прошлом году один папин знакомый коробку привез... Слышу, чего-то гремит. Развязали, а там — заводной паровозик, рельсы, вагончики, а в вагончиках дверцы открываются.

Вспомнив о дне рождения, Славик немного приободрился. Ждать осталось немного. Поспит три ночи — и на него наденут новенькую, твердую матроску с якорем, новенькие, пахнущие магазином туфельки и повезут на извозчике в заречную рощу. Гости станут дарить Славику заводные игрушки, краски на картонной палитре с дырочкой для пальца, пробки для пугача, переводные картинки.

— А когда все приедут, будем играть в волшебный горшок,— сказал Славик.— Видел большой чугун, в котором Нюра варит белье? Мама насыплет туда пшена, а мы будем засовывать руку в пшено и шарить. А туда мама намесит конфеток, шоколадок, кукленков, солдатиков. И каждый возьмет чего вынется.

— Насовсем? — спросил Митя.

— Конечно, насовсем.

— А зачем чугун?

— Как это зачем? А куда пшено сыпать?

— А зачем пшено? Разделили бы мальчишкам солдатов, девчонкам — кукленков, и все. Из пшена надо кашу варить и шамать. С постным маслом.

— Как ты не понимаешь! Во-первых, это волшебный горшок!

Хотя Славик убеждал Митю, но вскоре и ему самому стали казаться смешными и дурацкий чугун с пшеном, и мама, которая все это выдумала.

— Чунари они у тебя,— сказал Митя.— И отец чунарь, и мать чунариха. Сами кричат: «Мой Славик такая душка, такая цыпка... Мерси вам, пожалуйста!» Прохаживается, как на бульваре все равно.— И Митя, вихляя задом, пошел по кабинету на манер Лии Акимовны.

И тут совершилось происшествие, о котором впоследствии Славик вспоминал с недоумением. Он коршуном ки-

нулся на Митю, сбил с ног, повалил на пол и обеими руками вцепился в жесткие, рыжие вихры.

Дерзость тщедушного мальчишки настолько ошеломила Митю, что он и не подумал защищаться и покорно позволил врагу раза три стукнуть его, Митю, лбом об пол.

Впрочем, он быстро пришел в себя и завопил от боли и гнева.

Плохо пришлось бы Славику, если бы Митин крик не привлек Лию Акимовну. Она в это время прошпиливала длинными иглами шляпу с тряпочными незабудками и собиралась в пайторг.

— Боже! Славик, опомнись! Что ты делаешь! Славик! — кричала она, появившись в дверях.— Что случилось?

Славик отпустил Митю и, будто спросонья, оглянулся.

— Что у вас случилось?

— Ничего,— сказал Славик.— Пусть он убирается. Это не его кабинет. Это наш кабинет.

— Как тебе не совестно! Встань с голого пола! Подай Мите руку и извинись. Миритесь сейчас же! Я что сказала?

Славик упрямо сидел на полу и глядел в сторону.

— Ну хорошо,— сказала Лия Акимовна.— Все будет сказано отцу. Митя, пойдем. А этот скверный мальчишка пусть подумает наедине, как надо себя вести.

В коридоре Митя спросил:

— Посмотрите, Лия Акимовна, у меня под каким-нибудь глазом синяка нету?

Она приподняла его грязную рожицу.

— Ты плакал?

— Нет.— Митя насупился.

— Ничего у тебя нет. Успокойся.

Они вышли на прохладную лестницу.

— А на Славика не сердись и не обижайся. Ты же сам знаешь, какой он нервный. Такой малокровный, бедняжка. Ему прописан кумыс, а он не желает. У несчастных интеллигентов сплошь и рядом рождаются неврастеники. Ничего не поделаешь. Таков наш крест. Десятый год революции, а лифта все не могут починить. И ванна не работает... Называется — великая армия труда. Говорят, в жакте опять растрата. Ты не слышал? Кажется, слава богу, принялись чинить крышу. Уже несколько дней подряд по крыше топают люди... Подождем, может, образуется. Терпенье, говорил генерал Куропаткин!.. А как воняет

у нас на лестнице. Как в помойной яме. Особенно на первом этаже. Черт знает что!.. Говорят, тут ночует какой-то головорез. Ты не видел его? А в газетах пишут, беспризорщина ликвидирована... Когда с тобой разговаривают, не крути головой. Это невежливо...

Они вышли на улицу, и Лия Акимовна зашагала, как солдат, по горячей асфальтовой панели.

Митя хотел удрать. Но пока Лия Акимовна говорила, убегать было как-то неловко. А она говорила и говорила без передышки, и Митя читал афиши «Месс-менд», прощальный концерт лилипутов, читал знакомые вывески: «Аптека», «Портной Бейлин. Он же для женщин», «Бавария»...

Горсовет недавно приобрел шесть итальянских автобусов. Автобусы водили шоферы в очках-консервах. В первые дни извозчики дико ругались, сыпали на дорогу битое стекло и сапожные гвозди. Но итальянские шины были крепкие; извозчикам пришлось смириться. Завидев машину с лаковыми боками, они хватали пугливых рысаков под уздцы и закрывали им глаза ладонями.

И когда Митя бросился через дорогу, на ту сторону, Лия Акимовна ахнула: он чуть не угодил под автобус.

— Чтобы этого больше не было,— сказала она.— Ты чуть не попал под авто!

— Я попу дорогу перебегал,— доложил счастливый Митя.— Не любит!

— Хо-хо! — растерянно заметила Лия Акимовна.— Перебежал?

Она мило улыбнулась, обнажила все зубы, и ее продолговатое лицо чем-то напомнило череп с накрашенными губами.

— Танька велела перебегать,— объяснил Митя.— «Увидите,— говорит,— попа, перебегайте дорогу. Оне, попы, верующие, пускай,— говорит,— чуют, что бога нету».

— Какая Танька?

— А вы что, не знаете? Наша Танька. Вожатая. Вы тоже перебегайте, Лия Акимовна. Мы вас в безбожники запишем.

— Хо-хо! — сказала Лия Акимовна.— Называть вожатую Танькой — это не лафа. Это совершенно не лафа, Митя.

Она гордилась тем, что умела находить общий язык с мальчишками.

В зеркальном окне аптеки сверкал стеклянный шар,

наполненный зеленым лекарством. В шаре виднелась выпуклая улица, выпуклая пивная «Бавария», и по выгнутой панели шагали по одному месту выгнутый Митя и выгнутая Лия Акимовна.

— Кстати,— сказала Лия Акимовна,— через три дня у Славика день рождения. Он тебя пригласил?

— Нет.— Митя тут же решил насолить приятелю.— Он говорит: «На кой,— говорит,— ты нужен. Все равно ничего не подаришь».

— Не может быть! — Лия Акимовна остановилась.— Так и сказал?

— Гад буду!

— Это невероятно! Ну хорошо, Митенька. Передай папе и маме, что Славик приглашает вас всех. Непременно передай.

— А чего ему дарить?

— Какую-нибудь безделку. Пусть ему будет совестно. Он тебя оскорбил, а ты ему поднеси подарок. Запомни, Митя: легче всего убить человека благородством.

— У меня только мослы есть. Может, мослы отдать?

— Какие мослы? Бабки?

— Ну да, бабки. Полный кон набрался. И биток есть. Я его оловом залил. Клевый получился биток.— Митя достал из кармана крашеную бабку.— Полфунта тянет — не меньше. Подержите, если не верите. Возьмите, не бойтесь. Я ее мыл. На нее два солдата ушло.

— Каких солдата?

— Оловянных... Сперва надо дырку сверлить, а после оловом заливать. Тогда получается клевый биток... Хочете, я и биток отдам,— добавил он грустно.

— Милый мой мальчуган! — Лия Акимовна прижала его к костлявому боку.— Давай мы с тобой сделаем вот что: пойдем в пайторг, и ты выберешь ему что-нибудь сам. Хорошо?

Митя насторожился. Слово «пайторг» напомнило ему об ирисках.

— А деньги кто будет платить?

— О деньгах не беспокойся. Твое дело выбрать подарок. Книжку какую-нибудь.

— Нет,— сказал Митя замирающим голосом.— Книжка у него уже есть. А можно... можно ирисок купить?

Лия Акимовна рассмеялась.

— Какой ты глупыш! Давай уж тогда атласные подушечки возьмем. Он любит атласные подушечки.

— Не надо подушечки. Лучше ириски.

— Но почему именно ириски?

— Потому что они стоят сорок две копейки.— Митя громко сглотнул.— А в коробке пятьдесят штук.

— Как хочешь. В конце концов дело твое. Но ириски ты спрячешь и отдашь Славику через три дня. Ты умеешь хранить секреты?

— Умею! — Митя выбежал на мостовую, крикнул ломовику: «Эй, дядя, гужи съел!» — и поскакал, высоко подбрасывая на бегу бабку.

— Вернись сейчас же! Митя! Иначе я отправляюсь домой!

Он, шумно дыша, пошел рядом.

— Когда ты со взрослыми,— сказала Лия Акимовна,— ты должен идти рядом или на два шага впереди. Понял?

— Понял. А клевый биток, Лия Акимовна, правда? Хочете, я этим битком в тумбу попаду? С первого раза.

— Митя! Что за манеры! Пожалуйста, не бузи! Митя!

— Видите? Попал. А хочете, я в кошку попаду? Вон она, кошка...

— Подожди, Митя. Успокойся. Во-первых, запомни раз и навсегда, что ни на людей, ни на кошек на улице пальцем показывать нельзя...

— А чем можно?

— Во-вторых, ты все время плюешься, как верблюд. Это неприлично. Что с тобой?

— А я учусь. Мы во дворе все учимся. Кто дальше заплюнет. Вон чинарик валяется. Думаете, до чинарика не доплюну? — Он остановился.— Глядите.

— Митя! Прекрати сейчас же! Ты понял, что конфеты надо спрятать?

— Понял! Вон куда шмякнула! Дальше чинарика! Я на нашем дворе дальше всех заплюнуть могу. У меня, Лия Акимовна, между зубов дырка. Вы и то не доплюнете, куда я доплюну.

— Митя!

— Потому что надо не харкать, а прыскать сквозь зубы... Я бы еще дальше заплюнул, да слюни кончились.

— Слава богу, дошли,— проговорила Лия Акимовна.— Спрячь бабку и дай руку.

Лия Акимовна проверила, не забыла ли паевую книжку, и они вошли в переполненный магазин.

5

Около шести часов вечера у кинематографа «Ампир» стоял бледный Славик и держал в руке щипчики для сахара.

Перед ним, в коробке, оклеенной кружевным кантиком, лежало шесть ирисок.

Славику было страшно. Он с радостью бросил бы все и удрал домой. Но Таракан объявил: если ребята соберут выкуп, Славик будет прощен. И Славик бормотал: «А ну, налетай, ириски покупай!» — и очень боялся, что его кто-нибудь услышит. Он боялся покупателей, боялся милиционера, боялся, что отнимут коробку... Скоро Нюра станет накрывать к чаю, и мама хватится щипчиков...

Было еще светло, а окна кинематографа блистали электричеством. Весь дом был оклеен цветными афишами. Комик с приятной дырочкой на подбородке прикрывал глаз соломенной шляпой и заманивал: «Хоть бы одним глазком взглянуть на Месс-менд!»

В этот день пустили третью серию. У входа, обрамленного глазированными пилястрами, толпился народ.

В толпе мелькал Коська. Главная масса товара хранилась у него в карманах. Кроме того, ему была поручена караульная служба. За Коськой хвостом шлялся Митя. Он отвечал за деньги, охранял Славика, и вдобавок Таракан велел ему следить, чтобы Коська не ел ириски.

С самого начала торговля пошла бестолково.

Сразу, как только Славик установил коробку с ирисками на кирпиче, подошли две старушки. Им было лет по сто, но и теперь можно было заметить, что они двойняшки. Отличались они только тем, что у одной на руке висел бисерный мешочек, а у другой мешочка не было. Они долго смотрели на Славика, и наконец та, у которой висел мешочек, спросила:

— Ты чей, дитя мое?

— Ничей! — сказал Славик.— У меня папы нету.

— А где твой папа?

Славик подумал немного и сказал:

— Утонул.— Он посмотрел на старушек и добавил нерешительно: — А ну, налетай, ириски покупай!

Старушки заспорили, стали толкать друг друга острыми локотками.

— А мама? — спросила та, у которой висел мешочек.

— Мамы тоже нету.

Старухи загораживали его. Из-за них люди не видели товара.

— Мама тоже утонула,— сказал Славик, чтобы они поскорее ушли.

Старушки повернулись друг к другу носами и стали копаться в мешочке. И та, у которой был мешочек, дала Славику три копейки.

Он сделал пакетик, подцепил щипчиками одну ириску, потом вторую, потом третью. Но пока он делал пакетик, старушки ушли.

Так к шести часам в кассе оказалось всего три копейки, да и то ненормальные.

На каланче ударили половину седьмого. Ириски потускнели и запылились.

Возле Славика появился длинношеий дяденька, с сахарными петушками на палочках. Он непрерывно жевал и чавкал, и большой, как у холмогорского гусака, кадык поплавком мотался вдоль грязной шеи.

Время шло. Никто не покупал ни петушков, ни ирисок.

— Иди отсюда,— сказал дяденька.— Это мое место.

— А я раньше пришел,— возразил Славик.

Дяденька перестал жевать и задумался. Славику показалось, что он сейчас заплачет. Он придвинулся к Славику вплотную, нажал на него длинной ногой и попытался выдвинуть из уютной ниши между пилястрами. Славик сопротивлялся изо всех сил. Как на грех, ни Коськи, ни Мити не было. Дяденька, глядя в другую сторону, нажал покрепче. Славик пискнул.

— Ты чего, босяк, мальчонку обижаешь,— укорила его девица, торговавшая книжками Совкино про Дугласа Фербенкса и Гарри Пиля.— Тебе места мало?

— А кто обижает...— Дяденька отступил на шаг и забормотал, озираясь: — Кто обижает... Никто не обижает...

— Вы этих петушков сами делаете? — спросил Славик мягко.

— Что?.. Я?..— Дяденька вздрогнул. Ему было больше двадцати лет, а он боялся людей, как бездомная собака.— Почему сам?.. Ступай, а то поздно будет...

— Ну что вы! Я еще ни одной ириски не продал. Как же я могу уйти. Какой вы странный. Продам все ириски, тогда уйду.

Дяденька внимательно посмотрел на Славика.

— Нет, пацан...— сказал он тихо.— Сию минуту побежишь...

— Зачем мне бежать! Что вы!

Он оглянулся и шепнул:

— Тебе же приспичило.

— Чего приспичило?

— Сам знаешь чего...

Славик открыл треугольный ротик, прислушался к себе.

— А вот и нет. Не приспичило.

— Ты на ногти погляди. Ногти синие.

Славик посмотрел. Ногти действительно отдавали синевой.

— Ну и что же, что синие. Во-первых, это потому, что я малокровный.

— А вас что, в школе не учили — когда приспичит, всегда ногти синеют. Не знаешь?

— Нет, почему... Я, конечно, знаю... Но у меня они не очень синие. И даже совсем...

Славик замолк. Он внезапно почувствовал, что продавец петушков прав. Прошло еще минут пять, и Славику стало невтерпеж. Он попрыгал на одной ножке, потом на другой. Не помогало.

— А я чего говорил? — сказал дяденька полным голосом.— Сейчас лужу напустишь... Тут — иллюзион «Ампир», а тут — лужа. Очень красиво.

Положение становилось критическим. Коськи и Мити не было. Бежать куда-нибудь в переулок было нельзя — продавец петушков займет нишу. Но и оставаться невозможно. У входа в кинематограф толпились люди. Красивая девица продавала книжки и фотографии заграничных актеров. Со всех стен на Славика смотрел симпатичный комик, прикрыв глаз соломенной шляпой.

Через минуту Славик понял, что необходимо бежать несмотря ни на что, и возможно быстрее. Но как раз в этот момент подошли покупатели: парень и грудастая, как паровоз, слободская красавица с бусами в три яруса. Парень был фасонистый и носил брюки клеш по панель.

— А на фига нам в садик,— уговаривал он барышню.— Пройдемте в кино. Купим билеты в самый зад. Для меня это ничего не составляет.

— Подумаешь, кино,— капризничала она.— Не видала я кино, что ли... Больно надо, блох набираться.

— Тогда в крайнем случае возьмите ириску. Докажите симпатию.

Славик поджался и умоляюще смотрел на барышню.

— Я не затем с вами на бульвар вышла, чтобы на каждом углу конфекты жевать. Мы не голодающие.

— Культурно прошу. Докажите симпатию.

— У меня от ирисков под животом пекет.

— Это не от ирисков. Это от вашей вредности у вас пекет... Ну, бери! — потерял терпение кавалер.— Долго около тебя перья распускать?..

— Ах, какие мужчины упорные...— вздохнула красавица.— Как что захочут, так хоть задавись. Ладно, шут с вами.

— Пять штук, пацан! — парень кинул медный пятак.

Подпрыгивая на одной ножке, Славик завернул ириски в пакетик, вручил конфеты парню, спрятал в карман пятак и хотел было уже бежать, как вдруг услышал голос, от которого забыл обо всем на свете — и о продавце петушков, и о синих ногтях, и обо всем остальном.

Возле кинематографа было шумно: папиросники расхваливали товар, пацанва торговала фальшивыми билетами, очередь в кассу ссорилась,— и в смешанном гуле Славик вдруг ясно расслышал голос, который звучал еще вдалеке, но был, так сказать, особенного цвета.

Это был голос отца.

Славик вдавился в нишу между пилястрами и замер.

Нельзя сказать, чтобы начальник службы пути инженер Иван Васильевич Русаков был строгим отцом. Он редко бранил Славика и ни разу его не ударил. И тем не менее для Славика не было человека страшнее отца.

— Опять репетиция,— слышался его полунасмешливый-полусерьезный голос.— Ты что же это, две серии — со мной, а третью — с каким-нибудь Володькой...

Ему отвечала женщина. Но что она ответила, Славик не слышал. Он слышал только голос отца.

— Ну и запряглась же ты,— говорил отец.— Пять тарантасов тянешь. Смотри, надорвешься.

Женщина что-то ответила.

— А считай сама,— возразил отец.— Работа — раз. Рабфак — два. Комсомол — три. Живая газета — четыре. И, наконец, я — пять.

Они подошли ближе. Голос женщины стал слышнее.

— Какой же ты тарантас,— сказала она папе ласково, как маленькому.— Ты у меня лаковая пролеточка...

Они остановились возле витрины кинематографа, совсем рядом со Славиком. Но отец не видел его. Он не спускал глаз с женщины.

На ней была глубокая кожаная кепка, какие носят комсомольские активистки и безбожницы. Смоляные волосы лежали на гладких, смугло-румяных щеках колечками. В тени длинного козырька блестели узкие египетские глаза.

— А тебе не подходит играть Варвару,— сказал он.— Какая из тебя Варвара?

Он произносил слова, по своему обыкновению, полусерьезно-полунасмешливо. Даже мама иногда не понимала, говорит он серьезно или шутит. А Славик подозревал, что отец не понимает этого сам.

— Когда у вас премьера? — Слово «премьера» он выговорил с комическим почтением.— В субботу?

— В субботу.

— Пойду посмотрю. Чем черт не шутит: выскочишь в какие-нибудь Сары Бернары — до тебя и не дотянешься.

— Еще чего! — прикрикнула она на него.— И не выдумывай! Я забоюсь при тебе... Всю роль провалю!..

— Ничего! Мы так устроим, что ты меня не увидишь.

— Что ты такое говоришь! Я же тебя учую. На рабфаке ты еще в раздевалке, а я на третьем этаже чую... Ты же обещался не ходить! И незачем вовсе!

— Почему незачем? Я тоже студентом в «Грозе» играл.

— Дикого?

— Нет, Кудряша... Какая ты зубастая, скажи пожалуйста! — И папа молодо, всем лицом улыбнулся.— У меня тоже была искра божья. Такую рожу корчил, что с одной стороны походил на Наполеона, а с другой — на Кутузова...

Славик не мог понять, зачем папа ей улыбается. На ней висели такие же, как у прислуги Нюры, дешевые стеклянные бусы — «борки». Наверное, живет она в Форштадте, в старинной казачьей семье, где считают зазорным есть ржаной хлеб и помнят времена, когда лихой казак, отправляясь на цареву службу, кланялся коню, чтобы не выдал в бою... Правда, она была стройна, тонка в талии и, судя по полосатой футболке, умела кататься на велосипеде.

— Ты не спектакль смотреть хочешь,— сказала она.— Ты власть свою проверять хочешь.

— Что ты, Олька,— сказал папа.— Какую власть? Ну, не дуйся. Хочешь ириску?

— Иди ты со своей ириской,— и она легонько стукнула отца по руке.

Славик ничего не понимал. Если бы папу осмелилась шлепнуть прислуга Нюра, вышел бы форменный скандал, и мама ее немедленно бы уволила.

А папа взял Ольку под руку и прижал к себе.

Обыкновенно, когда папа ехал в казенной пролетке из управления домой, на худощавом лице его оставалось служебное выражение. Это же служебное выражение он сохранял и садясь к своему куверту, нарушая симметрию ожидающего его обеденного стола.

На этот раз отец улыбался. И как Славик ни был напуган, ему все-таки показалось, что папа немного похож на парня в брюках клеш, который только что покупал ириски.

— Значит, условились на завтра? — улыбнулся отец Ольке. И взглянул на Славика.

Он взглянул на Славика, узнал его, понял, что его сын у входа в кинематограф торгует ирисками, но от неожиданности и крайнего изумления на лице его все еще держалась улыбка, предназначенная комсомолке по имени Олька.

— Ты что здесь делаешь? — спросил отец, все еще улыбаясь.

Славик молчал. Все, что сегодня происходило, начиная с двух старушек-двойняшек, было похоже на сон. Бесшумно, точно бесплотные тени, промелькнули Коська и Митя.

— Ваня,— спросила Олька.— Кто это?

Улыбка медленно сползала с лица папы.

Он снял форменную фуражку со значком «топор и якорь», тер большим носовым платком переслежину на лбу.

— Товарищ Ковальчук,— сказал он отчетливо,— не забудьте проверить кальки и позвоните мне завтра в три часа дня.

— Какие кальки? — Она посмотрела на него испуганно.

— Кальки, надвижки, фермы... Какая вы бестолковая... Срочно подберите по номерам и положите в несгораемый шкаф.— Папа ни с того ни с сего рассмеялся и тихо добавил: — Сара Бернара!

— Вот это да! — сказала Олька и быстро пошла в обратную сторону.

Папа обернулся к Славику.

— Скажите пожалуйста! — сказал он.— Ты что же, решил отцу помогать? Зарабатывать?

Славик молчал.

— И давно ты сюда ходишь?

— Один день только,— сказал Славик.— Я больше не буду.

— И много наторговал?

— Пять копеек. И еще три. Восемь копеек. Я больше не буду.

— Молодец. Мне как раз на пиво не хватает.— Хотя он шутил, но на Славика смотрел виновато.— Пойдем домой.

— Я не могу, папа... Мне рубль надо.

— Рубль? Зачем тебе рубль?

— Надо.

— Тебя никто из знакомых не видел?

— Нет.

— Долго же тебе придется здесь торчать, бедняга.— Папа посмотрел на него сочувственно.— Давай так: я плачу рубль и забираю весь товар. Оптом. Получай рубль и ликвидируй свой синдикат. Я забираю у тебя все ириски.

— Так нельзя, папа,— сказал Славик.— Надо — по копейке штука.

— Я же дороже плачу, садовая голова! Ты бы стоял две недели, а тут — рубль сразу.

Славик беспомощно оглянулся. Ни Мити, ни Коськи не было. На углу стояла комсомолка Олька.

— Нет, я так не могу,— твердо сказал Славик.— Таракан велел — копейка штука.

Мимо промчался Коська и крикнул на ходу:

— Отдавай!

— Это кто? — спросил папа.— Директор?

— Нет. Это с нашего двора. Коська.

— А с ним что за шпингалет? Кажется, Митя? Позови-ка их.

Ребята подошли. Коська сказал: «Пламенный привет!» — и встал за спину. Коська был франт: кепку носил козырьком на ухо и чубчик прилизывал на лоб. Нос у него был в чернилах.

Папа повторил предложение.

— Отдавай, отдавай...—заторопился Митя.— И коробку отдадим, вместе с крышкой, если за рубль... Знаете, Иван Васильевич, какие сладкие ириски. Закачаешься! Таких сладких ирисок и нету ни у кого.

Коська стал выгребать конфеты из карманов.

— А зачем вам все-таки рубль? — спросил папа.

— У нас Самсон Зорьку загнал,— сказал Славик.

— Какой Самсон?
— Кривой.
— Какую Зорьку?
— Нашу. Нам деньги на выкуп надо.
— Кому надо?
— Таракану... У нас Зорьку Самсон загнал.
— Давай быстрей,— сказал Коська.— Чем крепше нервы, тем ближе цель!
— Скажите пожалуйста! — удивился папа.— И вы думаете, за рубль Самсон отдаст голубку?
— Таракан говорит, отдаст. Таракан знает.
— Вот вам рубль,— папа забрал коробку.— Что же доложить маме? Придется соврать, что купил в пайторге.
— Не надо,— сказал Митя.— Там пять штук не хватает.
— А что делать? Прихожу с коробкой. Мама спрашивает — откуда? Что же мне говорить, что я купил у «Ампира», у собственного сына за целковый? Глупо.
— У ней будет мигрень,— сказал Митя.
— Именно. Представляете: Славик торговал без патента и к тому же спекулировал. Разве это красиво?
— Некрасиво,— согласился Коська.— Надо эти ириски ликвидировать. Чтобы никто не знал. Давайте разделим их на четыре кучи, сшамаем, и прощайте, ласковые взоры.
— Пожалуй, это выход,— сказал папа.— Как думаешь, Славик?
Славик не знал.
— Ну что же. Пощадим Лию Акимовну. Не будем ей ничего говорить. Хорошо?
— Пощадим,— сказал Коська.— Давайте я разделю на четыре кучи. Я по-прежнему такой же нежный.
— Давайте, ребята, молчать. Но больше так не поступайте. Я сам водил голубей, но спекулянтом никогда не был. Это некрасиво.
— Некрасиво,— сказал Коська, не спуская глаз с коробки.— Давайте делить на четыре кучи.
— Итак: я вас не видел, и вы меня не видели. А свою долю я отдаю Коське.
— За так? — спросил Коська.
— За так. Обещайте, что этого больше никогда не повторится.
Ребята нестройно пообещали и, ухватившись все трое за коробку, побежали за угол.

А комсомолка, которой папа велел срочно прятать чертежи в несгораемый шкаф, торчала на углу и смотрела на Славика загадочными египетскими глазами.

6

Коська плюнул в ладонь, пригладил челку и постучал кулаком в калитку. Из всех ребят только ему посчастливилось бывать у Самсона. Раза два он носил туда узлы с бельем. По причине знакомства ему и было поручено вести переговоры о выкупе Зорьки. Но пошли к знаменитому голубятнику все.

Калитка была вделана в громадные ворота с накрышкой. В калитке был прорезан волчок вроде бубнового туза, прикрытый изнутри заслонкой.

Самсон не отворял.

— Может, его дома нет? — спросил Митя.

— Он всегда дома,— возразил Таракан.— Стучи шибче.

Коська повернулся задом к воротам и постучал пяткой.

Заслонка отодвинулась. Мокрый Самсонов глаз оглядел всех по очереди: Коську, Таракана, Митю и Славика.

— Пламенный привет! — сказал Коська.

Самсон молча продемонстрировал через квадратный смотровичок сперва бороду, потом широкий нос с бутылочными дырками.

— Отворяй давай,— сказал Коська.— Не бойся. Я попрежнему такой же нежный...

— Тебе чего? — спросил Самсон.

— Голубя выкупать.

— Когда упустил?

— Вчерась.

— Деньги при тебе?

— При мне.

— Предъяви.

Коська побрякал монетами.

— А эти кто? — спросил Самсон.

— С нашего двора. Отворяй.

Самсон задумался. Мысли у него в голове поворачивались медленно.

— У нас еще деньги есть,— соврал Митя на всякий случай.

Самсон думал.

— Тебя пущу,— решил он наконец.— Остальных — нет.

— А если нет, то почему? — спросил Коська.

— Потому,— ответил Самсон.

На счастье ребят, в это время подошел маленький старичок в котелке, с морщинистой, как у черепахи, шеей. Старичок был не то в пиджаке, не то в сюртуке, и длинные локоны его лежали на бархатном воротнике змейками.

— Отворяй, отворяй, греховодник,— заговорил старичок, приятно припевая.— Детушки пришли, наше светлое будущее, а ты рычишь, ровно вепрь в чащобе. Уж и детки его не радуют.

Самсон открыл калитку. Старичок сперва пропустил ребят и только тогда переступил во двор сам.

— Сказано,— припевал он,— пустите детей, не препятствуйте, ибо таковых есть царствие небесное.

— Ладно двенадцать-то евангелиев читать. Тут не церква,— ворчал Самсон, хлопая живым глазом.

Другой глаз он потерял, как сам говорил, за свободу. Был он плотный, приземистый, в разукрашенной обойными цветочками жилетке поверх лазоревой косоворотки и в штанах со споротым лампасом.

— Живешь ты, Самсонушко, возле голубков, а злющий, как барбос, прости господи,— весело припевал старичок.— Семирамида-матушка, царица вавилонская, хуже тебя была грешница, а и та к твоим-то годам в голубку оборотилась. Голубка — символ веры, дух святой, помни!

Что он рассказывал дальше, Славик не слышал. Как вошел, так и застыл на месте. Вдоль всех трех заплотов, кроме наружного, по просторному двору тянулись зеленые голубиные домики. Все они были затянуты оцинкованной сеткой и выбелены изнутри известкой. А за сетками, как цветы разноцветные, пестрыми букетами красовались сотни, а может, и тысячи отборных белых, зеленых, сизых, смурых, черных голубей.

— Идем,— сказал он Мите шепотом.— Идем Зорьку искать.

И они пошли по голубиной улице.

Кого здесь только не было! И турманы, и дутыши, и аспидно-лиловые зобатики, и мохнатые трубачи, и черно-хвостые монахи, и хохлачи любезничали, шуровались в песочке, прибирались, причесывали перышки. Случайно попавшие в клетки воробьи нахальничали, пугали наседок.

— Гляди, в углу какой бородатый.— Митя дернул Славика за рукав.— Вон он, зеленый. Как козел.

— Я такого видал... в садике...

— Нигде ты таких не видал. Такие у нас не водятся. Он из-за границы прилетел. Из Франции. Или из Парижа.

— Что Франция, что Париж — все равно, Митя,— сказал Славик.— Одинаково.

— Ничего ты не петришь.— Митя сплюнул.— Франция дальше Парижа.

Они прошли первую клетку, вторую, третью. Зорьки не было.

— Ничего,— утешал сам себя Славик.— Не огорчайся, Митя. Вон еще сколько домиков.

— Это называются вольеры, а не домики. Голова — два уха.

— А ты Зорьку в лицо помнишь?

— А то нет. Постой, это не Зорька?

— Какая тебе Зорька! Видишь, на ноге бантик.— И правда, на голубиной ножке виднелся лазоревый бантик, из того же материала, что и хозяйская косоворотка. Это для того, чтобы отличить своих, коренных, от чужаков, приставших к табуну во время прогулки. Митя дернул Славика за рукав.— Гляди, как он вокруг нее на хвосте плывет...

— Ты чего, греховодник, соблазняешь херувимчика,— пропел стариковский голос.— Чего глядеть-то? Голубок с голубкой понимается. Вот и все... И глядеть нечего... Покажи-ка ты мне, Самсонушко, вон того, кучерявого... Вон за сетку уцепился.

Самсон махнул длинной палкой с проволочной петелькой, и не успел Славик моргнуть — заграничный голубь бился на конце палки бенгальским огнем, теряя перышки.

За голубя Самсон назначил восемьдесят одну копейку.

— Да что он у тебя, брильянт проглотил? — возмутился старичок.— Почему такая дороговизна?

— Потому. Порода.

— Такой безумной цены не бывало от сотворения мира, Самсонушко. У кого хочешь спроси.

— Конечно, дорого,— сказал Митя рассудительно.

— А ты помалкивай,— заметил Самсон, выпутывая голубя из петельки.— Откроешь свою лавочку — назначай хоть гривенник.

— Зачем мне открывать,— возразил Митя.— Я не буржуй. Папа говорит, скоро всех торгашей передушат.

— Ишь ты, какой комиссар! — Самсон подал голубя старичку.

— Ты возле него не смейся! — сказал Коська.— У него отец знаешь кто? Секретарь в комячейке. В главных мастерских. Наган носит.

И старичок и Самсон с некоторой опаской поглядели на Митю.

В те времена многие считали, что любой партиец мог приехать в Москву и запросто зайти к Калинину на квартиру — побеседовать.

— Отец лично говорил, что передушат? — спросил Самсон.

— Он маме сказал. «Не реви,— говорит,— Клавка. Потерпи. Скоро и кулака придушим, и торгаша».

— И у партийных жены плачут? Господи! — удивился старичок.

Митя поглядел, как он ощупывает голубя быстрыми пальчиками, будто обыскивает, и объяснил:

— Она пуховый платок продала и купила папе штиблеты — шимми, у частника. Папа обулся, пошел на просветительную работу, а был дождь. И подметка вся как есть размокла. Ровно сгорела. Фальшивая у частника была подметка поставлена, из картона... А платок хороший, от бабушки остался, такой хороший пуховый платок, через обручальное колечко проходит... Мама заплакала, а папа говорит: «Не реви, Клавка. Скоро,— говорит,— они раскаются, скоро,— говорит,— сами на коленках упрашивать станут, чтобы изъяли ихнее добро».

И взрослые и ребята стояли вокруг Мити и слушали его, как будто это был не он, а его папа.

— А не пояснял тебе батюшка, кто тогда его величеству пролетариату хлебушек будет продавать? — спросил старичок.

— Церабкоп останется,— сказал Митя.— Пайторг.

— И все будет даром,— добавил Коська.— Зашел — взял сосисек и витого с маком, сколько донесешь,— и пламенный привет! Лиловый негр вам подает пальто!

Старичок приподнял голубя, подул на хлупь.

— Не смилуешься? — спросил он.

— Нет. Рубль и двадцать одна копейка,— сказал Самсон.

— Да ты что? — Старичок выпучил глаза.— Насмехаешься? Ты восемьдесят просил!

— А слышал, что пацан сказывал? — и Самсон взял голубя из рук старичка.

— Да опомнись, Самсонушко! Кому ты веришь? Ма-

лым детушкам? Что ты! — и старичок взял голубя у Самсона.

— Верь не верь, а наложут налоги, и сдохнешь. Надо деньги запасть. От закона откупаться.

— Нет такого закона, чтобы человека казнить голодом!

— Нет, так будет. Власть что хочешь запишет. На то она и власть.

— Труслив ты стал, Самсонушко! Вон византийские владыки на золотом престоле восседали, между золотых львов, а во чреве у львов — иерихонские трубы. Осмелишься подступить к престолу ближе, чем положено по чину, львы так рыкают — всё ниц валится... Это я понимаю — власть! А ты кого боишься? Председатель Цика косит наравне с мужиками, как эсаул. Мало ему сена...

— Косит, косит, а потом придет домой, напишет тебе налог, и присядешь на корячки,— объяснил Самсон.— Рубль и двадцать одна копейка.

— Больно дорого,— заметил Митя.— Рубль да еще копейки.

— А ты ступай скажи своему батюшке, чтобы попусту не распускал язык,— разозлился старичок внезапно.— У товарища Ленина, у Владимира Ильича, сказано: нэп укореняется всерьез и надолго! Вот какой его завет! Пускай твой батюшка в «Капитал» поглядит!

— Эва ты какой стал верноподданный новому режиму,— удивился Самсон.— Сам-то читал «Капитал»?

— Интересовался.

— Ну и как?

— Не понравилось.

— Ну вот,— сказал Самсон.— А говоришь!.. Давай рубль и двадцать одну копейку...

— Да ты что! Где мне взять такие капиталы? В родильный приют ходил крестить — теперь гонят оттудова. Усопших хоронить и то надумали по красному таинству. Босые девы пойдут за гробом в белых ризах и зеленых веночках... И девы сии заменят Советской власти и певчих, и духовный клир... Хоть бы ради катара немного скинул, бессовестный.

— У меня без запроса. Хочешь — бери, хочешь — иди. Нужен ты мне со своим катаром.

— Грабитель ты, Самсонушко. Трудящий народ грабишь. Куды тебе деньги? Смотри — власть крепка есть. Чего ждешь? Куда копишь?

— А коли власть крепка, чего космы не остригаешь? Или в девы пойдешь наниматься? За красными покойничками ходить? Берешь или нет?

— Что сделаешь! — вздохнул старичок.— Истинно сказано: одна участь и праведному и неправедному.

— Вот она! — послышался голос Славика.— Скорее! Ребята!

Митя метнулся к нему. Зорька, ничуть не смущаясь своих бывших хозяев, целовалась с каким-то мохноногим балбесом.

— Три раза смотрели, а не видали...— бормотал Славик, бестолково хихикая.— Пропустили... А она меня сразу узнала... Честное слово... Гад буду... Ты говорил, спряталась, а она вот она, никуда не спряталась, а...

Он осекся и открыл треугольный ротик.

Митя посмотрел в направлении его взгляда и увидел: Самсон прижал голубку под мышкой, повернул ей два раза голову, будто свинчивал ржавую гайку. Старичок подставил мешок. Голубка упала на самое дно и забилась там.

— Что это? — содрогнулся Славик.

— Наверное, на обед купил,— произнес Митя неуверенно.

Мешок потрепыхался в слабой стариковской ручке и замер. Прибежала чумазая кошка, заголосила, стала тереться о стариковское голенище.

— Крем-брule! — загоготал Коська.— Палочку сквозь гузку, и на угольки. И прощайте, ласковые взоры! Небось Самсон и сам голубятинку шамает. Вон какую ряжку наел... Хозяин! — заорал он на весь двор.— Нашли!

Внизу мешка проступило мокрое пятно. Подбежала еще одна кошка — рыжая. Обе они, задирая морды, плакали, как младенцы. Ненасытный старичок тыкал пальчиком в сетки, прицениялся, и Самсон таскался за ним с палкой-ловилкой. Впрочем, его единственный глаз примечал все. И когда Таракан отправился проверить, что в мешках — горох или просо,— Самсон крикнул:

— Ты там чего позабыл?

Волшебное голубиное царство рассеялось, как дым на ветру. Глазам Славика открылся мертвый, лысый, без травинки двор, тесно заставленный приземистыми, сбитыми из чего попало клетками, в которых за проволочной сеткой дожидались своей страшной участи голуби и голубки.

Черный ход был единственным путем в хозяйские хоромы. В тяжелой колодине торчал железный косырь, чтобы соскребывать грязь с сапог.

— Нет, Самсонушко,— припевал старичок, возвращая очередного голубка.— Этот не подойдет. Одне косточки. Гуляет, озорник, много... Ты мне барышню излови. Вон ту, монашенку черненькую...

— Да ты что! Она на яйцах сидит.

— Господи боже! Супруг догреет.

— Душегуб ты,— сказал Самсон.— Больше ты никто!

Но все-таки достал наседку, и старичок стал ее щупать, заводя глаза в небо.

— Нету в тебе, Самсонушко, истинной доброты,— припевал он мягонько.— Нету в тебе истинного христианского милосердия ни к недужному старцу, ни к малому отроку...

Самсон махнул рукой и пошел к ребятам.

— Которая ваша? — спросил он и протянул ладонь за деньгами.

— Сперва голубку представь,— сказал Таракан.

Самсон молча держал на весу четырехугольную ладонь.

Коська вытащил из кармана деньги. Самсон двигал монеты по буграм ладони до тех пор, пока толстые каленые пятаки не отложились по краям, а серебро осталось посередине.

— Мало,— сказал он.

Ребята замерли.

— Как это мало? — помрачнел Таракан.— Цена законная. Рубль.

— У тебя рубль, у меня — два. И четырнадцать копеек.

— Ты же вчера еще загнанных хохлачей за рубль отдавал, жила.

— Вчерась за рубль. А сегодня — за два.

— А если нет, то почему? — спросил Коська.

Самсон снял с него кепи, высыпал туда деньги и посоветовал:

— Еще рубль четырнадцать наворуешь — приходи.

Монеты просыпались на землю. В кепи была дырка.

— Дяденька,— сказал Славик. Ну, пожалуйста, будьте любезны, отдайте нашу Зорьку. Я вас очень прошу.

— Ты чей? — уставился на него Самсон.

— Я Славик. Я вам за Зорьку заводной паровозик принесу. И вагончики. Хорошие вагончики, дверцы открываются. Через два дня у меня день рождения. Мне

паровозик подарят, и я вам сразу принесу... Все принесу, и рельсы и вагончики... Ну, пожалуйста...

Под бородой Самсона шевельнулась улыбка. Что-то давно позабытое заворочалось у него в голове.

— И дверки, значит, открываются? — спросил он.

В это время раздался пронзительный, девчачий голос Таракана:

— А ну, отдавай трубача добром, живоглот одноглазый!

Хозяин косолапо повернулся.

Таракан стоял шагах в десяти, не сводя с Самсона крапчатых золоченых глаз. В руке у него вздрагивала палка с проволочной петлей. Сладкое предчувствие битвы одурманивало его.

— Чего вылупился, зевло собачье? Представь трубачиху сию минуту, а то последний глаз выну.

— Так ты что? Грабить меня собрался? — спросил Самсон весело.

— Грабить не грабить, а без турмана не уйду.

— Силком возьмешь? — поинтересовался Самсон.

— Не дашь сам, так силком.

— Вот это да! — Самсон в восторге шлепнул руками по бедрам.— Грабеж среди бела дня и при свидетелях... А? Во какие атлеты растут! Днем и при всем при народе, а?

— Митька, бери Зорьку! — приказал Таракан.

— А замкнуто! — отозвался Митя.

— Ломай замок!

— Так он железный!

— Выворачивай петли! Коська, подкинь ему метлу!

— И замки ломать будешь? — еще веселей изумился Самсон.— И мильтона не боишься?

— А вот увидишь!

— Во, гляди,— сказал Самсон старичку назидательно,— какое оно нынче, царствие небесное. Вот он, пионер, берите, взрослые, пример... Ну, хватит! — рыкнул он на весь двор.— Поигрался — и давай отсюдова!.. А то я тебя...

— Не подходи, курва, убью! — взвизгнул Таракан. От ярости у него сводило губы.

Самсон остановился, озадаченный. Такие гости к нему еще не наведывались.

— Красных в казармах кто резал? — приговаривал Таракан, дергаясь, как петрушка на ниточке.— Больше-

виков с пятого этажа кто скидал? Думаешь, не знаем? Все знаем, сука кривая... А ну, подойди только...

Голубка вырвалась из рук ошалевшего старичка и взлетела на крышу.

— Давай быстрей! — командовал Таракан.— Где Коська?

— Его не видать! — крикнул Митя.

— Огурец, подай Митьке метлу,— командовал Таракан.— Куда, курва! — закричал он, заметив, что Самсон потихоньку пятится к поленнице.

Таракан взмахнул палкой и стал прокрадываться в сторону слепого глаза. На солнце блеснуло «перышко».

— Берегись! — закричал старичок.— У него финка.

Самсон как будто отступал. Если его удастся загнать в дом, будет совсем прекрасно: в придачу к Зорьке можно прихватить с десяток турманов. Таракан крался в обход, чтобы отрезать хозяина от поленницы, а Самсон пятился и поворачивался, не выпуская его из поля зрения.

К поленнице Самсон не пошел. Он обогнул крыльцо, миновал кадушку, и, только когда без опаски засеменил к сараю, все стало ясно.

За сараем лежал комплект городошных палок и рюх. Палки были добротные, тяжеленные, из тех, которым городошники дают ласкательные имена и названия: «ковер-самолет» или «анюта».

Таракан остановился, озираясь. Золоченые глаза его мерцали. Он обожал опасность... Ни камня, ни другого подручного снаряда не было. Скупой Самсон торговал не только птицей, но и голубиным фосфором и собственноручно подметал каждый день двор.

— Кто бы мне калиточку отворил,— боязливо припевал старичок.— Совсем слаб, силы нет заслон двинуть...

Самсон с удовольствием вывесил дубину под названием «самолет» и прицелился, будто не Таракан, а какая-нибудь «пушка» или «купчиха в окне» стояла посреди двора. И в эту минуту раздался ликующий крик Славика.

Замок подался.

— Дверь! — закричал Таракан.

Предупреждение опоздало. Митя и Славик понадеялись друг на друга. Дверь осталась открытой настежь. В голубятне поднялся содом. Птицы метались, бились о ребят, лупили их сильными крыльями. Не только поймать, но и разглядеть Зорьку в бушующем голубином

пламени было немыслимо. Славик ослеп от пуха. И в ноздрях у него был пух и во рту. Когда он протер глаза, домик был пуст, а Самсон, задрав в небеса курчавую бороду, делал по двору бессмысленные круги.

Сначала он пытался приманить голубей голосом, потом, причитая, бросился к вольеру и захлопнул дверь, хотя внутри, кроме одного-единственного глупого воробья, никого не осталось. Потом схватил палку и стал наяривать по ведру. Он совсем сбился с толку.

Голуби дружной стайкой метнулись на закат, и стена соседнего дома заслонила их. Самсон кинул ведро, полез на крышу.

Немного не долетев до собора, стая внезапно повернула обратно и устремилась к цирку.

— Так и есть. На мещеряка пошли...— проговорил Самсон обреченно.

Гошка-мещеряк считался в городе самым хитрым голубарем после Самсона.

— Упустили? — спросил, появившись словно из-под земли, Коська.

Ребята молчали.

— Это же надо! — продолжал Коська, искательно поглядывая на Таракана.— Дома упустили, у Самсона упустили. Называется голубятники.

Ребята были настолько обескуражены, что забыли поинтересоваться, где он пропадал. А Коська самые острые минуты конфликта пересидел в дальнем углу двора за ящиком, в котором гасили известь. Так никто и не узнал ничего. Только Славик удивился, что штанина у Коськи белая.

На крыше под ноги Самсону попалась черная монашка. Она никуда не хотела лететь. Она хотела в гнездышко.

— Ты еще тут! — он пнул ее ногой.— Где они?! Где?! — завопил он, потеряв голубей из виду.— А ну, давай сюда, ты, атаман! Давай сюда, тебе говорят!

Таракан забрался на крышу. Голуби шли высоко, растянувшись черной ниточкой.

— Вон сколько рублей улетело,— сказал Самсон.— На Форштадт идут?

— На Форштадт.

— Ну, все. Сейчас их Гошка возьмет,— произнес убито Самсон и сел на железо.

— Самсонушко! — звал старичок снизу.— Будь такой добрый... Выпусти меня, Христа ради.

— Ну чего? — Самсон уставился на Таракана, стараясь на лице его вычитать, что случилось.— Поднял Гошка своих? Гляди туда... Гляди лучше...

— Вроде нет.

— Гляди шибче. Туда гляди...

— Чего я, не знаю, что ли? Туда и гляжу... Что ты за голубятник, что от тебя голуби бегут.

— Никуда они не бегут... Их Дипломат увел... Я его от Гошки сманил. С руки кормил сукинова сына... А он — вишь, к старому хозяину... Сам ушел, табунок увел. Вот это порода!.. На ногах вторые крылья! Нынче такого товара нету!..— Он вздрогнул, словно его разбудили.— Не поднял?

— Нет. Дальше пошли. Круги водят.

— Врешь?

— Гад буду.

— Э-ге-ге! — Крыша загремела. Самсон вскочил и проплясал что-то вроде цыганочки. Он вспотел и дышал тяжело. Руки его тряслись.— Чего, Гошка, выкусил? Меньше в пивнухе заседай. Дюжина пива, соленые сухарики! Посмеюся я завтра вокруг него. Мне бы второй глаз — не осталось бы в городе голубей. Всех бы заманил...— Он опять спохватился и спросил недоверчиво: — Верно говоришь, не поднял?

— Верно. Ушли твои. Вовсе не видать.

Самсон еще больше развеселился, хлопнул Таракана по плечу.

— Слышь, прибегал мещерячок... Отдай, мол, Дипломата да отдай... На колени падал. Бабу свою заместо его сулил... А я ему — вота...— и Самсон показал Форштадту большущий шиш. И умиротворенно закончил:

— Слазь. Больше глядеть нечего. Сейчас они на собор пойдут и домой. У них сроду мода такая...

Он слез во двор. За ним опустился Таракан.

— Тебе сколько лет? — спросил Самсон.

— Много.

— Ты чего, припадошный?

— Не знаю.

— А ну, покажи инструмент.

Таракан достал «перышко». Самсон попробовал лезвие на ногте.

— Хорошая работа. Где взял?

— Шкет один дал. Беспризорник. У нас под лестницей ночует.

— Спрячь подальше. Финачом не озоруют. Нынче припадошных тоже берут. Пырнешь кого и — прощай, мама дорогая.

Темнело. Словно рождаясь из ничего, из тихого вечернего воздуха, один за другим возникали голуби. Посвистывая крыльями, они устало садились на крышу, на землю, на вольеры.

— Вот она, Зорька,— сказал Славик печально.

— Не серчайте,— утешал Самсон, направляясь к воротам.— Мы с этим мещеряком хотели артель сколотить, «Красный голубь». Не лигистрируют. Мелкая, говорят, буржуазия. А сейчас, что ни день, агенты с портфелями ходят. От каждого приходится откупаться. А покупатели, вот они...— Он подпер плечом заслон и, передвигая его в железных скобах, закончил животом, натужно: — Куроеды,— и выпустил злющего старичка.

— Тащите, пацаны, два рубля выкупу и получите свой товар. Да за замок двадцать шесть копеек.— Самсон взглянул на Таракана, подумал и сказал: — А про казармы ты зря... Глаз мне господин Барановский в восемнадцатом годе вынул. Никто не верит, а так...

И, на зависть ребятам, Самсон подал Таракану, как большому, руку.

7

С тяжелым сердцем шел домой Славик. Он знал, что его давно дожидается учительница музыки, что мама звонила в милицию, гоняла прислугу Нюру в соборный садик. Он надеялся, что по дороге само собой придумается оправдание, которое умилит и маму, и сердитую учительницу, и Нюру, и спохватился только после того, как за ним тяжело хлопнула парадная дверь.

Делать нечего. Придется не торопясь подниматься по лестнице. До третьего этажа можно много чего придумать.

В подъезде его ожидала новая неприятность.

В углу, под каменной лестницей, спал босой оборванец. Это был страшный бандит по прозвищу Клешня. Несколько лет подряд, обыкновенно в июле, он появлялся в городе и до осени располагался под лестницей. Во дворе говорили, что где-то за рекой, в роще, Клешня зарыл клад и теперь режет людей не с целью грабежа, а просто так, чтобы не разучиться.

До сих пор Славик видел этого бандита только во сне. Наяву им не приходилось сталкиваться. Клешня появлялся в подъезде часам к двенадцати ночи и исчезал на рассвете. Славик в это время спал. А сегодня — еще девяти нет, а он уже здесь. Такого никогда не было.

Славик отер о штаны липкие ладони. Экономическая угольная лампочка освещала дырявые обноски, клокасто стриженный беспризорный затылок и кривые пальцы на босых ногах. Бандит лежал в позе зародыша, уткнувшись носом в колени.

Первой мыслью Славика было пройти домой со двора. Но тогда придется опять хлопать дверью, и Клешня может проснуться. Славик прикусил язык и стал на цыпочках пробираться к лестнице. Не успел он сделать и трех шагов, Клешня вздрогнул и выпучил на него белые глаза.

К удивлению Славика, Клешня оказался совсем не таким, каким появлялся во сне. Ему было лет пятнадцать, не больше. Страшным у него было, пожалуй, только немытое лицо, такое же черное, как и ноги. А если его отмыть, то оно перестанет быть страшным: нос прямой, правильный, под носом ни разу не бритые усики. Эти нежные, как реснички, усики особенно удивили Славика. И он вспомнил, как во дворе говорили, что Клешня не трогает жильцов дома, и ценили его благородство.

— Хина есть? — спросил Клешня.

— Не знаю,— ответил Славик.

Клешня пошарил внутри зипуна и вытащил пивную бутылку. Славик заметил, что рука у него изуродована. Целыми на ней были всего два пальца.

— Пить охота, спасу нет,— сказал Клешня.— Вынеси водицы.

От него исходила едкая тлетворная вонь.

— Меня ожидает учительница музыки,— сказал Славик.— И потом... меня к вам не выпустит мама.

— На колонку сбегай. Нацеди.

— А сырую воду пить разве можно?

— Можно! Канай!

Бандит запахнул полу зипуна, и на Славика пахнуло потом и жаром воспаленного тела. Клешня дрожал мелкой собачьей дрожью весь с головы до ног, как будто его везли на телеге.

Славик сбегал к колонке, принес полную бутылку воды. Клешня брезгливо отер горлышко, сделал несколько гром-

ких глотков, оторвал от штанины тряпку, скрутил пробку, заткнул бутылку и сунул ее под себя.

— Ступай играй музыку,— разрешил он.

— А у вас случайно рубля нет? — спросил Славик.

— Сегодня нет,— ничуть не удивился Клешня.— А на что?

— Голубку надо выкупить. Самсон за рубль не отдает.

Клешня подумал.

— Клуб дорпрофсожа знаешь?

— Знаю. Там «синяя блуза» представляет.

— Ну вот. А под клубом подвал. Окна — во двор. В ямах, под землей. Под решеткой. Понял? А в подвале бумаги — навалом. Понял? Больше ничего нет. Одни бумаги. Бери сколько хочешь.

— Мне кажется, Самсон не захочет бумаги,— возразил Славик осторожно.

— А ты на базар снеси. Загони на обертку. Полтора рубля выручишь. А то два.

— А вы сами загоняли?

— Мне зачем? Мне и в форточку не пролезть. А дверь под замком. На бломбах. Понял? А ты пролезешь.

— А если там нет форточки?

— Есть. Я этот подвал с восемнадцатого года знаю. Там моего пахана запороли.

— Как запороли? Кто?

— Беляки. Дутовцы. Насмерть запороли и повесили... На фонаре. А теперь он в подвале живет.— Клешня забормотал торопливо: — К двери прислонишься — слыхать... Ходит тама, дышит. Ты чего? Про мамку не надо тебе?.. Не надо?..

Славику стало жутковато, и он крикнул:

— Чего вы? Какая мамка?!

— А? Что? — Клешня вздрогнул, открыл глаза.— Нарахался? — Он осклабился.— Не бойся... Это я забылся... Бредил, да? Не бойся. Стану забываться, ты меня пни ногой, я и проснусь. Лихоманка бьет!.. Как бы не загнуться...— Он подумал.— Тут, в городе, сперва красные были, а после — дутовцы пришли... Понял? Утром тетка бежит среди улицы. Платочком машет: «Беленькие пришли! Беленькие пришли!» Поймали пахана, ведут. А мы с сестренкой потихоньку за конвойцами. Позырить — куда. Понял? Завели его в этот самый подвал. Я — на решетку пузом. Он там разбузовался, шухер развел, чернильницу на них вылил. Они его давай пороть.

А он: «Да здравствует революция! Мы — живые, вы — покойники!» Я сестренке: «Стой. Не сходи с места...» Побег домой — офицеры с мамкой играют. Усатик черкес и еще один — пузатый. Раздели ее нагишом и играют. Понял? Пока то да се, побег обратно — сестренки нет. С тех пор ищу. Понял? Мне тогда семь лет было, ей — восемь. А ну, подбей. Сколько сейчас?

— Семнадцать,— сказал Славик.— А как ее звать?

— Позабыл, пацан. То-то и дело... Надо было ее сторожить. А я возле мамки канителился. Мамка им не дается, корябается. Они серчают. А я реву возле них. Понял? Этот, черкес, ко мне: «У вас, мальчик, есть молоточек? Принеси мне гвоздочек и молоточек». Думаю: угожу — они уйдут. Принес. Они завалили мамку на кровать и прибили к стенке.

Клешня сухо засмеялся.

— Кого прибили? — спросил Славик.

— Мамку. Гвоздем. Сквозь ладонь. Как бога. Понял? Одну руку приколотили, другая свободная. Прибили — успокоилась. «Уберите,— говорит,— ребенка». Усатик мне — пинкаря... Побег к сестренке. Сколько времени даром ушло. Знал бы, гвоздя бы им не искал... Гляжу — эти идут. Которые пороли. Понял? «Папаня там?» — «Там, там, сынок! Давно тебя дожидается». И нагайкой показывает. А нагайка мокрая. Гляжу — висит на столбе. Черный. И пенсне на носу. Он не носил пенсне: чужую прицепили, для смеха... Дурачки, чего надумали... Чужую пенсне прицепить,— он засмеялся.— Была охота... как пацаны все равно... А пахан как живой. Висит — поворачивается, висит — поворачивается...

Славик пнул его в бок.

— Ты чего? — удивился Клешня.

— Вы не бредите?

— Нет.

— Простите. Я думал, вы бредите...

— Нет. Он был. И пинжак евоный, и все...— Клешня оживился.— А клифт у меня ничего. А? Маруха добыла...— Он распахнул зипун, показал драную подкладку. На темном рифленом теле висели сопревшие остатки рубашки и штанов.— Клевая у меня была маруха, пацан. Засыпалась. Косушку рыковки не сумела стырить. Понял? Это она мне вчерась клифт принесла... На бахче сняла, с пугала... Знаешь, зачем на бахчах человечью чучелу ставят, а не корову, не верблюда?

— Не знаю.

— А потому, что любая ворона понимает: человек — самая зловредная чучела на земле... Сестренку найду, я им докажу тогда, гадам... Она придет. Мы уговорились. Я ей велел: «С места не сходи». Как думаешь — смаракует? Может, зимой приходила?

— Не знаю,— сказал Славик.

— Зимой я в Кувандыке обитаю. Там теплей. Овса нажрешься и кимаришь, как верблюд все равно.

— У вас там есть какая-нибудь тетя?

— Какая тетя? Меня украли туда. Понял? Прибег я домой — нет никого. Мамку утащили, прикончили. А сестренка маленькая — должна, думаю, прийти. А дом у нас большой был. Весь этаж наш. День живу — нету никого. Второй живу — нету. А шамать охота. На третью ночь слышу, лезут. Гляжу — чужие. Собрали без света что попало. Раскрыли меня. Глядят. Главарь ихний, дядя Ваня, говорит: «И пацана забирай». Привезли меня в Кувандык. «Вы кто — белые или красные?» Он скидает папаху. На этой стороне кокарда с орлом. Выворачивает. Там красная звезда. «Ясно?» Ну — шайка. Понял? Научили меня по дырам лазить, шал курить. А чтобы не убег, накололи картинку. «С этой картинкой без нас тебе хана. Увидят власти — пристрелят». На понт взяли. Понял? Я пацан еще был — нарахался. Так и мотался с ними года три, пока не засыпались. Может, за эти три года сестренка и приходила.... Может, ждала. Не знаю... А картинка красивая. Гляди,— Клешня налил в пригоршню воды, потер грудь, и на желтой, покрытой розовой сыпью коже слабо обозначилась женщина со змеиным хвостом и надпись: «Вот она — погибель моя». Картинка была наколота в два цвета — красным и синим.

— Вы бы помылись с мылом,— сказал Славик.— Было бы лучше видно.

— У меня от мытья шкура слазит. Понял? Как у гадюки все равно. Преет и слазит. Меня мыли. Поймали нас всех на Илицкой защите. Понял? Мы Ару хотели взять. Дядя Ваня сыпняк подцепил — нас и накрыли. Понял? Ему говорят: «Как хочешь — сперва вылечим, а тогда разменяем, или сразу?» — «Чего,— говорит,— лечить. Давайте сразу». Кончили дядю Ваню. А меня давай мыть. С мылом. Вымыли, стали думать, куда меня девать. Спрашивают: «Фамилия?» — «Степанов».— «Где отец?» — «Дутовцы запороли».— «А мать?» Молчу. Го-

ворить неохота. Понял? «Где мать?» Молчу. Смеяться будут. Понял? «Где живешь?» Там и там. Нашелся фраер из нашего города. «Да это,— говорит,— пристяжный проверенный. У них свой дом с бельэтажем».— «Чего ж ты скрыл?» — «А я не знал».— «Степанов — министр у Колчака — не с вашего корня?» — «Не знаю. Отец был за красных. Я ничего не знаю».— «А на что ему красные, если у него дом с бельэтажем?» — «А я не знаю». «Чем докажешь, что отец красный?» — «Дутовцы его запороли и повесили!» — «Кто видал?» — «Я видал!» — «Еще кто?» — «Сестренка».— «Как звать?» — «Позабыл». Смеются. Старшой погладил по головке, повез сдавать куда-то. Далеко завез. Скушно мне стало. Ушел от него. Сел на «максимку», поехал домой. Сижу на буферах. Шпала гнилая. Мосты скрипят. Разруха. Понял? Сомлел я там, закимарил, рукой за буфер. Три пальца отдавило. Ладно — привязанный был. А то бы под колеса. Доехал кое-как. Доконал до подвала. Лег в дверях дожидаться сестренку.— Клешня вздрогнул, словно его кто-то стукнул изнутри, и снова задрожал мелкой рассыпчатой дрожью.— Вон как колотит... Отойди-ка подальше... Может, лихоманка, а может, тифачок.— Он отхлебнул немного водицы.— А тогда в подвал эти самые бумаги свозили. Со всех концов. А я на пороге лежу. И взяли меня — понял? Или в больницу, или сразу в колонию. Не помню. Колония Горького. Писатель такой есть. Горький. Понял? В загранице живет. Вымыли меня там. С мылом, курвы. Стали спрашивать: «Фамилия?» А мне все равно. «Где отец?» А мне все равно. Понял? Воспитательница там у них была. С портфелем. Малахольная такая, с усами. Все ходила сзади, обедни читала, лярва. «Ах, как ты выражаешься! Как не стыдно! Что за блатные слова: то «клифт», то «пижон». А «пижон» — по-французскому голубь. Очень даже чистое слово. А «стырить» обозначает по-французскому — тащить. У них там, может быть, сам французский царь говорит — «стырить». Меня, когда я в доме жил, по-французскому учили. Понял? И по-немецкому учили... А клифт разве блатное слово? «Клифт» по-немецкому — костюм. А «лярва» — маска... Пояснил я ей, стала она ко мне хуже липнуть. Только забудусь, а она: «Где папочка? Где мамочка?» Наклал я ей в портфель и ушел... Теперь каждый год сюда езжу. По натуре. Пока сестренку не дождусь — не уйду...

— А дома ее нет? — спросил Славик.— В бельэтаже?

— Там теперь чужие. Шесть семей. В каждом окне — чужой. Сестренки нет... Она издаля приходит. Пахан говорит — приходит. Пахан-то мой там, в подвале, живет. — Клешня забормотал быстрее.— У двери затаишься — слыхать, дышит... Подышит, подышит и шепчет: «Приходила, сынок, приходила»,— все одно и то же. Ни про мамку, ни про меня не спрашивает, одно только: «Приходила, сынок, приходила...»

Славик собрался стукнуть его, но блок загремел, парадная дверь хлопнула. Роман Гаврилович — Митин папа — возвращался с партийного собрания.

Папа у Мити был молодой и больше походил на жениха, чем на папу.

Он остановился возле Клешни и, ничуть не испугавшись, сказал:

— А ну вставай! Чеши отсюда.

Клешня подтянул к носу колени и принял утробную позу.

— Подымайся, подымайся! — продолжал Роман Гаврилович.— Кому сказано!

Клешня притаился. Даже дрожь отпустила его.

— У него, наверное, температура,— сказал Славик.— Он заболел.

— Заболел? — Роман Гаврилович нахмурился.— Еще не хватало! — Он нагнулся над Клешней.— Что с тобой случилось, товарищ? Ты чей? Как тебя звать?

Клешня молча косил на него глазом.

— Чего же ты молчишь? Ему добра желают, а он скалится. Нельзя тебе тут лежать. Невозможно — понимаешь? Беспризорность ликвидирована, а ты своим видом позоришь республику. Давай поднимайся! Пойдем к нам Умоешься, чайку попьешь, переночуешь по-человечески, на простыне, на подушке. А завтра решим, что с тобой делать. Вставай, поднимайся!

Внезапно, как от пружины, Клешня взлетел из своего угла в воздух, и, не успел Славик опомниться, что-то просвистело, ударило в стену, и порядочный пласт штукатурки плюхнулся на пол. Клешня стоял, вжавшись в противоположный угол. Верхняя губа его вздергивалась, показывая парное мясо десны и желтые зубы. Жилица нижнего этажа выглянула в щелку и поспешно заперлась.

— Эх ты! — попрекнул Роман Гаврилович, подымая увесистую гирьку.— С одной сажени не попал.

И спрятал фунтик в карман.

— Лихоманка донимает, а то бы залег тут, сука, вперед копытами,— проворчал Клешня. Скользя спиной вдоль стены, он добрался до выхода и вдруг как-то непонятно, стоя спиной и отворяя дверь, метнул из-за плеча бутылку.

Роман Гаврилович схватился за поручень. Тяжелая бутылка «Красной Баварии» упала у него в ногах и разбилась. Клешня с быстротой ящерицы выскользнул на улицу, в темноту.

— Вот это другое дело,— сквозь зубы сказал Роман Гаврилович, прижимая ладонью скулу.— Это ловко.

И стал подниматься по лестнице.

Больше Клешня не появлялся. Только едкая химическая вонь почти неделю держалась в парадном подъезде.

8

Дома Митя сказал маме:

— Мы у Самсона были. Вот это так да!

Склонившись над кусочком полотна, мама выдергивала по счету ниточки, мастерила салфетку. Папа был партиец, общественник, часто оставался на собраниях. Чтобы не скучать по нему, она рукодельничала, и вся просторная комната белела вышитыми салфетками. Гипюровая салфеточка лежала углом на швейной машинке, купленной, как только папу поставили мастером. Другая салфетка накрывала гору сдобных подушек. И на комоде были постланы две салфеточки, и тоже углом.

Волосы у мамы, зачесанные гладко, волосок к волоску, отливали бронзой. Под лампочкой ровно белел славянский пробор. Иногда мама бросала работу, чтобы дать отдых глазам, и задумывалась: откуда-то изнутри на широкое лицо ее проступала улыбка, и было видно, что думы у нее легкие. Вся квартира: инженер Русаков, их прислуга Нюра и даже Славик — называла ее Клашей.

Митю она родила, когда ей было шестнадцать лет.

— Царица Серафима превратилась в голубку,— сказал Митя.— И от нее пошли голуби-бухарцы. Их нигде нету — только у Самсона есть.

Это сообщение маму не удивило.

— Ступай, сынок, ноги мыть,— сказала она только.

— У Самсона таких бухарцев штук сто. А может, тыща. Не веришь — спроси Славку.

— Не вымоешь, в кровать не пущу. Так и знай. Постелю на полу.

В комнате было чисто. В блюдечках мокли серые лоскутья мушиной смерти. На подоконнике стоял фанерный детекторный приемник. Мама с ним не дружила. Говорили, что радио притягивает молнию.

В переднем углу, под портретом Ворошилова, хранились Митины богатства. Их никто не смел касаться.

В ящике от старинного секретера стиля «жакоб» с бронзовыми накладками можно было найти самодельный тигель для разливки олова, шесть гнезд крашеных бабок, винтовочные гильзы, оловянные глаза от куклы, сухие эриксоновские батарейки, залитые черным варом. Батарейки еще не совсем умерли: на языке проволочки отзывались щавелевой кислотой. Был там еще ключик, связанный суровой ниткой с гвоздиком. Если трубку ключа набить спичечными головками, вставить гвоздик и с размаху стукнуть шляпкой по стене, получается самый настоящий выстрел, и нэповские барыни подскакивают в воздух, как кошки.

Митя прилаживал к оси поломанных ходиков шестеренку. Он убедил себя, что, если переставить колесики как надо, вся машинка придет в движение и станет крутиться сама собой без остановки.

Мама улыбнулась маленькими, точно на иконе прорисованными, губами. Вошел папа.

— Папа,— спросил Митя,— знаешь, была такая царица Серафима? Она превратилась в голубку, и от нее пошли голуби-бухарцы. Не веришь — спроси Славку.

— Верю, сынок.

Клаша резала хлеб и украдкой поглядывала на мужа. Она знала, что было партийное собрание. Знала, что решали вопрос о сверхурочной работе по изготовлению небывалой платформы на двенадцать осей. Такая платформа понадобилась для перевозки мостовой фермы по железной дороге. Порушенные в гражданскую войну мосты были починены на скорую руку. Особенно ненадежен был мост на 428-й версте, возле станции Чашкан. А на бездействующей железнодорожной ветке стоял новый металлический мост. Этот мост и было решено перевезти на 428-ю версту целиком, без расклепки на части. И для перевозки фермы надо срочно сделать длинную платформу на двенадцать осей, то есть с двадцатью четырьмя колесами.

Пока Клаша накрывала на стол, ей удалось выведать, что собрание было открытым, что беспартийных пришло порядочно, а коммунисты, узнав, что не то что у нас, а и за границей никогда не перевозили готовых мостов по железной дороге, согласились поработать для такого дела по-большевистски.

Собрание вроде бы удалось. И будущую платформу Роман Гаврилович ласково величал тележкой... Тем непонятнее была его сумрачная придавленность.

Митя насадил зубчатку на валик, закрепил шпонкой и крутанул. Колесики повертелись и встали.

— Долго же вы высказывались,— заметила мама.

— Если бы не Олька Ковальчук, я бы в семь часов дома был,— сказал папа, придвигая миску со щами.

— Эта которая из инструменталки?

— А кто же еще? У нас одна Ковальчук.

Когда он выхлебал половину, Клаша присоединилась к нему и стала есть из той же миски. Папа делал вид, что не одобряет деревенские привычки — посуды, слава богу, хватало,— но в глубине души гордился, что без него она никогда не ела.

— А что Ковальчук понимает в тележке? — спросила Клаша.

— Она, видишь ты, прицепилась, чтобы перескочить на другую тематику,— пояснил папа, незаметно пододвигая жене вкусный хрящик.— Она Ивана Васильевича захотела на людях повеличать.

— Да что ты! Вот бесстыдница!

— Честное слово! Вот он, мол, какой герой, вот какой красный специалист! Вот что делает слепая любовь! Я ее торможу, а она снова про Ивана Васильевича. «У нас,— говорит,— ученых не уважают и всех стригут под одну гребенку: ученый — значит белая кость, враг, подосланный от Чемберлена, и паразит труда».

— Неужели есть такие дурачки?

— Сколько хочешь. Возьми хотя бы, твой любезный свояк Скавронов. У кого на фуражке топор с якорем, тот ему недобитая буржуазия. Олька его в пример и привела. «Дай,— говорит,— Скавронову власть — всех спецов истребит...» И что он драчевку казенную пропил... Не надо было ей Ивана Васильевича поминать. Каждому подсобнику известно, что инженер Русаков объясняет ей на рабфаке логарифмы,— папа невесело усмехнулся,— и притом персонально.

— Обожди, чайник принесу,— сказала Клаша.— Интересно.

Она сходила на кухню, наколола в кулаке сахар и стала наливать чай. Чай наливался долго. Папина кружка была толстая, расписанная подъемными кранами и зубчатыми колесами, и ручка на ней была, как на двери.

— Ну так вот,— продолжал папа.— Помянула она Скавронова, только села, а он тут как тут. У него, знаешь сама, какой тезис: «Пчел не передавишь — меду не поешь». Вот он на Ольку и накинулся. Из каких соображений она промежуточную прослойку расхваливает? Кто она такая? «Надо, говорит, поворотиться лицом к деревне да поглядеть, кто ей оттуда нутряное сало шлет, беднячок или кулачок. Чего она сало жует? Жирок нагуливает, чтобы промежуточной прослойке было за что подержаться...»

Клаша показала глазами на Митю.

— Ладно! — махнул рукой Роман.— У него свои дела.

Митя громче застучал по железке. Он давно понял, что речь идет о том, что Иван Васильевич гуляет с Олькой, и эту Ольку они сегодня видели возле «Ампира». Сам факт казался ему малоинтересным, но было любопытно, как относится к этому мама.

— Ну она ладно, глупа еще. А Иван-то Васильевич что думает? Солидный человек. Чего ему с ней интересно?.. От живой жены...— Клаша покосилась на сына,— логарифмы решать?..

Клаша жалела Лию Акимовну. Она видела: Лия Акимовна не созвучна с эпохой и не умеет приладиться к жизни. Получку Ивана Васильевича она тратила с места в карьер, покупала что попадалось, надеясь на снижение цен, а через неделю шла занимать у Клаши, хотя Клаша служит в столовой и вместе с Романом зарабатывают раз в пять меньше инженера Русакова. Клаша никогда не отказывала, мягко советовала готовить на второе холодец. Однажды она решила подарить Лии Акимовне салфеточку. Достала тонкое полотно и, предвкушая, как чисто будут выделяться узоры на черной лакировке рояля, долго вышивала рассыпчатым гипюром паучки и розетки.

Лия Акимовна приняла подарок с недоумением. А через неделю Клаша увидела свое рукоделие на кухне. Салфеткой, видимо, обтирали примус. Она была вымазана сажей и керосином. С той поры Клаша перестала заводить

разговор про холодец и жалела Лию Акимовну молча.

Клаша спохватилась: Роман рассказывал, а она задумалась.

— ...а он сохнет по Ольке, галстук завел, раз по десять на день к ней в инструменталку ныряет — смычку налаживает. Глядеть смешно. А хорошие бы у них детки получились: малый крепкий — рессору через весь цех тащит хоть бы что.

— Кто же это такой?

— Да ты слушаешь или нет? — он обиженно промолчал.— Гринька. Мотрошилов, ну? Переборщик рессор из вагоноколесного. Услышал — Олька Ивана Васильевича славит,— хвост трубой! Выскочил на трибуну и давай молотить: «По какой причине она Русакова хвалит? Из каких задних соображений? Русаков — явный чуждый элемент, за крупу пошел служить пролетариату, а она — Русаков! Русаков!..» А к нам на собрание пришел представитель дорпрофсожа. Этакий актер — кашне шелковое, наперед и назад, концы за поясом. Представителя неловко, понимаешь? Подумает, что у нас тут всегда собачья свадьба. Призываю Мотрошилова к регламенту, а он кричит, что Олька на Первом мае с Русаковым на демонстрации под ручку шла. И бессовестная, и вообще — из другой колонны... Она ему кричит: «Ты темный человек! Не признаешь женского равноправия!» Он ей кричит: «Это не равноправие — за женатого мужика цепляться!» Вовсе вышел из рамок — стал обижать девку. Обзывать биксой.

Митя фыркнул.

— Ты пойдешь ноги мыть? — спросила Клаша спокойно.

Он застучал молотком.

— Тебе что сказано? — нахмурился папа.

Митя пошел на кухню.

— Полегше, Роман,— сказала Клаша.— Он все понимает.

— А если понимает, так чего же?.. Гляжу, Олька сидит белая, как платок. Налил я Гриньке воды в стакан, подаю как человеку, а он: «Ты мне душу водой не заливай. Ты секретарь ячейки, не имеешь права затыкать рот рабочему классу».

— Да ты что!

— А ты слушай. Дальше еще хуже. Уже и резолюция готова, и высказались в основном «за», а Мотрошилов — «против». «Инженера,— говорит,— что хочешь при-

мают, а ишачить все равно рабочему классу. Я,— говорит,— против... И никто, согласно колдоговора, меня не заставит». Видишь ты: закладывать фундамент коммунизма — это для него ишачить!.. А мы думали, проявит себя — будем в партию принимать... А за ним и свояк туда же, Скавронов. Тоже против. «Мне,— говорит,— получки на сахар не хватает, а тут — сверхурочные, два часа!..» Встал я, а представитель кладет мне ладошку на руку: «Спокойней, мол, не волнуйтесь... Не разжигайте страсти. Разрешите, я внесу ясность». Ну, думаю, в такой обстановке и правда, пожалуй, постороннему человеку ловчей выступать... Вот он и выступил. Внес ясность, гадюка. Как думаешь, Клаша, есть у меня классовое чутье?

— Это как понять?

— Могу я своего от чужака отличить?

— А как же! Конечно, можешь! На то тебя партийным секретарем выбрали. Рабочие зря не выберут. Народ чуткий.

— Да и я так думаю. А что получилось? Ну, Гринька, чего бы ни городил,— свой парень, он весь тут. Любовь его грызет — ничего не сделаешь, Скавронов — тоже свой, хотя и с задуром. Страдает спецеедством. Ивану Васильевичу я бы не сморгнув рекомендацию написал. А этого, приезжего, не раскусил. Понимаешь? Болтает черт те что, а я уши распустил, размагнитился. Засек он, что Скавронову, видишь ты, сахарку маловато, и рассказал для смеху, будто на сахарном заводе заказали отлить из сахара голову с усами. Вон он прицепился к этой голове, а мы, дураки, слушаем.

Вернулся Митя.

— Это называется — вымыл? — упрекнула его мама.

— Вымыл.

— А не видать.

— Лучше не отмыть. Вода в тазу грязная.

Переспорить ее было легко. Она стояла у комода, закручивала на ночь волосы, и рот у нее был набит шпильками. А папе было все равно.

— Прицепился он к этой голове и пошел травить. За сахаром, мол, хвосты, а они из сахара бюсты лепят! «Верно,— говорит,— отметил предыдущий оратор,— это свояк Скавронов предыдущий-то оратор,— холуи и бюрократы обнялись с нэпом и кулачьем, захватили власть, оттеснили пролетариат на задворки. Кулака балуют, а рабочему

второй год зарплату режут...» А Скавронов ничего этого, к твоему сведению, не отмечал.

Папа разволновался, вышел на кухню покурить. Мама повесила покрывало на спинки венских стульев, отгородилась от Митиной кровати, стала раскидывать постель, подушки размесила кулаками, покрутила, пошлепала, пока они не навострили уши.

Отворила дверь, позвала:

— Разбирайся, Рома. Ложись.

Папа моментально разделся, и матрац заиграл гитарой под его сильным телом. Мама потушила свет, сняла кофту, забралась под одеяло и, косясь на Митю, разделась до конца...

Некоторое время было тихо, но Митя знал, что никто не спит. Перед сном папа поймал детектором Москву и опустил наушник в граненый стакан. Отражаясь от стекла, радио играло на всю комнату, хотя и тихо. Сегодня по причине дальней грозы потрескивало, и слышно было плохо.

— Начал-то он вроде складно,— внезапно заговорил папа.— Про акулу. Мол, акула капитализма и так дальше... Войной постращал. Высоко забрался: «Его величество рабочий класс! Светлое царство коммунизма!»

Мама тихо засмеялась и обняла его.

— Тебе смешно? — Папа рассердился.— А знаешь, что он сказал, этот представитель? «Нельзя,— говорит,— не согласиться, мастера,— говорит,— у вас те же самые надсмотрщики, какие высасывали кровь под скипетром царя Миколашки...»

— Да что ты! А ребята? Неужели промолчали?

— Ну да! Прогнали его... Договорить не дали.

— Так чего же тебе надо?

— Да как же. Человек из дорпрофсожа. Кого они посылают? — Голос его дрожал.— Разве я против, чтобы буржуев душить? Разве я против? Пусть только скомандуют... Да я...

— Спи, рыжий ты мой...— зашептала она.— Выбрали наверха — тяни. Чего теперь делать... Милый ты мой... Рыжий ты мой... Партийный ты мой... Дурачок ты мой...

Мите не нравилось, что мама называла папу рыжим. Это было ее самое ласковое слово, и незачем было тратить его на папу.

— Папа,— спросил он.— А красивей бухарских голуби бывают?

— Бывают. Спи.— Папа вздохнул.— И когда народ у нас станет смирный и единогласный?

Мама шептала ему, шептала, как маленькому, и папа постепенно задремывал, успокаивался. Мама засыпала позже всех, а утром вставала первая, еще затемно, и двигалась в темноте так бесшумно, что ее можно было почуять только по ветерку от подола.

В кромешной тьме, не отдергивая занавески, она делала что-то, стряпала уверенно и быстро, как при электричестве, потом подходила к папе и шептала ему тихонько:

— Рома, светает.

И папа вскакивает, как пожарник, и тогда зажигался свет и на круглом столе, накрытом филейной накидкой, вкусно пахли свежие пшеничные шаньги, обмазанные сметаной.

Митя закрыл глаза и увидел зеленые клетки с голубями...

По коридору, шлепая пятками, пробежала Нюра отпирать парадную дверь. Русаковы куролесят до двенадцати, а то и до часа. Кто-то пришел. Где-нибудь случилось крушение, и Ивана Васильевича вызывают на линию. Он начальник всей службы пути, большая шишка. Живет в четырех комнатах. А зашибает столько, что на одну получку может купить сто голубей. А то и двести.

В дверь постучали. Оказывается, к ним. Плоскоступый свояк Скавронов прошел на цыпочках по темной комнате, сбил по пути оба венских стула и сел на постель в ногах.

— Ты что — выпивши? — спросил папа.

— Я к тебе всурьез. От актива. Этот златоуст профсоюзный, знаешь, он кто такой?

— Кто?

— Оппозитор.

— Ну да!

— Вот тебе и да. Отпетый. Мы с активом прижали его к забору, он и раскрылся... Они, суки, думают, поманят рабочего человека копеечкой, он за ним и побежит. А мы все эти приманки при Николашке проходили... Не серчай. Тележку мы тебе сообразим на страх уклонистам и мировой буржуазии. Против-то я кричал не подумавши. Не серчай, Рома. Ошибся. На совесть будет тележка. Американские оси поставлю. Для родной республики надо, сутки буду работать. Я, сам знаешь — столбовой шабров-

щик. У меня, если после первой шабровки три натира,— я себя не уважаю. Два натира — и только! Я так прикинул, если всем партийцам согласно взяться, мы эту тележку на двенадцать осей к концу месяца сообразим.

— Вот бы ты так на собрании выступил...

— Если бы, если бы... Если бы твоя тетя имела бы — ну, для Клашки скажем — бороду, тогда бы она была бы не тетей, а дядей.

Митя хмыкнул.

— Спи, сынок! — сказала мама и спросила тихо: — Полегчало тебе?

— Маленько,— ответил папа и сказал Скавронову: — Давно бы так. А то накинулся на Русакова.

— Э, нет! Тележка — пожалуйста, а Русаков — другая статья. Тут у меня никакой ошибки нету. Все эти спецы умственного труда и прочая мелкая буржуазия — замаскированные гады, и только. Ты меня с марксизма не сбивай. Прослойка она прослойка и есть. А ты тоже, умная голова. Когда народ собрал?

— А что?

— А сам помаракуй. Третий день получку задерживают. Рабочий класс серчает? Серчает. Жрать надо. И выпить охота. А ты в такой горячий момент собираешь... Ладно, актив крепкий, а то бы было делов.

Митя закрыл глаза и снова увидел зеленые клетки с голубями...

А Скавронов долго сидел на постели и говорил, что не допустит перекрутить генеральную линию и что только тот может заявлять, что у нас нету достижений, у кого на глазах очки.

9

Коськин отец Панкрат Данилович диктовал письмо. Машутка ела тыквенную кашу и жалостливо косилась на Коськино лицо, перемазанное чернилами. Коська писал медленно.

Чернила были разведены в граненом пузырьке. Ручка окуналась глубоко, писать было неловко.

— «И еще требуется поставить под вопрос нашего заведующего пайторгом гражданина Васильева,— наставительно диктовал Панкрат Данилович,— который отпускает стиральное мыло дороже частника, в дополнение к

чему искусанное мышами. Я указал ему, что надо привлечь к ночному дежурству котов, а он по своей халатной относительности стал вокруг меня смеяться и строить надсмешки...» — Панкрат Данилович стал глядеть в окно на мелькающие ноги, обутые в сапоги, туфельки и ботинки, и задумался, почему у каждого человека своя походка.

— Точка? — спросил Коська с надеждой.

— Нет, не точка. Пиши,— Панкрат Данилович указал на чистое место, где писать.— «Я ему добром сказал, что надо привлечь к ночному дежурству котов, а он меня ни за что обругал, как при старом режиме, по-матерному. И прошу его поставить под вопрос, любезный двоюродный брат Серега, и поскорей испустить на него декрет. Бояться его нечего. Социальное происхождение у него ниже среднего, я узнавал. И жена бьет его насосом от велосипеда».

— Теперь точка? — спросил Коська, утирая нос лиловыми пальцами.

Эти письма были для него сущим наваждением. Примерно год назад Панкрату Даниловичу стало известно, что его двоюродный брат Серега стал большой шишкой: заместителем народного комиссара. Панкрат Данилович помнил Серегу смутно. Они учились вместе еще в прошлом веке в церковноприходской школе в Кимрах, и тогда будущий замнаркома прославился тем, что съел на спор Ветхий завет вместе с картонной обложкой и с кожаным корешком и стал на некоторое время (до прочищения желудка) ходячим олицетворением евангельского стиха от Луки: «Царство божие внутри нас».

Узнав от верного человека, что Серега «прошел в дамки», Панкрат Данилович приказал Коське и Машутке называть себя на «вы» и кроме усов отпустил еще и подусники.

Сапожным делом он заниматься бросил, чтобы не кидать тени на казенного брата, и квартплату вносил по пяти копеек в месяц, как безработный. Днем он маялся от безделья, а после обеда выходил читать газету во двор, чтобы все видели. Жена его выбивалась из сил, стирала на чужих с утра до ночи и уговаривала мужа, чтобы он увез ее в Кимры, а Панкрат Данилович велел терпеть и говорил, что скоро ей вся улица позавидует. Он надеялся приучить двоюродного брата к факту своего существования и показать ему свою гражданскую ценность. В результате столичный родственник должен вызвать

его в Москву, дать комнату и назначить на командные высоты.

А когда его назначат на высоты и Панкрат Данилович сосредоточится на новой должности, он справит зимнее пальто с широким поясом из шевра. После пальто он справит шевровое галифе и шевровые сапоги на высоких каблуках и, наконец, шевровые перчатки с раструбом, такие же, как у автобусных шоферов.

Предвидя заветный день, когда он выйдет на московский двор посидеть, весь в шевре, Панкрат Данилович принялся за воспитание детей, чтобы они не осрамились в первопрестольной столице. Матушке было велено говорить вместо «спасибо» — «мерси», а Коське — читать какую-то книгу, из которой были вырваны первые шестьдесят восемь страниц, а шестьдесят девятая начиналась словами: «барон, рыдая, вышел».

В Москву было пущено уже писем двадцать, но отклика не было, хотя на конвертах по диагонали каждый раз писалось: «Вернись с ответом!» Очевидно, двоюродного брата отвлекали происки английских империалистов. Но Панкрат Данилович твердо надеялся на облегчение международного момента и каждую неделю сочинял письмо.

Заклеив конверт, он надевал картуз с высокой тульей и отправлялся на вокзал, стараясь вышагивать возможно шире для сохранения обуви. На вокзале он опускал письмо в почтовый вагон, возвращался домой и несколько дней находился в приятном расположении.

Машутка доела кашу.

— Закусила? — спросил Панкрат Данилович.

— Закусила.

Он щелкнул ее по затылку.

— За что, папаня?

— А кто мерси позабыл?

— Вы же сами велели молчать...

— Рассуждай у меня еще!.. На чем остановились?

— На насосе,— сказал Коська.

Дверь хлопнула. Панкрат Данилович строго обернулся на шум и увидел башмачки с блестящими пряжками из жирной, как паюсная икра, кожи. Взгляд его скользнул по черным нештопаным чулочкам, по коротким штанишкам из клетчатой шотландки, по белоснежной матроске с напуском и, наконец, по румяному лицу только что стриженного у парикмахера Славика.

Славик безмолвно стоял на циновке. Ему было известно, что, когда у Коськиного папы пишутся письма, надо соблюдать полную тишину.

Панкрат Данилович посмотрел на якорь, вышитый синим шелком на матроске, и сказал:

— Вон он какой. Беленький, как бумажный червонец все равно. Куда обрядился?

— У меня сегодня день рождения,— объяснил Славик застенчиво.

Панкрат Данилович покачал головой.

— Чего тебе?

— Левый башмачок жмет. Мама просила посмотреть.

— Обожди,— нахмурился Панкрат Данилович.— Видишь, человек занят... А ты чего встала? — спросил он Машутку.— Ступай во двор, стереги белье. И никуда не бегай. А то получишь горячих по тому месту, где спина кончает свое приличное название...— Он покосился на башмачки Славика и продолжал диктовать: — «Лакейское ремесло по части сапожного дела, которое досталось мне от старого режима, я прекратил целиком и полностью. В части гулянки и потребления алкоголизма я человек серьезный. По праздникам выхожу с детями на бульвар или повышаю культурный уровень. Против нашего дома — цирк, ходить за культурой недалеко. В мае месяце глядели номер «Адская кузница». Трое желающих из публики били молотками по наковальне на груди русского богатыря Кузина, и потом был исполнен жуткий номер, который многие из публики не хотели допускать. Некий желающий из публики разбил вдребезги на голове Кузина два больших кирпича без всякого вреда для здоровья. После этого вернулись домой и легли отдыхать. А перед тем кушали кофей». Чего не пишешь?

Панкрат Данилович посмотрел на Коську подозрительно. Он прошел школу-передвижку ликбеза и имел справку, что грамотный. Но читать мог только по-печатному, а писать не умел вовсе ничего, кроме цифр, и, когда приходилось ставить подпись, подписывался каждый раз по-разному.

Поэтому Коська только первые два-три письма написал добросовестно. Это занятие опротивело ему настолько, что он стал пропускать слова, сперва длинные, потом и длинные и короткие и, наконец, целые фразы. И кусок письма, в котором рассказывалось о посещении цирка, выглядел приблизительно следующим образом: «Прошлый

месяц «Адская кузница». Трое били Кузина, который не хотел допускать. Желающий разбил два кирпича и кушал кофей». И все. Чтобы скорей кончился листок, Коська приписал от себя: «Где вы теперь, кто вам целует палец».

— Чего же ты больно мало написал? — спросил Панкрат Данилович.

— Это мало? Полпузырька чернил срасходовал.

— А ну перечти.

При всей своей тупости Коська обладал попугайской памятью. По отрывочным словам он мог без запинки восстановить почти точно все то, что ему было надиктовано.

Пока Коська, вроде бы с трудом, перечитывал, что написано, Славик озирался по сторонам.

В углу были свалены узлы грязного белья — на них спала Машутка. Она рассказывала, что зимой, когда работает паровое отопление, еще ничего, а летом такая сырость, что все мокрое: и простыни, и сахар, и страницы книги, которую Коська читает для культурного уровня.

В комнате было холодно, тянуло плесенью. На стене висел отсыревший портрет Карла Либкнехта. Кровати были отставлены на полметра от сырых стен, чтобы ночью не щекотали мокрицы.

Кроме портрета в этом мрачном жилище было еще одно украшение. На комоде стоял молодец севрского фарфора в парике и в красном кафтане. Он играл на флейте. Золоченая флейта ослепительно блестела, и непонятно, откуда брался свет для такого блеска: крошечное окошко под самым потолком давно не мылось, в дожди на стекла налипали черви. За окном непрерывно мелькали ноги, и в полуподвале весь день не прекращалось зыбкое мерцание...

Панкрат Данилович дослушал Коську, посмотрел на башмачки Славика и сказал:

— Так вот. Скажи своей маме, что мы этими делами не занимаемся. И заниматься больше не будем. Понял?

— Понял.

— Родитель выпил небось?

— Нет еще. У нас пикник будет в роще. Мама и Нюра поехали туда готовить. И гости приедут. Тогда и будут пить.

— А тебя не взяли?

— За мной Нюра приедет на извозчике. Они меня не взяли, чтобы я не мешался. Они там готовят.

— Ну так вот. Передай родителю мое уважение. И скажи, что я своему родному двоюродному брату письмо пишу. Заместителю наркома. Так и передай. На чем, Коська, остановились?

— Темно, папаня. Не видать ничего.

— Ладно тогда. Поставь точку. Пиши. «Имеются у меня мнения наладить кожевенное производство из кошек, собак и прочих подручных материалов и много других моментов всесоюзного значения, для которых надо выехать в Москву и поговорить сурьезно,— он печально поглядел на башмачки Славика.— У нас тут народ дикий, азиатский, смеются только и обзывают, а поговорить не с кем».

Он вздохнул и сказал решительно:

— Скидай!

Славик сперва не понял.

— Ну скидай башмак-то,— подсказал Коська.— Чего встал?

Панкрат Данилович перевернул башмачок вверх подошвой, поднял на уровень глаз, словно прицелился.

— Кто покупал? — спросил он.

— Это подарок. От мамы.

Панкрат Данилович вывалил на низкий столик сапожную снасть: ножики, молоточки, колодки, шильца, тупики, расправки — все, что нужно и не нужно, кинул на колени женин фартук, и полуподвал наполнился веселым перестуком, посветлел и ожил.

— А знаешь, как сапожник царского ювелира обманул? — хитро спросил Панкрат Данилович.— Не знаешь? Ну вот, не знаешь, а я знаю! — Дорвавшись до привычной работы, он подобрел, и его белое, асбестовое лицо разгладилось.— Приходит к сапожнику царский ювелир и давай возле него потешаться. Твое ремесло, мол, против моего ничего не составляет. «Я,— говорит,— для самого государя на золоте и серебре наисамые тончайшие узоры вырезываю. А у тебя,— говорит,— у мужика,— фи! — вар да дратва». А сапожник ему: «Какой ты тонкий ювелир ни на есть, а подметку не вырежешь». Тот в амбицию: «Вырежу!» Ударили по рукам, поспорили на сотню целковых. Этот ювелирный-то мастер сел на липку, язык прикусил, старается. Резал, резал — вырезал. Действительно, правда, вырезал хорошо. Сам понимай: царский ювелир,

не кто-нибудь. «Ну,— говорит,— мужик, давай денежки».— Панкрат Данилович засмеялся.— Сапожник взял обе подметки, правую и левую, прислонил друг к дружке и говорит: «Да они у тебя, господин царский ювелир, неровные».— «Как неровные?» — «А сам гляди: один носок направо, второй налево».— Панкрата Даниловича охватил такой смех, что пришлось отложить работу.— «Один,— говорит,— носок направо, второй налево. А хвастал!» — Панкрат Данилович весело застучал молоточком.— Законфузился царский ювелир, отсчитал сотню целковых и побег от грехов... Вот как мы его! Не будешь вперед хвастать!

В дверь сунулась Машутка.

— Коська, тебя Таракан вызывает.

— Батя, я пойду, ладно?

— Ступай,— благодушно разрешил он.— Не забудь, вернись к кофею.

— А меня Таракан не вызывает? — спросил Славик.

— Тебя нет. Коську.

Славик встревожился. Он был уверен, что дело касалось Зорьки. Надо бы выбежать, узнать. Но на нем только один башмачок. Прошло пять минут, прошло десять.

Наконец башмачок был снят с правила и вручен клиенту.

— А сколько стоит? — спросил Славик.

— Чего такое? — протянул Панкрат Данилович угрожающе.

Сразу, как только закончилась работа, как только смолк веселый перестук молотка, к нему вернулась брюзгливая заносчивость.

— Гляди, другой раз таких вопросов не спрашивай,— пригрозил он.— Я тебе не артель инвалидов, глупостями не занимаюсь. Я тебе не сапожничал. Доказал уважение твоему родителю, и только. Так отцу-матери и передай. Мы в ваших деньгах не нуждаемся. У нас своих хватит...

Славику не терпелось бежать за ребятами, но отставной сапожник продолжал свои поручения:

— И еще передай: скоро убывает от вас Панкрат Данилович! Насовсем убывает. Так и передай. Будете тогда поминать. Был, мол, Панкрат Данилович, да весь вышел. Понятно тебе?

— Понятно! — сказал Славик и выскользнул за дверь.

10

Славик выбежал на улицу, оглянулся на обе стороны. Ребята были уже за домом портного Цейтлина. Коська нес под мышкой наволочку. Было ясно — они отправились в подвал за бумагой.

Вот какое безобразие! Славик рассказал про подвал, объяснил, где подвал находится, надоумил стащить у Машутки наволочку для бумаги, а как дошло до дела — его позабыли.

Он погнался прихрамывая. Башмачок все-таки жал.

— ...а ворота заперты! — рассказывал Митя.— Спектакль затеяли в пользу деткомиссии. Что делать? Гляжу — Танька. Говорит, сегодня в клубе спектакль представляют. «Хочете,— говорю,— товарищ вожатая, я ребят соберу, мы будем декорацию таскать?»

— Можно, я с вами? — спросил Славик.

Ему никто не ответил.

— Танька говорит: «У нас платить нечем,— рассказывал Митя.— Согласятся твои ребята за так?» Я говорю: «Конечно, согласятся. Поскольку спектакль в пользу деткомиссии, мы и за так станем таскать. Мы же сами дети». А Танька говорит: «Тебя приятно слушать, какой ты созрелый пионер».

Ребята засмеялись. Славик тоже засмеялся, хотя и не понимал сути дела.

Так, за разговорами, дошли до Профсоюзной улицы. Пионерская вожатая ожидала их на крыльце клуба. Славик, как увидел ее, так и застыл на месте.

Несмотря на свой крайне несовершеннолетний возраст, Славик был чрезвычайно влюбчив. Внезапная любовь поражала его сразу, его маленькое сердечко включалось мгновенно, как электрическая лампочка.

Первым предметом его страсти была девочка Соня — дочь папиного сослуживца. Она училась в шестой группе. Потом он влюблялся в прислугу Нюру и в американскую артистку Мэри Пикфорд. Последним его увлечением была женщина по фамилии Бриллиантова. Ни Нюра, ни Соня, ни женщина с драгоценной фамилией, не говоря уже о Мэри Пикфорд, не имели никакого представления о том, какую бурю страстей они вызывали в душе Славика.

Влюбившись, он больше всего боялся, как бы его избранница не догадалась, какое позорное чувство охватило

его, и относился к ней надменно, заносчиво и, прямо скажем, невежливо.

Верностью Славик не отличался. Рано или поздно выяснялось, что все его дамы обладали каким-нибудь изъяном. Прислуга Нюра не умела кататься на велосипеде, и не было никакой надежды, что когда-нибудь научится. Мэри Пикфорд на каждом шагу целовалась (Славик терпеть не мог целоваться). Женщина по фамилии Бриллиантова тоже, вероятно, была неполноценной. Ее Славик не видел ни разу. Прочитал на афише фамилию — Бриллиантова — и влюбился.

В пионерской вожатой, стоявшей на крыльце клуба, никаких изъянов не было и быть не могло. Непонятно, как Митя даже за глаза смел называть это чудо в юнгштурмовке и портупее Танькой. Вожатая была курносая. Русые волосы свисали по бокам, как крылья буденовки. А ноги...— при одном взгляде на сильные ноги, обутые в сандалетки с подвернутыми носками, становилось ясно, что она замечательно катается на велосипеде.

Таня стояла на крыльце клуба и жевала серку.

— А этого чудика зачем привели? — спросила она, причавкивая.

И голос у нее был удивительный, хрипловатый, сорванный от частого крика,— как у мальчишки.

— Пускай! — защитил приятеля Митя.— У него сегодня день рождения.

— Веселися, весь народ! — добавил Коська.

Как в чаду, пошел Славик за Таней в зал, прошел между сидящими людьми, поднялся по приставленным ступенькам на сцену, где вихрастый комсомолец делал доклад, как в чаду, прошел вслед за Таней за кулисы и вышел на асфальтовый дворик.

— Это что за шаромыжники! — подскочил к Тане бритый гражданин, похожий на безрогого черта.— Где вы пропадаете? Докладчик уже отвечает на вопросы, а вас нет!

— Не разоряйтесь, Василий Иванович. Это обыкновенные активисты,— объяснила она.— Они будут носить декорации.

— Декорации? Такая мелюзга? Вы что, больны? А где Ковальчук? Ну, знаете! — И безрогий черт умчался на сцену.

— Не бойся,— сказала Таня Славику.— Это режиссер. Он не кусается. А теперь повесьте уши на гвоздь

внимания. После доклада мы будем исполнять пьесу «Гроза». Ну-ка, кто написал «Грозу»?

Славик знал, но не пожелал отвечать на дурацкие вопросы. Но ему до смерти хотелось привлечь внимание Тани, и он сказал небрежно:

— А вон она, дверь! Вы не верили, а дверь — вон она!

Он сошел по бетонным ступеням в приямок, и сразу же стало ясно, что эта та самая дверь, про которую говорил Клешня.

— Все правильно! Обита железом. И пломбы. Сюда и приходит Клешня.

Таня перестала жевать серку.

— Какая Клешня? — спросила она.

Славик надменно взглянул на свою королеву и подошел к другому приямку.

— А вот и окно. И форточка. Вот он тут подсматривал, когда его папу пороли нагайками...

Он оглянулся. Митя делал ему знаки. На лице Коськи появилось дурацкое выражение. Таракану стало до того противно, что он отошел.

Славик понял, что совершил тяжелую ошибку. До него дошло, что переноска декораций была хитрым предлогом, который придумал Митя, чтобы попасть во двор. Проникнуть сюда другим путем было невозможно. Боясь за декорации, ворота заперли, и остался только один ход — через сцену. И если возникнет подозрение, что ребята собираются лезть в подвал, Таня выставит всю компанию, и голубку Зорьку съест злющий старичок.

— Кого пороли? — допытывалась вожатая.— Кто такой Клешня?

— Это вас не касается,— сказал Славик, глядя на нее влюбленными глазами.

Он произнес эту фразу твердо, хотя понимал, что после такой дерзости должно произойти что-то ужасное.

Но ничего не произошло.

— Тебя как звать? — спросила Таня.

Славик промолчал.

— Огурец,— сказал Коська.

— Ладно тебе,— заступился за приятеля Митя.— Его звать Славик.

— Подумаешь! Такой комар, а пузырится,— сказала Таня.— Ну-ка, встали по росту. Слушаем внимательно. Так. Ты, Славик, встань с краю.

Она достала блокнотик, прелестный узенький блокнотик, согнутый в дугу от лежания в грудном кармане, полистала его и объяснила, что и когда надо носить.

— Ну, мне пора! Я Кабаниху играю. «Что будет, как старики перемрут,— заговорила она старушечьим голосом,— как будет свет стоять, уж и не знаю...» Мне пузо во-о какое будут делать! Старшим будешь ты.

Она ткнула пальцем в Коську и, как мальчишка, побежала на сцену, а ребята стали разбирать тряпочные кусты, крашенные под бронзу деревянные подсвечники и картонные пенечки.

Порядок действий был принят такой: как только начнется пьеса, Митя полезет через форточку в подвал, отомкнет изнутри шпингалеты и отворит окно. Коська будет стоять на страже у арки ворот. Через окно Митя и Таракан натаскают бумаги, сколько поместится в наволочку. Если явится вожатая или выйдет покурить пожарник, Коська должен свистеть на мотив «Цыпленок жареный».

— А я? — спросил Славик.

— А ты ступай Кабаниху глядеть,— гоготнул Коська.— Ей режиссер пузо будет делать.

Славик промолчал. Над ним имели право издеваться.

Прежде чем приниматься за форточку, Таракан дотошно обследовал обитую жестью дверь. Она была выкрашена суриком и заперта на два висячих замка — один в петлях, а второй замыкал длинную кованую накладку. Дверь не отворялась много лет. Суриком были вымазаны не только створки, но и оба замка.

— Клешня говорил, там душа обитает? — спросил Таракан глумливо. Он приник ухом к двери и прохрипел фальшивым голосом: — Сестренка не приходила?

Ребята затаились. Прошла полная минута. Лицо Таракана делалось все строже и строже.

— Ну и чего? — тихонько спросил Митя.

Таракан поднял палец.

— Туда другого хода нет? — спросил он шепотом.

— Нет,— сказал Славик.— Клешня говорил, нет.

— Ну-ка, Митька, послушай.

Митя застыл у двери.

— Тукает,— проговорил он испуганно.

Ребята притихли. Клешня не соврал. В подвале действительно обитала душа присяжного поверенного. Вдали, за Форштадтом, глухо прогремел гром. По низкому небу тащились черные тучи, цепляясь друг за друга, слов-

но убогие слепцы. И сверху, и снизу, и изо всех углов надвигалась темнота.

— Коська, ступай на пост,— сказал Таракан чужим, призрачным голосом.

Подвальное окно находилось ниже уровня земли. Кирпичный приямок был накрыт железной решеткой. Таракан и Митя подняли решетку, прислонили ее к стене и прыгнули вниз.

— А мне что делать? — спросил Славик.

— Держи решетку. Чтобы ветер не свалил.

Славик встал над приямком и, сосредоточившись, взялся за прут.

Таракан возился с форточкой.

Он попробовал расстругать щель перочинным ножом, но дерево сделалось как камень.

— Свети! — велел он Мите.

Митя стал чиркать спичкой. Таракан пытался просунуть клинок в щель, подцепить крючок.

— Без фомки не открыть,— бормотал Митя.— Фомку надо.

— Зажигай,— прошипел Таракан.

Не успел Митя чиркнуть, форточка хрюкнула и распахнулась, как будто кто-то дернул ее изнутри.

Митя шарахнулся.

— Порядок,— сказал Таракан.— Лезь.

— Кто?.. Я?..

— А кто? Я, что ли?

— Как же я полезу? Мне не забраться.

— Иди подсажу.

— Погоди-ка, Таракан, погоди-ка,— забормотал Митя.— Идет кто-то. Вроде Коська свистнул...

— Никто не свистнул. Да ты чего? Покойников испугался?

— Нет, что ты! Знаешь, Таракан, если бумага чернилом исписана, на базаре ее не возьмут. Да я не боюсь... Чего бояться... Обожди! Коська!

Издали, от ворот, доносился голос пожарника:

— А курить не можешь, и не приваживайся. Ничего в табаке нет хорошего, ни в части здоровья, ни в части возгорания...

— Я почти каждый день курю,— надсадно кашлял Коська.— Чем крепше нервы, чем ближе цель... А ваши дюже крепкие!

Он исполнял свою задачу отлично.

— Ну? — вопросил Таракан с угрозой.— Два... Три...

Выхода не было. Митя покорно залез ему на плечи, уселся на голове и вытянул ноги.

— Не дрожи! — приказал Таракан.

— Я и не дрожу... Это у тебя у самого голова дрожит!

Пока Таракан прислушивался к пожарнику, Митя незаметно сунул в карманы по кирпичному обломку. Сделал он это без надежды на успех, от полного отчаяния, но кирпичики сработали безотказно. Ноги пошли легко, а дальше заклинило.

— Вот беда...— бормотал Митя, пока Таракан пытался протолкнуть его внутрь.— Не обедал бы, тогда бы прошел... Надо завтра, натощак. Завтра пройду...

Славик, может быть, и пожалел бы приятеля, но он был занят своими грустными мыслями. У него возникло подозрение, что его деятельность по поддерживанию решетки не имеет никакого смысла. Тяжелая решетка надежно упиралась в стенку, и, чтобы ее опрокинуть, была нужна немалая сила. Какой уж там ветер. Он, чудак, прилежно ухватился за железный прутик, радуется, что участвует в общем деле, а Таракан над ним просто издевается. Спрыгнуть бы сейчас вниз и сказать: «Довольно строить из меня дурачка! Ты сам трус и бездельник, много воображаешь, а ничего не можешь сделать. Сейчас я сам залезу в подвал, открою окно, натаскаю бумаги, продам ее на базаре и сам пойду выкупать Зорьку».

— Огурец! — послышался тихий зов Таракана.

— Чего?

— Иди сюда.

— Зачем?

— В подвал полезешь.

У Славика екнуло в животе.

— Ну?

— Так я же... Я же... решетку держу.

— Бросай. Прыгай.

— А если она упадет... Вон какой ветер.

— Прыгай, тебе говорят!

«Хоть бы пожарный пришел»,— подумал Славик.

Где-то далеко пожарник объяснял Коське:

— Отдельному человеку — вред, а народу в целом — польза.

В садике «Тиволи» заиграл духовой оркестр. Это значило, что пошел девятый час местного времени и гости давно в заречной роще.

— Два... три...— начал отсчитывать Таракан.

Славик не помнил, как это произошло, но он уже сидел на голове у Таракана и просовывал ноги в форточку.

Опомнился он, больно ударившись о бумажные кипы.

В подвале была густая, как деготь, темень. В дальнем углу отчетливо тукало. Вдоль стен шуршало. Славик вспомнил, что от нечисти помогает молитва, залопотал: «Христос воскрес, Христос воскрес...»

Постепенно глаза его привыкли к темноте. Он стал различать окно, бумажные кипы, тавровую балку, на метр торчащую из кирпичной стены, и темную, притаившуюся в дальнем углу бесплотную фигуру.

Душа присяжного поверенного сидела у самой стены на корточках и бормотала что-то отрывисто и сердито.

— Окно...— доносилось до Славика...— Быстро... Окно...

— Я... я залез в окно,— собравшись с силами, признался Славик и шаркнул ножкой.— Я больше не буду.

Он дрожал и внутри и снаружи, дрожал до ломоты в животе. Все части его маленького тела тряслись по-разному, как будто рука боялась меньше, а нога больше.

— Повыдергиваю...— сердито шипела душа, уткнувшись в угол носом.— Смотри... собачье...

Ругань становилась все грубее, замысловатей. Или Клешня что-то перепутал и папа его совсем не присяжный поверенный, или душа совсем одичала за годы одинокой жизни.

— Мне Таракан велел,— объяснил Славик.— Я больше не буду. У меня сегодня день рождения.

— Окно... Задрыга... Ноги повыдергиваю... Окно...— окатила его новая порция ругани, и, уловив знакомые сочетания слов, Славик вдруг понял, что низкие своды подвала обманчиво отражают шепот Таракана, а то, что он принимал за душу,— в действительности серый пласт штукатурки на кирпичной стене.

Вслед за этим он вспомнил, что надо открыть окно.

Он принялся торопливо чиркать спички. Ни одна не загорелась. Он догадался, что захватал коробок потными руками, бросился к окну и стал ощупью искать шпингалеты.

Рама оказалась глухой — без створок, без шпингалетов, намертво заделанная в оконную коробку.

Ну теперь уж никакого выхода не было. Форточка высоко. Подсадить некому. Одному отсюда не выбраться.

— Всего хорошего,— отчетливо проговорил Таракан в форточку.— Мы пошли.

— А я?..— закричал Славик.— А я-то!..

Он стал хватать сырые, воняющие мышами бланки, папки, связки, все, что попадалось под руку, и пропихивать в форточку. Перепревшие бечевки лопались, обрывались, пачки разваливались, бумага сыпалась под ноги. Славик снова сгребал ее, хватал в охапку, проталкивал наружу, а Таракан и Митя подбадривали его.

Славик так увлекся, что совсем забыл бояться. Спохватился он оттого, что за окном была мертвая тишина.

И в этой мертвой тишине раздался голос режиссера:

— Так я и знал! И ворота настежь.

— Не может быть! — Это был голос Тани.

— С вами я не хочу разговаривать. А вы куда смотрели?

— Я за ворота не отвечаю.— Это был голос пожарника.— Я отвечаю за возгорание.

— Ну, знаете! — Голос режиссера слышался совсем близко.— Смотрите, какие бандиты! Открыли люк! Не хватало еще тут шею сломать.

— Я за люк не отвечаю,— напомнил пожарник.

Загремело железо. Приямок накрывали решеткой. Славик притаился. По инструкции Таракана, в случае появления посторонних нужно замирать на месте.

Шаги смолкли. Туго застонала задвижка ворот. Славик сел на бумажную кучу и стал ждать. Коротенькие мысли о том, что ему сегодня исполнилось одиннадцать лет, что гости съехались на пикник, что его ищут, возникали и затухали, не вызывая ни беспокойства, ни сожаления. Он почувствовал боль, пощупал руку. В том месте, где вышит якорь, матроска была порвана. Рука выше локтя раскорябана до крови...

В открытом прямоугольнике форточки виднелись бархатное небо и степные зеленые звездочки. Тучи разошлись. Мучительно набирая силу, загудел гудок лесопилки.

Славик насторожился. Десятый час ночи. Где же ребята? Неужели ушли домой? Набили бумагой наволочку и убежали. А он пускай как хочет. Наплевать им на него, хоть у него и день рождения. И Таракану наплевать, и Коське, и даже Мите наплевать. Потому что Славик не такой, как все,— «Клин-башка — поперек доска», и никогда таким, как все, ему не сделаться.

11

Гости съезжались в заречную рощу. Лия Акимовна и Нюра хозяйничали там с полудня и, как водится, не успевали. Надо было развешивать цветные бумажные фонарики, готовить костры, студить четверти с квасом, колоть сахарные головы.

В довершение неприятностей небо хмурилось и мог пойти дождь.

Несмотря на отчаянные возражения Лии Акимовны, гости послали Нюру за виновником торжества и за забытыми граммофонными иголками, а сами весело принялись помогать.

Роман Гаврилович взялся крутить мороженицу. Начальник дистанции Павел Захарович Поляков закинул удочку-самоделку. Его приемный сын Герасим отправился собирать сушняк.

Один только Иван Васильевич был в мрачном настроении и бездельничал. «Очевидно, по службе неприятности»,— решила Лия Акимовна и подошла к профессору Прессу обсудить погоду.

Профессор плотно сидел грузным низом под осиной, сложив ножки калачиком, и сооружал бутерброд из масла, крутого яйца и шпротинки. Поскольку профессор приехал из Ленинграда, ему было разрешено выпить и закусить, не дожидаясь Славика.

Он заведовал кафедрой, носил длинный, безупречно черный сюртук с черными шелковыми пуговицами, носил узкие французские усики, но, выезжая в провинцию, почему-то изъяснялся с туземцами, нажимая на «о», и изображал из себя кухаркиного сына. Он важно успокоил Лию Акимовну тем, что перед дождем у него должно ныть левое колено, и стал доходчиво растолковывать преимущество коленной чашечки перед барометром-анероидом. Но дослушать его не удалось: приехали Затуловские. Лия Акимовна надеялась, что они привезут только Соню (она училась в одной школе со Славиком). Но прибыло все семейство — инженер с женой, Соня и три прожорливых мальчишки.

— А Сонечка-то, Сонечка! Вытянулась! — восклицала Лия Акимовна, целуя скучную жену Затуловского.— Берегите мужей, граждане!

Затуловский подвел дочку к профессору и дернул ее за руку.

6 Заказ 307

Соня сказала грубо:

— Здравствуйте,— и покраснела.

Профессор медленно дожевывал бутерброд.

— Здравствуй,— отозвался он наконец.— Тебя как величать?

— Соня.

— Соня? — Он удивился.— Дрыхнешь небось долго. Потому и Соня.

Она промолчала.

— Перешла в седьмую группу,— объяснил отец.— Первая ученица.

— Ну, папа! — Соня покраснела еще сильней.

— Первая? — Профессор снова удивился.— Ты что же, красавица, хочешь стать второй, как ее... мадам Кури, кажется... или Прикури... А? Как правильно?

Соня знала, что она не красавица, что у нее толстые губы и прыщи и что профессор притворяется, будто забыл фамилию знаменитой ученой.

— Ты что, немая? — спросил отец.

Она тупо смотрела на шелковые, похожие на заклепки пуговицы на профессорском сюртуке и ждала, когда ее кончат мучить.

— У тебя что, язык отсох? — прошипел отец.

Она молчала, упрямо выпятив прыщавый лобик. Ей было невыносимо.

— Больше никуда не поедешь! Так и заруби на носу!

В отдалении, у самого берега, лежал наполовину в воде старый осокорь. Он был завален молнией, но все еще выбрасывал свежие зеленые ветки. Соня устроилась между толстыми сучьями и твердо решила просидеть здесь до конца.

Ей было тринадцать лет, и чувство человеческого достоинства у нее еще не замозолилось.

Притаившись среди ветвей, она заметила Ивана Васильевича. Он лежал у самого берега, в траве, и смотрел на реку.

Он думал про Ольку. Недавно рассказывали, как вызвали ее к доске доказывать теорему о сумме трех углов треугольника. Доказательства она не выучила. Подумала немного, начертила прямоугольник, провела диагональ и говорит: «Вот и все». И действительно: в прямоугольнике четыре прямых угла — триста шестьдесят градусов. Диагональ раскалывает его на два одинаковых треугольника. Значит, на долю каждого треугольника остается сто во-

семьдесят градусов. Рабфаковцы гордились: «Вот наша, рабочая комсомолка, из инструменталки, а заткнула за пояс самого Евклида...»

В тот вечер, когда они натолкнулись на Славика с ирисками, Ивану Васильевичу все-таки удалось уломать Ольку побыть с ним немного. И они отправились в заречную рощу, он впереди, она — саженей на десять позади его, как обычно.

Они пришли не на это место, а немного подальше — пожалуй, с версту отсюда,— к заливчику, окаймленному розовой, обожженной солнцем осокой. Осока росла густо, невозможно было разобрать, где кончается берег и начинается вода. На полянке стоял киргизский приземистый стог, туго обжатый слегами.

Они сели в пахучее сено. Он обнял ее.

Когда Олька задумывалась, не только глаза, но и все ее красивое, загадочно-неподвижное лицо казалось египетским, и Ивану Васильевичу приходило на ум, что она видит не то, что есть, а то, что будет. В тот вечер она была странно, по-взрослому, печальна. Иван Васильевич пытался развлечь ее. Как только перевезут ферму, он разведется и увезет Ольку куда-нибудь на тихий степной разъезд. Должность начальника дистанции его не страшит. Живет же Павел Захарович Поляков со своей Маргаритой Михайловной в степи, в кирпичном доме железнодорожного ведомства. В одной половине — контора, в другой — квартира. Олька выучится работать на ключе, станет помогать ему, принимать и передавать депеши.

Обыкновенно, когда об этом заходил разговор, Олька оживлялась, расспрашивала про домик — будут ли во дворе сарайчики, и чем топить, кизяком или дровами.

Теперь она не соглашалась и не возражала, погруженная в смутные, темные думы.

Часов в одиннадцать по берегу кубарем прокатился черный клубок, наверное заяц. И вслед за ним из орешника выскочил волк. Волк остановился, поглядел, сгорбившись, на Ивана Васильевича, на Ольку и неловко, как стреноженный, повернул назад.

Иван Васильевич похвалил Ольку за то, что не испугалась, но ее бесчувственность все больше тревожила его.

Он походил вдоль берега, разыскал ветхую плоскодонку и, хотя Олька отговаривалась, что поздно, заставил ее кататься.

Кругом было тускло, печально. Высоко висела одино-

кая звездочка десятой величины. Справа чернел крутой городской берег. На воде полосами стоял туман, такой густой, что его можно было отодвигать, как занавеску...

Олька молчала или спрашивала ни с того ни с сего:

— А ты, Ваня, чувствуешь, когда про тебя думают? Я, примерно, в депо вспоминаю тебя, а ты где-нибудь на линии, на разъезде чуешь. А? Бывает?

Он вышучивал суеверия, россказни о внушениях и телепатии. А она спрашивала, не дослушав:

— А у тебя не бывало, что ты идешь незнакомым местом, примерно в лесу, первый раз, и вдруг тебе кажется, что ты тут бывал когда-то?.. Давно, давно... Может, еще до рождения...

— Ты комсомолка или кто? — строго напоминал он. Она умолкала, механически вычерпывала воду...

...Подошла Лия Акимовна, обряженная в кружева и пелерины, словно кардинал на пасху.

— Иван, я начинаю беспокоиться. Девятый час, а Славика нет...

— Надо было не Нюру посылать, а ехать самой.

— Как же я могла ехать от гостей?

— Так что же, мне ехать?

— О боже! Терпенье, говорил генерал Куропаткин!..

...Так, до самого конца, Олька и не открыла причины своей печали. «Если бы был замешан мужчина, она сказала бы,— подумал Иван Васильевич.— Она бы не пощадила меня. Она бы сказала...»

— Может быть, она не может найти граммофонные иголки? — спросила Лия Акимовна.

Иван Васильевич поморщился. Что за привычка задавать дурацкие вопросы?

— Я же ей толковала,— продолжала Лия Акимовна.— Коробка на трюмо.

Ветер поднялся снова и дул капризно, в разные стороны. Вдали за Форштадтом глухо прогремел гром. По низкому небу тащились черные тучи, цепляясь друг за друга, словно убогие слепцы.

Иван Васильевич чувствовал, что жена молча стоит за его спиной, и проговорил, не оборачиваясь:

— Никуда твой Славик не денется. И нельзя мучить гостей. Герасим хочет есть.

— Ты считаешь, начинать без Славика?

— А что такого?

— Несчастный ребенок! — вздохнула Лия Акимовна

Он посмотрел, как неловко она переступает на французских каблуках по кореньям, услышал ее возглас: «Разбойнички! Собирайтесь! Начинаем кутить!» — и его передернуло.

Гости стали располагаться вокруг скатерти. Тост в честь хозяина было предложено произносить специалисту по этой части, инженеру Затуловскому.

Инженер Затуловский был завистливый неудачник.

Он поддерживал затею Ивана Васильевича с перевозкой фермы только потому, что предчувствовал аварию. Впрочем, он презирал себя за грязные мысли и, подняв рюмку, расхваливал Ивана Васильевича особенно долго и красиво.

— Ох, как скучно,— сказала жена Полякова, Маргарита Михайловна.

— А ты, мать, выпей чарку, будет весело! — посоветовал Павел Захарович и пошел проверять удочки.

Павел Захарович Поляков принадлежал к неистребимому племени российских самородков. В гражданскую войну он партизанил в Сибири, потом стал начальником дистанции, выдумал двухотвальный снегоочиститель, сам рассчитал узлы, сам вычертил эскизы, сам придумал название «Носорог». Иван Васильевич помог ему только оформить чертежи как полагается. С Иваном Васильевичем они дружили.

У Поляковых было трое детей. Кроме того, Павел Захарович взял к себе жить сына своего погибшего на гражданской войне друга, и теперь этот парень, Герасим, учился в Москве и получал семь рублей стипендии. Летом Герасим приехал на геодезическую практику, и Павел Захарович привез его на пикник — похвастать, что получилось из бывшего грузчика.

— Возьмите меня, Иван Васильевич, на перевозку,— просился Герасим.— На любую работу. Я не забоюсь, честное слово.

— А что? — подхватил Поляков.— Возьмем? Парень толковый.

— Бери. Все равно.

— Ты что как в воду опущенный? Захворал?

— Нет. Ничего.

...Иван Васильевич велел Ольке обязательно позвонить ему на работу сегодня утром. Ожидая звонка, он не ходил ни в буфет, ни на диспетчерское совещание. Но звонка не было ни утром, ни днем. Иван Васильевич до того

изведся, что к концу работы дерзил без всякого повода. Она так и не позвонила.

Что с ней случилось? Чем он перед ней провинился? Ну, подтрунивал немного, когда катались на лодке, ну, повздорили, когда вернулись на берег и Иван Васильевич хотел еще немного посидеть в сене. Она возразила, что поздно, просилась домой. Иван Васильевич настаивал. Олька, обыкновенно послушная и снисходительная к нему, на этот раз уперлась: «К завтраму надо решать задачки по физике». Он упрямо сидел в сене. Она причесывалась шагах в двадцати от него, ждала, когда он поднимется. И, не дождавшись, пошла одна, и ему пришлось догонять ее, как мальчишке.

Потом они шли рядом по пустым улицам и почти не разговаривали.

Они дошли до дома, в котором уже четвертый месяц Олька снимала комнату. Иван Васильевич хотел зайти. Она не позволила. «Уже поздно. К завтраму надо решать задачки по физике».

— Ну смотри,— отпустил Иван Васильевич дурацкую шутку,— не стану квартплату вносить. (Три месяца назад он настоял, что будет оплачивать ее комнату.)

— И не надо,— сказала Олька серьезно.

— Другого кассира нашла? — спросил он.

— Да,— сказала она бесчувственно.— Нашла другого.

И только когда за ней захлопнулась дверь, он понял, что они поссорились.

Он крикнул в темноту:

— Олька!

Она не вернулась, но остановилась на темной площадке лестницы.

— Не дури, Олька! — крикнул он.— Завтра утром обязательно позвони! На работу, слышишь?

Она не ответила, стала подниматься.

Было слышно, как она постучала на втором этаже, как щелкнул запор, и хлопнула дверь.

Иван Васильевич перешел на другую сторону улицы, встал наискосок к дому так, чтобы его не было заметно, и ждал, сам не знал чего. В ее окне вспыхнул свет и минуты через три погас «Решает задачки по физике»,— саркастически усмехнулся Иван Васильевич.

Он не уходил и все ждал чего-то. По улице проехал грузовик, в упор осветив левой фарой беленую стену Олькиного дома, и по стене сытыми котами стали выги-

баться тени. Медленно прошел дряхлый, согнутый в дугу ночной сторож. В руке его сама собой билась колотушка.

«Но позвонить-то она могла в конце концов!» — подумал Иван Васильевич...

— Иван,— ворвалась в его думы Лия Акимовна.— Что же будем делать? Я уверена, со Славиком что-то случилось.

— Сама посуди, что с ним может случиться?

— Но уже девять.

— Что ты от меня хочешь?

Он встал и пошел к берегу, стал помогать Роману собирать валежник.

— Выпьем, сосед, под рыбку? — предложил Роман.

— Что-то не пьется. Почему Клашу не привез?

— Она у меня чудная. Угорает, когда много говорят. А тут вон какая конференция.

— Скучаешь?

— А то нет,— просто ответил Роман.— Конечно, скучаю.

— Хорошая она у тебя.

— Да. Хорошая хозяйка. И у тебя Лия Акимовна хорошая,— добавил он деликатно. И они выпили за своих жен.

А шум у костра стоял такой, что угореть могла не только Клаша.

— А каких цацек вы от наших спецов дожидаетесь? — нападал профессор на Полякова.— Оболтус и с дипломом под мышкой останется оболтусом до скончания дней своих.

— Вот именно,— вставил Затуловский, с почтительной робостью внимая приезжей знаменитости.

— Вот я,— продолжал профессор,— торчал в институте восемь лет. Мамкин сынок был, либерал. «Дубинушку» пел. А получил диплом с царским орлом — глядь, уже сижу на шее у трудового мужика... Долго еще нам замаливать грехи перед простым народом! Да и сумеем ли замолить?

— Но ведь не всякий же инженер...— начал было Роман Гаврилович, но Пресс подсек его вопросом:

— Вы инженер, молодой человек?

— Нет.

— Вот и хорошо, что нет. Потому что наше сословие инженеров как было паразитами, так и осталось. Инже-

нерские мозги, начиненные стандартами, аксиомами, да константами, да прочей чепухенцией, по самому нутру своему враждебны революции.

— Конечно, за некоторыми исключениями,— осторожно добавил Затуловский.

— Мало что бывает. Бывает, и кура петухом поет. Разве об этом речь! У меня служит, говоря на нашем гнилом жаргоне, коллега, а проще сказать — ученый оболтус. На десятом году революции Ленинград называет Петроградом. А Октябрьскую железную дорогу величает Николаевской. А инженер! Дипломированный! Накрутили ему хвоста — стал выражаться иначе: «Дорога, которая ведет от нашего города до Москвы». Эдак-то! И Ленинград обошел, и Николаевская в уме. Вот вам и коллега! А читает лекции в советском втузе, учит рабочий молодняк! Творит консерваторов и оппортунистов по образу и подобию своему! Тьфу, и я по-латыни заговорил! Вот зараза!.. Нет, я своих балбесов до втуза на пушечный выстрел не подпущу! У меня двое сыновей. Я их на Днепрострой отправлю. Пускай тачки катают. Потом сами спасибо скажут.

Профессор соорудил бутерброд с балычком и икрой, отправил в рот и промокнул румяные губы.

— А меня во втуз записали,— сказал Герасим.— При всех объявляю: только из уважения к Павлу Захаровичу учусь.

— Не век же тебе мешки грузить,— проговорил Поляков несколько виновато.— Будешь красный командир производства. Никакого позора нету.

— Как это нету? Кто я такой был? Базис. Пролетарский крючник. А во втузе чего из меня лепят? Гнилую интеллигушку? Таблички с косинусами учат читать. На кой черт мне это нужно?

— Дело не в базисе,— сказал Роман Гаврилович.— А в том, кому ты своими знаниями служишь.

— А кому я могу служить, когда я консерватор? Слышали? — он кивнул на профессора.

— А ты читал, какие стройки нам с тобой поручает республика? — торжественно продолжал Роман Гаврилович.— Ты читал, что нам с тобой придется ставить самую колоссальную электростанцию во всем мире — Днепрострой, Туркестано-Сибирскую магистраль тянуть, канал от Волги к Дону копать? А ты говоришь, на кой таблички...

— Копать надо лопатами, а не табличками...— возразил Герасим хмуро.

— Верно! — подхватил профессор.— Египетские фараоны не носили фуражек с топорами да якорями, а пирамиды закатывали такие, что нам и не снится! Владыка мира — труд, дорогой коллега.

— Вот это правильно,— проговорил Затуловский с чувством.

Роман Гаврилович оглянулся, ища сочувствия.

— И лошадь трудится! — заметил Иван Васильевич.

— Пирамиды складывали не люди, а рабы! — подхватил Роман Гаврилович.— Это там, за кордоном, что рабочий, что бык под ярмом — одна цена. А свободный человек тем и свободный, что запускает мозги на полную силу! Разве при царском режиме Павел Захарович придумал бы снегоочиститель «Носорог»? А этот «Носорог» заменяет двести человек с лопатами!

Герасим молчал.

— Твой отец завещал, чтобы я тебя вывел в люди,— твердо сказал Поляков.— И я выполню его волю. Втуз ты кончишь. И никаких гвоздей!

И в знак того, что решение обжалованию не подлежит, выпил чарку водки.

— Институт ты кончишь,— повторил он.— А там — как хочешь. Одолеешь науку — подавайся обратно в крючники.

— И пойду. Хоть дети будут иметь пролетарское происхождение. А тут они что в анкете станут писать? Произошел от обезьяны?

— Ты комсомолец? — спросил Роман Гаврилович.

— Ну, комсомолец.

— А кому было сказано: «Учиться, учиться и учиться»?

Герасим упрямо промолчал.

— Не мудри, Герасим,— подошел к нему Иван Васильевич.— Погляди на нас с Павлом Захаровичем. Оба мы интеллигенты. Меня сделали интеллигентом в институте, а твой Павел Захарович стал интеллигентом сам. И каяться ни он, ни я не намерены.

— Профессор имел в виду неполноценную интеллигенцию,— пояснил Затуловский.

— А по-моему, басенку о неполноценной интеллигенции придумали сами интеллигенты,— сказал Иван Васильевич весело.— Как считаешь, Роман Гаврилович?

— Конечно. Причем неполноценные,— уточнил Роман Гаврилович.

И Соня увидела, что он оглянулся на ее папу.

Затуловский давно жалел, что приехал. Беседа принимала скользкий характер. В довершение неприятностей Затуловский отсидел ногу. Он крутился и так и эдак, ложился на бок, упирался на локоть, садился на корточки, но так и не мог найти удобного положения. Он решительно не умел сидеть без стула.

— Пролетариату не нужны интеллигенты, а нужны интеллигентные рабочие,— сказал он, но спохватился, что, пожалуй, слишком поддакивает профессору, и решил завернуть фразу так, чтобы не обижать своего непосредственного начальника, Ивана Васильевича.— Именно поэтому,— продолжил он,— мне кажется, профессор не совсем прав, когда нападает на втузы. В наше время втузы служат пролетариату...

— А вот втузы профессор ругнул правильно,— перебил Иван Васильевич.— Надо учить по-новому. Нынешний молодняк хочет, чтобы его учили не зубрить, а мыслить.

— А почему вы знаете, что хочет нынешний молодняк? — спросил Герасим.

— Знаю...— Иван Васильевич вспомнил Ольку и смутился.— Предполагаю, во всяком случае.

— Мы, например, в нашей группе мечтаем, чтобы скорее кончалась ученая талмудистика и чтобы нас скорее отправляли на линию. А наши девчонки — у нас их четверо — спят и видят, как бы у какой-нибудь тетери отбить мужа с кошельком.

Иван Васильевич испытующе посмотрел на студента. Герасим поджаривал над углями наколотые на прутик куски окуня. Настойчивый взгляд инженера он понял посвоему, улыбнулся и проговорил:

— Сейчас угощу. Обождите.

— Зубрить, конечно, нужно,— басил Поляков.— На то она и теорема Пифагора, чтобы ее зубрить. Однако зубрежка — полдела. Другой раз слушаешь мудреца: слова длинные знает, а подогнать их путем друг к дружке не может.

— Это не ново,— возразил Затуловский.— Об этом еще древние греки толковали.

— Вон я какой! — удивился Поляков.

— И Сократ в том числе.

— А кто он будет — Сократ?

— У вас как с образованием? — тонко улыбнулся Затуловский.

— Образование у меня ускоренное.— Поляков вздохнул.— Кочегарил на паровозе. Когда машинист напивался, я становился за регулятор. Потом курсы. Тоже ускоренные. И все. Теперь только и дорвался до книги. Маркса прорабатываю. «Капитал».

— Вам, я думаю, достаточно усвоить основы,— съязвил Затуловский.— С машиниста не спрашивают, как Стефенсон додумался до локомотива.

— А у нас с вами локомотив-то какой, позабыли? — Поляков подмигнул.— Не маневровая «овечка». Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка!

— На одном Сократе сейчас далеко не уедешь,— добавил Иван Васильевич.

— Это который Сократ? — напирая на «о», спросил Поляков.— Который бегал нагишом по Греции и кричал «Эврика!»?

— Ну, граждане, если мы путаем Сократа с Архимедом,— возразил Затуловский с достоинством,— то уж действительно мы дошли до «нес плюс ультра».

— Что на языке осин означает: «Дальше ехать некуда»,— перевел заметно подвыпивший профессор.

И все засмеялись.

«Зачем они смеются над папой,— думала Соня.— И Поляков и Иван Васильевич смеются. А я, дурочка, учила поздравительные стихи. Не буду говорить Славику никаких стихов».

Она подошла к костру и сказала:

— Мама, я хочу домой.

— Батюшки! — спохватился Поляков.— Хороши кавалеры! Про барышню позабыли!

Он взял у Герасима палочку с наколотым куском окуня и опустился на колено перед Соней.

Губки ее дрогнули.

— А еще Маркса прорабатываете,— сказала она громко и отвернулась.

Возникло неловкое молчание.

Затуловский приблизился вплотную к дочке и, страшно мигая, прошептал:

— Ты сейчас же пойдешь к Павлу Захаровичу и попросишь прощения. Или... или... я не знаю, что с тобой сделаю.

Соня не двинулась. Он замахнулся.

— Ну-ну-ну,— Иван Васильевич крепко обнял его за плечи.— Мы с вами члены общества «Друг детей».

— И черт с ней! — кричал Затуловский.— Видеть ее не хочу! Вырастила урода! Вот оно, твое воспитание!

Соня увидела, как испуганная мама торопливо, по-кроличьи дожевывала кусок. Это было непереносимо. Она бросилась в темную чащу.

— Зачем вы ее так? — проговорил Поляков с упреком.

Прислушались. Мучительно набирая силу, загудел гудок лесопилки. Больше ничего не было слышно.

— Сейчас я ее приведу,— сказал Иван Васильевич.

Он отыскал девочку далеко в лесу. Она рыдала бесшумно, как взрослая.

— О чем плачем? — спросил Иван Васильевич.

— Я не буду стихи... Уходите...

— Какие стихи?

— Читать стихи... Славику... Не буду... Уходите... Ваш Славик противный. Я убегу.

— Зачем убегать? Я тоже не люблю стихов. «На добра коня садяся, в путь-дорогу снарядяся...» Чепуха, правда?

Соня засмеялась сквозь слезы.

— Пойдем.

Она брезгливо отвернулась.

— Имей в виду, сюда забегают волки.

— И пусть.

Он улыбнулся украдкой. Много в новом укладе непонятного, а все-таки правильно скинули царя Николашку. Россия тронулась с места. Поднимается молодая поросль, немыслимая при старом режиме, растет племя, которое не переносит унижения и не понимает, что значит лебезить и подлаживаться. Толстогубая, колючая девчонка. Вот бы Славик вырос таким...

Листва зашумела. Ветер принес теплый запах сена. Иван Васильевич встрепенулся и полез напролом, как лось, сквозь папоротник и прутья орешника. Да, это было то самое место: ночная поляна, осока, киргизский стог, утонувшая наполовину плоскодонка. Пустая консервная банка, которой Олька вычерпывала воду, плавала между лавочками. Никто со вчерашнего дня сюда не заходил. Плоскодонка была привязана к пеньку Олиными руками.

Иван Васильевич вспомнил, что Олька не позвонила, помрачнел и пошел обратно.

Дело было плохо. Прислуга Нюра вернулась без Славика.

— А вам, Лия Акимовна, в глаза скажу! — кричала она пронзительным, частушечным голосом.— Я такой человек! Дитя пропало, а вы тут гульбище затеяли, хлебным вином заливаетесь! Ивану Васильевичу простительно, у них мужской пол, им ништо, а родной матери стыдно! Мыслимо ли дело: к сапожнику кинулась — ничего не знает, к Клашке кинулась — ничего не ведает! Пока бегала, иголки потеряла, давай по второму разу скакать! А у меня главный нерв в расстройстве! Так и воротилась без иголок! Высчитывайте с жалованья, сколько хотите берите, я такой человек! Я бы еще прошлый год ушла, сманивали меня: давали кровать с сеткой, обедать вместе с хозяевами. Меня люди уважают! Не как вы! У меня голова не для платка!

На этих словах кусты зашелестели, и из гущи орешника появился грязный, оборванный Славик. Он остановился, осмотрел всех по очереди и нерешительно прошествовал к костру.

Нюра взвыла на полуслове и села на землю.

— Где ты был? — спросила Лия Акимовна тихо.

— А что? — Славик открыл треугольный ротик.— Я опоздал разве?

Лия Акимовна заплакала. Но подскочил веселый Герасим, вскинул мальчишку на плечо и козлом заскакал вокруг костра. Все зашумели, засмеялись, стали корить Нюру, и все перепуталось.

12

Рассуждающий человек способен приспосабливаться к самым противоестественным обстоятельствам. Даже падая в бездну, рассуждающий человек постепенно выходит из состояния слепого, животного ужаса и начинает предаваться размышлениям о том, что все действительное разумно, а все разумное действительно.

Замурованный в подвале, Славик довольно быстро устал бояться духов и привидений. Он прошел в дальний угол, посмотреть, что там тукает. Ничего особенного не было. Просто с сырого потолка на картонную папку капа-

ла вода, и капала давно, потому что в картоне была пробита дырка. А шуршали мыши — это он давно догадался.

Потом Славика стали развлекать мысли о голодной смерти. Через много лет, когда откроют подвал, вожатая Таня увидит белый скелет, обутый в новые башмачки, и подумает с грустью: «А ведь он меня так любил!»

Сцена эта представилась настолько отчетливо, что Славик содрогнулся. Он встал на подоконник и, поднявшись на цыпочки, дотянулся до нижнего края форточки. Нет, форточка слишком высоко. Можно бы попытаться выбить стекла. Но на шум прибежит пожарник и отведет его в милицию. Кроме того, осколки режутся.

Славик сел на прежнее место и стал думать. Ему пришло в голову выложить на подоконнике бумажные кипы. Он принялся за дело, нагромоздил кучу папок чуть ли не с метр высотой, влез на них и сунул голову в форточку.

Свежий ночной воздух обдал его. Во дворе было тихо. Пьеса кончилась, зрители разошлись. Он пролез в форточку до пояса, но в последний момент спохватился: а как вылезать из приямка? Ведь приямок накрыт тяжелой решеткой. Там надо тоже подмоститься. Славик опустился обратно на подоконник и принялся выбрасывать наружу самые толстые папки. В приямке он сложит бумажные подмостки, встанет на них, упрется спиной в решетку, отодвинет ее и пойдет...

Куда он пойдет, Славик не успел придумать.

Во дворе послышались голоса. Пришлось притаиться.

За угол к подвалу подошли две женщины. Одну из них Славик узнал сразу: она жевала серку, причавкивая. Это была вожатая Таня.

— Врешь! — сказала Таня.

— Ей-богу, не вру! Бледный, затурканный. Чулочки в рубчик на резиночках... Что же с Мотрошиловым делать? — Танина подруга вздохнула.— Как думаешь, может, ушел?

— Погоди здесь,— велела Таня.— Схожу посмотрю.

— Гляди, чтобы не увидел.

— Учи ученого! — откликнулась Таня.

Они от кого-то прятались.

Минуты через две Таня вернулась.

— Ждет,— сказала она.— Как решили?

— Постоим. Может, уйдет.

Голос второй женщины тоже был знаком Славику, но он не мог вспомнить, когда его слышал.

— Видишь, какая моя жизнь. Танина подруга вздохнула.— Прохода не дает. И в мастерских караулит, и в клубе, и у квартиры.

— Молодой еще,— сказала Таня.— С повышенной возбудимостью.

— Сколько раз я ему говорила: «Мотрошилов, говорю, какой тебе расчет за мной таскаться? Вон сколько свободных девчонок. А со мной ничего не выйдет. Я занятая». А ему хоть бы что. Да ну его к шуту! Уйдет. Ему в первую смену... Так вот... Об чем мы толковали-то?.. Да! Глянула я на него, и с места не сойти! Стоит со своими ирисками и шепчет, чуешь, Танька, не выкликает товар, а шепчет, будто милостыньку просит...

— Не понимаю я этих мужчин,— сказала Таня.— Как дети малые. И чего он сошелся с этой скворешницей? У них, заморенных образованием, приглушен инстинкт полового подбора. И в результате — неполноценные дети.

— Жалко мальчишку! — сказала подруга.— И его самого жалко. Я тебе вот чего скажу. Ваня стыдится его. Когда он наткнулся на него с коробочкой, ему совестно стало. Ему кажется, растет от его корня что-то обреченное, неизлечимое... А своя кровь... Другие с горя дурманятся водкой, а он работой. Разве мыслимо: управление, потом рабфак, лекции по НОТу. Ваня очень несчастный, если ты хочешь знать.

Они замолчали на минуту.

— Когда собираетесь расписываться? — спросила Таня.

— Ваня — хоть завтра.

— Так чего же ты? Давай быстрей. Спасай человека.

— Знаешь, Танька, для него бросить такого сынишку — все равно что увечного бросить. Он еще не понимает этого, но поймет. Настоящие мужики задешево не спасаются. Послушай, Танька, помоги мне в комсомольское общежитие переехать.

— Зачем тебе?

— А затем, что я за него не пойду.

— Да ты что?

— А то, что не пойду. Не имею права.

— Любая свободная гражданка имеет полное право на свободную любовь,— убеждала Таня подругу, сердито причавкивая.— Теперь не старый быт, и мужчина не частная собственность.

— Поможешь устроиться в общежитие?

— Учти: там насчет парней строго. Застанем на койке кавалера, будешь без очереди полы мыть.

— Вымою.

Они снова замолчали.

Славику до смерти надоел буксующий на одном месте разговор про мужчин, и он удивлялся, как у самой умной пионерской вожатой хватает терпенья выслушивать одни и те же слова и одни и те же фразы о жалости, о несчастных детях, об общежитии.

Хотя бы скорей уходил подстерегающий их Мотрошилов. Тогда и они уйдут, и Славик наконец побежит справлять свой день рождения.

— Что же ты,— спросила Таня,— так с ним жить будешь?

— Никак не буду. Не надо мне больше видеть его.

— С ума сойти! Тебя определенно заел старый быт! Смотришь только со своей колокольни. А ты комсомолка. В первую голову должна думать о будущем, о половом подборе и здоровом поколении.

— Поможешь устроиться в общежитие?

— Помогу. Но подумай сперва. Сама не вытерпишь. Позвонишь.

— Это верно. Не вытерплю. Целый день какой-то магнит тянул к телефону. Все кулаки искусала.

— Сдержалась?

— Нет. Позвонила в конце концов. Бог спас — барышня сказала: занято.

— Что ты на каждом шагу — бог да бог.

— Не бойся, в бога я не верую. Нет бога. А что-то такое есть.

— Что-то такое — это он, твой Ванечка. Больше никто. Сегодня не позвонила, завтра позвонишь.

— Это верно. Сама с собой я не совладаю. А я замуж пойду. Пусть меня муж крепче держит. Пусть не дает баловать.

— Какой муж?

— А хоть Гринька. За него и пойду, если не побрезгует.

— За Мотрошилова? Помереть с тобой можно! Да ты его не любишь.

— А зачем ему это? Женой буду честной. С него хватит.

— Ладно, не барахли.— Таня волновалась и часто причавкивала.— Ты что же, хочешь сойти до мещанской

дражайшей «половинки»? Завтра же звони своему! Чего бояться? Все нормально: естественный отбор и борьба за существование.

— Сходи глянь — стоит Мотрошилов или ушел?

— Выходить за него собралась, а пугаешься. Закачаться с тобой можно!

По асфальту застучали каблучки и затихли у ворот.

Славик прислушался. Было тихо. «Наконец-то ушли жениться»,— подумал он.

Он благополучно пролез через форточку и шлепнулся на бумажную подстилку. Первым делом он закрыл форточку. Потом сложил из бумажных пачек горку, уперся головой в прутья, поднатужился, и вдруг решетка сама, как живая, встала на ребро и облокотилась на стену.

Сверху на него смотрела Таня. Волосы ее свешивались по бокам, как буденовка.

— Ага, попался! — сказала она.

— А ты говорила, крысы,— засмеялась подруга.

Его вытащили и поставили на асфальт.

— А, вот это кто! — удивилась Таня.— Где Митька?

— Не знаю.

— Ты зачем в яме сидел?

— Просто так.

Хорошо еще, что он закрыл форточку. А то сразу бы догадались, что произошла кража.

— Значит, добровольно признаваться не желаешь? — спросила Таня.

— Не желаю.

— Ну и не надо. Я и так знаю.

Славик вздрогнул.

— Это не я...— сказал он.— Они убежали... А я остался...

— Остался для того, чтобы ночью открыть им ворота. Так?

— Так,— сказал Славик.

— А для чего ты должен был открыть ворота?

— Не знаю.

— Врешь! Все ты знаешь. Чтобы Митька со своими мальчишками стащил реквизит. Так?

— Так,— сказал сбитый с толку Славик.

— Вот видишь, мне все известно. Запомни: надо всегда говорить правду. Когда признаешься, на душе становится легче.— Она наклонилась и погладила его по голове.— Тебе сейчас легче?

— Легче.

— Вот видишь. А теперь скажи, зачем вам понадобился реквизит. Только не ври.

Славик растерялся. Он не понимал, что такое реквизит.

— Может, вы хотели поставить пьесу?

— Погоди, Танька.— Она присела перед Славиком, повернула его за плечи лицом к себе.— Ну да. Он.

— Кто? — спросила Таня.

— Послушай, как тебя звать?

— Славик.

— Это ты торговал ирисками?

Все стало ясно. Славик вспомнил и голос, и кепку с длинным козырьком, и имя женщины: Олька.

— Ну и торговал! А вам что? — сказал он заносчиво.

— Представляешь, Танька? — тихо сказала Олька и посмотрела на подругу долгим взглядом.

Они отошли и стали шептаться.

— Твой приятель, ты и веди,— упиралась Таня.

— Как же я поведу? — шептала Олька.— Мотрошилов увяжется. Ну, пожалуйста!

Поспорив, они вернулись к Славику.

— Твоя интеллигенция где гуляет? — спросила Таня недовольно.— В заречной?

— Я думаю, да.

Они вышли на улицу, а Олька осталась во дворе.

Было темно. Свет фонаря мотался кадилом с одной стороны улицы на другую.

На той стороне, так чтобы видеть и ворота и крыльцо клуба, сидел на коновязи коренастый парень.

— Спать пора! — крикнула ему Таня.

— А тебе что за дело! — ответил он и, когда они порядочно отошли, добавил: — В купчихи подалась!

Он намекал на роль Кабанихи.

— И подалась! — крикнула Таня.— Чего бояться!

Славик догадался, что на коновязи сидел жених Мотрошилов. Они свернули на Соборную улицу, прошли два переулка и вышли на Советскую.

Там горели два ряда фонарей, и было видно всю улицу и все вывески. Таня оглядела Славика, покачала головой.

— Чего особенного? — сказал Славик дерзко.— Носил декорации и вывозился. Ничего удивительного.

— А я ничего и не говорю,— ответила Таня спокойно.— Конечно, ничего удивительного.

Они долго шли молча, и Славик переживал, что все время дерзит замечательной вожатой. Подумав, сказал примирительно:

— Вы, конечно, ничего не подумали, а другие могут подумать, что я лазил в подвал.

— Глупости! Зачем тебе лазить в подвал?

— Конечно, незачем.

— Ну, так нечего и болтать.

— Конечно, нечего. А другие бы подумали, например,— полез бумагу воровать.

— Что за чушь! Какую бумагу? Зачем? Какой ты все-таки дурачок.

— Почему дурачок? Бумагу можно продать на базаре, выручить деньги.

— Ну хорошо, хорошо.

Они подошли к реке, и Таня стала внушать Славику, чтобы при встрече с родителями он попросил бы прощения и объяснил, что ходил с ребятами в клуб носить декорации. Артисты играли так хорошо, что он просидел до конца пьесы и забыл про день рождения.

Когда проходили по мосту, Славик попросил:

— Товарищ вожатая, а вы не можете с нами остаться? Вам бы дали мороженого.

Она объяснила, что будет лучше, если Славик появится из темного леса один.

Они обошли поросший осокой заливчик и полянку с косматым стогом. У берега виднелись костры и слышались голоса.

— Лучше я домой пойду,— сказал Славик уныло.

— Струсил? Иди гуляй. Тебе сколько лет?

— Сегодня стало одиннадцать.

— Вот видишь. Пионерский возраст. А ты трусишь. Скажи, что ты пионер.

Славик даже остановился.

— А мне в пионеры можно?

— Конечно. Приходи завтра с Митей на сбор. Будешь пионер — тебя никто пальцем не тронет. Пусть попробуют.

— А пионеру можно водить голубей?

— Пионеру нельзя торговать ирисками. Нельзя спекулянничать. Это запомни. Кто там?

Они остановились. В темноте маячила Соня. Чтобы

доказать, что нет ничего страшного, Славик вежливо поздоровался с девочкой и спросил:

— А ты почему одна?

— Потому что одна. Уходи... Ты зачем вырядился? Как нищенка.

Вид у Славика был ужасный. Чулок опустился. В петельке болталась оторванная подвязка. Вместо новенькой белоснежной матроски свисали сырые, вымазанные плесенью и ржавчиной лоскутья. А главное украшение — синий воротничок с полосками — потерялось. Славик совсем упал духом.

Славик хотел посоветоваться с Таней, не стоит ли выстирать матроску в реке, но там, где была вожатая, чернело кривое дерево.

— Мы носили декорации,— сказал он нерешительно.— Вот и перепачкался. А чего бояться!

По виду Сони было ясно, что выдумка получилась неудачная.

— А если напали бандиты? — спросил он.— В нашем парадном, знаешь, какие бывают бандиты...

— Нет, покачала головой Соня.— Лучше ты шел, шел, зашел в рощу и заблудился. Заблудился и попал на свалку. Понял. В темноте угодил в яму и порвался об железо.

— А на свалке бывает железо?

— Конечно, бывает. А потом я тебя нашла. Хорошо?

— Хорошо,— согласился Славик.

— Тогда пойдем. Хотя нет. Погоди. Сначала я тебе скажу стихи.

— Какие стихи?

— Папа придумал. В честь дня рождения. При всех говорить не буду, а сейчас, если хочешь, скажу.

— Говори.

Пока она читала стихи, Славик горестно рассматривал свои лохмотья и безнадежно пытался оттереть грязные пятна. Соня кончила декламировать.

— Уже все? — спросил Славик.

— Все,— сказала Соня.

— Ну тогда пошли.

— Я не пойду. Пускай меня позовут. Иди один.

Сквозь кусты орешника Славик увидел огни костров и услышал пронзительный голос Нюры:

— У меня главный нерв в расстройстве, мне скакать воспрещено. Так и воротилась без иголок! Высчитывайте с жалованья! Сколько хотите берите! Я такой человек!

Он пролез через гущу орешника и вышел на чистое место. Остановился, осмотрел всех по очереди и нерешительно прошествовал к костру.

Появление его было так неожиданно, что Нюра взвыла на полуслове и села на землю.

13

Утром ребята пошли на базар продавать бумагу. Таракан с Митей отправились в рыбные ряды, а Коська и Славик — к мясникам.

Пыльная площадь гудела и шевелилась. Солидный бой карусельного барабана едва пробивался сквозь людской галдеж. Чистенький старец, проталкиваясь в толпе, раздавал даром афишки.

— Пламенный привет! — сказал Коська.

Старичок посмотрел на кепку, напяленную козырьком на ухо, и афишки не дал.

— Эх ты, гриб,— сказал Коська.— Ну обожди, я еще пойду за вашим гробом плакать...

Он любил базар. Ему было весело глядеть, как все обдуривают друг друга, торгуют разбавленным молоком, спитым и подкрашенным чаем. Пацаны, выкликавшие на одну музыку: «Свежей, холодной воды кому надо!» — и те жульничали. Вода у них была не свежая и не холодная.

Вдоль длинной улицы мясных лавок летела пыль. У лавок виновато сидели псы.

Коська выбрал лавку, на которой висела гремучая железная хоругвь. На черном фоне были нарисованы две головы — свиная и коровья, а между ними выведено: «Бывший Кулибин-сын».

Багровый, словно придушенный воротом косоворотки, бывший Кулибин-сын без долгих разговоров согласился взять обе связки: и большую, Коськину, и Славину.

Он назначил три копейки за фунт.

— Почему так мало? — удивился Славик.

— А потому, что не сливошное масло,— пояснил мясник.

Сперва Коська склонялся не торговаться. «Это за фунт три копейки,— рассуждал он.— А за два фунта будет шесть копеек. А за три — еще больше... Мичман Джон не может быть не точен...»

Но, вспомнив, что на базаре все кругом жулье, он сказал:

— Ты что, опупел? Три копейки!

Мясник не обиделся. Он предупредил, что к полудню цена на обертку упадет, и принялся орудовать секирой.

Ребята долго толкались в толпе, забрели в самый дальний конец базара, где лежали пахучие, как цветы, прозрачные местные дыни и черно-зеленые арбузы с желтыми пролежнями, и закутанные в белоснежные бедуинские покрывала казашки, не слезая с арбы, отмеряли ведрами яблоки, а голозадые детишки со степным визгом забирались по огромному колесу арбы, как по лестнице, и умные верблюды взирали на все это, как из президиума. Потом ребята отправились за карусели, на барахолку. Там продавали все, что существует на свете,— шпанскую мушку, краденых кошек, козырьки без картузов и картузы без козырьков. Никто больше трех копеек за бумагу не давал. И только когда казашка-молочница назначила две копейки, они спохватились. Но было поздно. Базар словно перешептался. Цена оберточной бумаги упала.

Они подбежали к Кулибину.

— Ладно,— сказал Коська.— Бери за три копейки, и пламенный привет!

— Две копейки, пацаны,— сказал мясник приветливо.

— Да ты что! Смеешься? — заныл Коська.— Своему слову не хозяин? Ты три давал?

— Яичко — к пасхе, а огурец — ко граненому стаканчику,— усмехнулся Кулибин-сын. Он вышел из лавки, облокотился о притолоку двери, обвешанный резаками в кожаных ножнах, вытер багровые руки фартуком.— В нашем ряду устав христианский: друг дружке дорогу не перебегать. А то нас, как мышов, передушат. Хотите две копейки — берите. А нет — пардон вам.

— Ну обожди! — закричал Коська, отбежав шагов на десять.— Наложил падали заветренной и фасонит. Обожди, выявим, откуда драных кошек таскаешь, Кулибин-сын, выявим, кто вам целует палец! — и, немного погодя, предложил издали: — За обе пачки рубль, и пламенный привет.

— Весы скажут, рубль или не рубль,— отозвался мясник как ни в чем не бывало.

Ребята подошли. По весу получилось шестьдесят пять копеек.

— Тебя бы не было, по три копейки загнал! — по-

прекнул Коська Славика.— Вечно людям голову морочишь.

И попросил свешать на безмене.

На безмене пачки потянули на шестьдесят девять копеек.

— А больше у вас весов никаких нет? — спросил Славик.

Других весов не было.

— Тогда давай шестьдесят девять,— сказал Коська.

Мясник не стал спорить.

Он выставил на прилавок высокую моссельпромовскую банку от конфет, погрузил в нее чуть не по локоть руку и, к удивлению ребят, выудил ровно шестьдесять девять копеек.

В качестве премии Славику был подарен мосол, из которого может получиться порядочная бабка.

Самую дорогую монету — двугривенный — Коська припрятал за щеку, а три гривенника, три пятака и копеечки опустил в левый, недырявый карман брюк.

К Славику подбежала лохматая дворняжка и, устремив голодные глаза на мосол, завиляла всем задом. Это был бездомный кобелек Козырь, известный тем, что мог делать «окрошку» — так циркачи называют многократное сальто. Козырь был маленький кобелек в черных пятнах, похожий на трефовую десятку. Он скакал за Славиком то на трех, то на четырех лапах, забегал вперед и улыбался. Коська шуганул его. Козырь отскочил в сторону, но не отставал, хотя и делал вид, что бежит по своим делам, закрутивши хвост бубликом.

— Дай ему мосол,— сказал Коська важно.— Мы не нищие.

Славик бросил. Козырь схватил кость на лету и умчался прятаться.

Как только в кармане Коськи забренчал капитал, в нем что-то переключилось. Он еще больше сбил набок «кэпи», и толстогубое, со следами чернил лицо его приняло лунатическое выражение.

Старец на этот раз вручил ему афишку беспрекословно.

— Читай! — велел Коська.

Афишка начиналась словами: «Я, борец Иван Поддубный, оказавшись проездом в вашем славном городе...» — и кончалась: «Советую молодежи подтянуться да поупражняться, чтобы выступить со мной в борьбе».

Пока Славик читал, Коська, к его ужасу, чуть не ку-

пил пожарную каску. Славик едва отговорил его от дурацкой покупки. Потом Коська стал прицениваться к канделябру на четыре свечи с голой бронзовой бабой.

— Что ты делаешь, Коська! — кричал на него Славик.— Я Таракану скажу! Надо же Зорьку выкупать, Коська.

Но деньги вконец опьянили долговязого парня, и он купил бы все-таки канделябр, если бы мимо не проходила цыганка. Он немедленно пожелал ворожить. Цыганка, молодая, смугло-загорелая, будто освещенная костром, в поддернутых, как гардины, юбках, и с черноглазым младенцем, винтовкой торчащим за ее плечом, стала тасовать басурманские карты, приговаривая: «Сейчас я тебе всю правду скажу, расписной, сахарный, помнить меня будешь, любить меня будешь...»

Пока шло гаданье, у Коськи вспыхнула новая мысль.

— Огурец! — гаркнул он.— Пошли кваску выпьем!

— Что ты! — испугался Славик.— Нельзя.

— А если нет, то почему?

— Сам, что ли, не знаешь? Надо же Зорьку выкупить.

— А мы с тобой больше выручили! Бумага тянула шестьдесят пять копеек, а мы взяли шестьдесят девять. Четыре копейки лишку.

— Таракан заругается. Что ты!

— А он, думаешь, не пил? Гад буду, пил. Давай на пару один стакан.

«Лучше было бы мне с Митей идти»,— подумал Славик и сказал:

— Не знаю, Костя. От холодного кваса можно простудиться.

— Ладно, пошли! Я плачу! А ты стой тут,— велел он цыганке.— Напьюсь, догадаем. А пока жди. Барон, рыдая, вышел!

Гадалка разразилась такой раскудрявой бранью, что Коська некоторое время шел за ней следом, чтобы дослушать до конца. И только когда голос ее потонул в базарном гуле, он остановился и произнес гордо:

— Вот как я ее уел! Слышал?

Настроение у него было преотличное.

Они подошли к ларю. На ларе рубином и изумрудом сверкали приманивающие народ бутылки.

Парень с гроздью разбойничьих кудрей на глазах, ловко спасаясь от пены, наполнил стакан.

— Будьте любезны,— сказал он Коське.

Коська форсил до конца. Он вынул изо рта самую солидную монету, подбоченился и отхлебнул.

Продавец обошел ларь, схватил Коську за шиворот и велел поставить стакан на место.

— Почему? — удивился Коська.

— Потому что я тебе леща отпущу.

Коська поставил.

Раздалась затрещина.

— За что? — поинтересовался Коська.

— За то, что царский двугривенный суешь,— разъяснил продавец.

Коська ахнул. На серебряном кружочке был оттиснут орел с двумя головами.

— Ты куда глядел! — набросился он на Славика.— Тебе доверили деньги считать, а ты что?

— Ведь я... ведь ты...— лепетал Славик.

Огорчение Славика было таким безысходным, что продавец разрешил ребятам допить квас бесплатно. Они сделали по глотку и побежали к мяснику. За ними то на трех, то на четырех лапах поскакал Козырь.

— А ведь монетка-то не моя,— сказал им Кулибин.

— Чего голову морочишь! — орал Коська.— Давай правдашный двугривенный. Куда нам ее, с орлом-то! Ее за квас и то не берут.

— Вы у квасника были? Тогда ясно.— Мясник завел наглые глаза.— Это который квасник? Который щипцами завивается? Он и подменил. Лично. Советский взял, а царский отдал.

— На понт берешь!..— начал было галдеть Коська, но мясник перегнулся через прилавок и заговорил тихо: — Он не одним вам подменивает. У него с мирного времени во дворе кубышка зарыта. Он стальной маске подменил. Знаете — стальная маска в цирке борется. Кинула ему червонец, а он ей сдачу двугривенными. Воротилась стальная маска домой, а двугривенные все как есть царские.

— И чего было? — спросил Славик.

Кулибин не расслышал его вопроса.

— Ну, мазурик! — цокал он языком.— Вот это мазурик! Копеешник, на ком интерес строит!.. Ступайте к нему и требуйте. Скажите, чтобы сменил, а то, мол, некрасиво.

— А если он не поверит, что это его двугривенный? — спросил Славик.

— Как это не поверит? Он же щипцами завивается! Поверит.

Ребята отправились к чубатому. Чем дальше они шли, тем походка их становилась безнадежней. Оба поняли: Кулибин-сын просто-напросто обдуривал их.

— Гляди, Костя, Козырь бежит,— сказал Славик.

И правда. Отведав косточки, собачонка моталась за ними, не отставая.

— Пошли Петрушку глядеть,— предложил Коська.

Они повернули к каруселям, но на пути им попалась фортунка.

У низкого столика, разделенного на шесть разноцветных квадратов, сидел инвалид с одной ногой. «За копейку — пятак, за пятак — четвертак, за гривенник — полтинник!» — выкликал он, утирая бабьим головным платком лысину.

Охотников играть не было. Несколько ротозеев щелкали подсолнушки. Хозяин лениво бросал пятаки, закручивал вертушку и выигрывал сам у себя. Подошел франт в гетрах, с подбритыми усиками, под руку с испуганно взирающей на него барышней, кинул мятый целковый, проиграл и как ни в чем не бывало поволок барышню дальше.

— Чем крепше нервы, чем ближе цель! — завистливо проговорил Коська.

И вдруг завел глаза под лоб. Счастливая мысль посетила его.

— Огурец,— сказал он, замирая.— Давай сыгранем по копеечке.

— Да ты что! А проиграем?

— Проиграем, так копейку. А выиграем — сразу пятак! Ворожея наворожила к счастью! Голова два уха!

«Надо было с Митей идти»,— снова подумал Славик.

— Нет, я не буду,— сказал он.

— А если нет, то почему?

— Во-первых, у нас деньги Зорьку выкупать. Какой ты, Костя, странный.

— Для Зорьки и сыграем. Царский двугривенный надо оправдать или не надо? Таракан спросит — ты чего скажешь? А тут двадцать копеек выручим — веселися, весь народ!

— Не знаю, Костя. А если проиграем?

— Я ему говорю — цыганка наворожила, а он — «проиграем»! — Коська развел руками.— Вот жадюга!

— Давай, Костя, так...— сказал деликатный Славик.— Если Козырь убежал, сыграем. Если сидит — нет.

— Давай лучше сыграем, если Козырь здесь. А убежал — пойдем так.

Славик оглянулся. Лохматая собачонка сидела шагах в двадцати, вывалив язык, и делала вид, что смотрит в другую сторону.

— Ну вот,— сказал Коська.— А ты говоришь — купаться!

— Хорошо,— сказал Славик.— Ты как хочешь, а я не буду.

— А если нет, то почему?

— Сколько раз, Костя, можно повторять одно и то же. Я не умею играть на фортунке.

— Да тут уметь нечего. Ставишь на любой номер и загребаешь деньги. А вот чего сделаем! Мы у попугая проверим!

Он схватил Славика за руку и поволок к шарманщику. Какая-то нечистая сила вселилась в него.

— Ты посмотри на этого шарманщика,— урезонивал Славик.— Разве такой шарманщик правильно нагадает?

Шарманщик был дряхлый. Он не мог долго крутить ручку и отдыхал на середине музыки. И шарманка у него была старая, шепелявая, и попугай старый и лысый. Хозяин долго упрашивал попугая достать Коськино счастье. Попугай зевал, показывал бессовестно черный язык и ругался. И только когда хозяин достал прутик, попка глянул на Коську безумным глазом и поддернул свернутую, как лекарство, бумажку.

Прорицание было озаглавлено: «Девственный пергамент». Славик с трудом разобрал написанные под копирку фразы: «Под знаком Юпитера наливается кровью... Царь Давид египетский... сторонись врага огненного. Не даст вкусить тела своего...»

— А «наливается кровью» — не очень хорошо,— насторожился Славик.— Как думаешь, Костя? И кто такой царь Давид?

К ним подошла девушка с соседнего двора — Алина, бывшая машинистка девятого разряда. Она пообещала растолковать темные места пергамента, если Славик добе-

жит до военного дяденьки и спросит: «Не надо женщин?»

Дело было пустяковое. Славик сбегал — спросил. Оказалось, пока не надо.

Алина разбирала только печатные буквы, поэтому читать пришлось Славику.

— «Под знаком Юпитера наливается кровью»,— повторила Алина.— Кошмар! — и спросила Славика: — От кого у тебя такие глазки, малютка? От папки или от мамки?

— Ладно тебе! Читай! — торопился Коська.— Этот попугай, наверное, не ту бумажку вынул. Перепутал, наверно.

— А на что гадал? — спросила Алина.

— На фортунку. Выиграю или нет.

— И куда тебе деньги, малютка? Чем их больше, тем считать дольше... Глазки — как у барашка. С ума сойти.

— Глазки, глазки...— сердился Коська.— Ты скажи, повезет или нет?

— Повезет, малютка. Под Юпитером непременная удача во всех делах. Особенно нам, деушкам.

— Ну вот! А я чего говорил? Пошли — не боись!

И они побежали к фортунке.

— Держи копейку! Ставь! Чем крепше нервы, чем ближе цель. Двугривенный оправдаем — и пламенный привет!

Вертушка закрутилась. Цветные дольки стушевались в сплошной белый круг. Упруго загудело по гвоздочкам гусиное перышко.

Славик проиграл, а Коська выиграл.

— Чем крепше нервы, чем ближе цель! — сказал он победоносно.

Поставили еще по копейке, и проиграли оба. Коську это не смутило, и они проиграли еще раз. После этого выиграл пятачок Славик. Из мелких денег осталась одна копеечка. Коська поставил на тройку и выиграл.

— Чего жмешься, хозяин? — усмехнулся инвалид.— Фарт идет, ставь больше.

И звякнул по столу красивой, как медаль, серебряной полтиной.

Славик ткнул приятеля в бок изо всей силы. Но Коська ничего не почувствовал, поставил гривенник и проиграл. Поставил второй гривенник и проиграл тоже.

И только когда остался один гривенник, два пятака

да несколько копеечек, ему померещились безжалостные глаза Таракана, и он опомнился.

— Что ты наделал! — сказал Славик, когда они отошли.

— А чего я наделал? — Пот лил с Коськи градом.— Я хоть два раза выиграл... А ты все просадил...

— Я не хотел...

— Не хотел? А кто говорил: Козырь здесь — айда сыграем. Я или ты?

— Так ты же сам проигрался!

— Потому что один играл! Вдвоем бы ставили — кто-нибудь бы и выиграл. Я-то выиграл. Мне фарт шел. А ты струсил.

— Нет, не струсил. Я тоже, к твоему сведению, выиграл. Я, если ты хочешь знать, в тот раз твердо знал, что выиграю. Я номер заметил, который выигрывает.

— Так чего же ты копейку ставил? Поставил бы двугривенный, взял бы рубль. Чудило! Знает, что выиграет, а ставит копейку. Все Таракану скажу.

— Какой ты смешной, Костя. Деньги же у тебя. Как же я могу поставить двугривенный, когда ты дал копеечку?

— А ты просил?

— Чего просить. Ты все равно бы не дал.

— Я бы? Не дал? Вон ты какой ловкий! Да хоть сейчас бери! Хочешь ставить?

— Я не про то...

— Нет, ты скажи, хочешь ставить? Ты не виляй. Ты скажи — хочешь ставить или нет?

— Хочу,— проговорил сбитый с толку Славик.

— Ну и ставь. Вот тебе все деньги. И копеечки и пятаки. И прощайте, ласковые взоры.

Коська пересыпал ему в руки липкие монеты и облегченно вздохнул.

Славик бросил копеечку на тройку и выиграл. Сперва он подумал, что случилась ошибка, но хозяин без спора вручил ему пять копеек.

Он поставил еще копейку и снова выиграл. Ладони его взмокли.

— Надо на тройку ставить,— зашептал он, хрустя башмачками по семечным оплевкам.— Тройка самая верная цифра. Ты тоже на тройке выигрывал... Ты, может, забыл, а я помню... Подожди, Костя. Ты подожди... Сейчас поставлю гривенник... И двадцать поставлю...

— Гляди,— сказал Костя.— Сам будешь отвечать.

— Конечно, сам. А кто — ты, что ли.

— Сам будешь отвечать. А я ничего не знаю.

— Сейчас, сейчас... Подожди, Костя... Главное, Костя, не торопись.

Славик приготовил гривенник и два пятака, но решил переждать. Прошло пять конов, а его заветная тройка ни разу не выпадала. Понятно. Раз Славик не ставит, значит, она и не выпадает. Очень просто. Тройка его дожидается. Стоит положить на зеленый квадратик гривенник и два пятака — инвалид отсчитает рубль, и Таракан поймет, что Славик хоть и «клин-башка», а не хуже других.

Вертушка закрутилась.

Все вокруг стало казаться Славику далеким-далеким, как будто он сидел на небе и видел глубоко внизу разграфленный на клетки стол, Коську, себя самого и Козыря.

Он хотел посоветовать своему двойнику быть осторожней. Но вертушка замедляла ход. И когда ей оставалось оборота два-три, не больше, когда ясно обозначились разноцветные дольки, Славик почуял, что гусиное перышко сейчас покажет на тройку. Послышался голос: «Ставок больше нет!», и в этот миг Славик бросил на кон гривенник и два пятака.

Вертушка равнодушно остановилась. Вышла четверка.

Волосатая рука смахнула деньги, как мусор.

Славик беспомощно оглянулся.

— Ничего не знаю,— сказал Коська сурово.

Славик стоял белый как мел.

— Отдай! — услышал он вдруг свой противно скрипучий голос.

— Чего отдай? — удивился инвалид.— А ну, топай отсюда! Тоже мне банкир с капиталом.

— Отдай! Отдай сейчас же!— Славика трясло.— Я тебе что говорю! Ты сказал — ставок нет, а я кинул!

Инвалид лизнул большой палец и поднес к самому носу Славика крупнокалиберный шиш.

— Отдай! — кричал Славик.— Я маме скажу!

Собралась толпа. Смеялись.

— Это не мои деньги. Это мамины!

— Пущай она и приходит. За двугривенный сговоримся.

Славик отошел, попытался сосчитать оставшиеся копейки, но не смог — тряслись руки. Пришлось счи-

тать Коське. От всей выручки осталось десять копеек, две полкопейки да царский двугривенный.

— Как же так? — проговорил Славик, постепенно приходя в себя.— Ведь попугай нагадал счастье...

— Попугай тоже научился мухлевать не хуже людей,— мрачно сказал Коська.— Ох и накостыляет тебе Таракан!

Они почему-то пошли не домой, а к каруселям, и Славик, словно в тумане, смотрел, как веселый Петрушка, неловко обняв дубинку, лупил буржуя. Потом они бесцельно шатались по базару и несколько раз принимались считать оставшиеся монетки. Но ни разу больше одиннадцати копеек не получалось.

Являться к Таракану с такой жалкой выручкой было немыслимо. Поэтому ребята купили шоколадного мороженого. И Славик, несмотря на все треволнения, заметил, что на обеих вафлях вытиснено красивое имя «Таня».

Расплатившись за мороженое, Коська увидел в толпе рыжую Митину голову. Где-то недалеко был и Таракан.

Коська испугался и запихал всю порцию в рот вместе с вафлями.

Таракан заметил их издали, повернул к ним. Проходящие мимо люди то закрывали, то открывали его.

— Ну, молодцы,— спросил Таракан весело,— сколько?

Славик оцепенел. Коська заглатывал мороженое.

— Небось не больше нашего,— похвастался Митя.

Коська сделал дурацкое лицо и объявил:

— Мы шестьдесят девять копеек выручили.

— И то клево! — проговорил Таракан благодушно.— А у нас рубль и еще шесть копеек. Значит, всего сколько?

— Рубль семьдесят,— сказал Митя.

— Рубль семьдесят. Да тот рубль. Два семьдесят.

— За два семьдесят Самсон Зорьку отдаст,— сказал Коська.

— Он за два отдаст. Ну давай,— Таракан протянул руку.

— Чего давай? — спросил Коська.

— Глухой, что ли? Деньги давай. Шестьдесят девять копеек.

— А у меня нету.

— Чего нету?

— Шестьдесят девять копеек.

— А где они? У тебя, Огурец?

— А у него тоже нет. Он их просадил. На фортунке.

Таракан нахмурился.

— Кончай придуривать. У кого выручка?

— Я хотел... Я хотел...— начал Славик.— Я башмачки продам...

Таракан уставился на него ледяным взглядом.

— Он хотел царский двугривенный оправдать,— объяснил Коська, отступая за Митину спину.

— Какой царский?

— Ему заместо нашего царский двугривенный дали.

Полную минуту, наверное, смотрел Таракан на Славика.

— Ну, чего с тобой делать? — спросил он наконец.

Славик подошел к нему вплотную. Он попытался что-то сказать, но не мог. Горло его свела судорога.

— Так вот, господин хороший,— процедил Таракан сквозь зубы.— Чтобы к завтрему деньги были. Рой землю носом, а шестьдесят девять копеек представь. Не представишь — плохо будет. Пошли.

Ребята отправились домой в торжественном молчании.

Славик плелся один, далеко сзади. Лицо его фарфорово белело в пыльном тумане, и мороженое ползло по пальцам и капало на землю.

14

Чем глубже познается мир, тем трудней выбрать наилучшее решение житейского обстоятельства. Отягченный наукой опыт предлагает множество заманчивых, взаимоисключающих возможностей. Славик не имел опыта и проучился в школе только три года. Из положения, в котором он очутился, для него существовал единственный выход: украсть деньги у мамы.

Выполнить это предприятие было несложно,— после пикника мама чувствовала себя плохо и целый день дремала в кабинете на папином диване.

Славик заглянул в кабинет.

Ридикюль, из которого нужно было вынуть шестьдесят девять копеек, висел на спинке стула.

На стуле лежали аптечные коробочки с облатками.

Славик на цыпочках подошел к ридикюлю и спросил шепотом:

— Мама, ты спишь?

— Нет, милый,— она открыла глаза и подняла обмотанную полотенцем голову.— Чего тебе?

— Ничего.

Славик сел за письменный стол и стал ждать. Когда мама болела, она всегда в конце концов засыпала.

Прошло минут десять. Мама спросила:

— Чего ты на меня вылупился?

— Ничего,— сказал Славик благонамеренным тоном.— Ты спи.

— Пошел бы подышал воздухом.

— Хорошо. Я пойду, а ты спи.

Прошло еще минут пять. В столовой громко стукнула дверь. Славик догадался — вошел Митя. Митя всегда распахивал дверь настежь, будто вел за собой верблюда.

Славик вышел в столовую. Его сосед был вымыт, причесан. На ногах у него были сандалии, а на шее висел глаженый, еще теплый пионерский галстук.

— Дома есть кто? — спросил он таинственно.

— Мама больная. Нюра на кухне.

— Выйди в коридор.

Славик вышел.

— Слушай: бумагу, которая осталась от подвала, листочки с печатями, бланки, в общем, всю мелочь, которую не купят, я спрятал в ванной. Запихал в колонку. В топку. Понятно? Нюра уйдет — подожги. А то найдут. Засыплемся.

— Ну и пускай находят. Подумаешь, бумажки!

— Какой ты все-таки блажной! — мягко попрекнул его Митя.— Ты понимаешь, что сотворил?

— Нет. А что?

— Ты сотворил ограбление со взломом. За такие дела засуживают.

— Но ведь не я один...— У Славика пересохло в горле.— И Таракан тоже.

— Таракан в подвал не лазил. Лазил ты, и больше никто... Подгадай, когда никого дома не будет, открой конфорку и подожги. Бумагу сожги, золу выгреби.

— А ты?

— Мне некогда. Я на сбор.

— На сбор?! — воскликнул Славик.— И я с тобой! Мне одиннадцать лет! Меня вожатая обещала в пионеры взять.

Митя поглядел на него с сожалением.

— А ты ей сказал, кто твой отец?

— Она не спрашивала.

— Ну вот и сиди дома. Тебя не примут.

— Почему?

— У пионера должно быть пролетарское происхождение. А у тебя отец кто? Спец у тебя отец. Инженер... У инженера пролетарского происхождения нету.

— Нет, есть,— сказал Славик упавшим голосом.

— Нету. Чего я, не знаю, что ли? Ну, пока. Бумагу сожги, золу выгреби.

Вид поникшего Славика тронул Митю. Подумав немного, он обещал помалкивать, что отец Славика инженер и что сам Славик совершил ограбление со взломом.

Славик благодарно пожал его руку, и оба приятеля отправились на пионерский сбор.

Когда они подошли к клубу, в ребячьем шуме, доносившемся из окон, Славик явственно различил хрипловатый голос вожатой. Ладони его взмокли. Он заторопился, но Митя потащил его не в зал, а в закуток, под лестницу. Там, в черном чуланчике, среди ведер, метелок и лопат, сидели на корточках пять пионеров. Они осторожно передавали друг другу папиросу и затягивались. Митя тоже устроился на корточках и стал ждать очереди. Во время курения царило молчание. Только лопоухий мальчик по имени Семка сказал: «А я могу пускать дым из одной ноздри»,— и действительно выпустил. Митя сделал затяжку, протянул папироску Славику.

— Хочешь?

Славик постеснялся отказаться. Он хлебнул в горло острый дым, и глаза его залило слезами.

— Чего? — спросил Семка.— Подавился?

— У него сегодня коклюш,— сказал Митя.— А так-то он довольно мировой пацан. Свой в доску.

Славик выбежал на крыльцо, прокашлялся и подышал быстро, чтобы выдуть изо рта липкий запах дыма. Потом вытер глаза и вошел в клуб.

Кутерьма и крик, мелькание белых блузок и красных галстуков ошеломили его. В просторном зале между сдвинутыми к окнам шестериками стульев веселились человек пятьдесят мальчишек и девчонок. То тут, то там мелькала рыжая голова Мити. Славик долго озирался по сторонам. Наконец он увидел Таню и понял, почему не мог ее так долго найти. На ней была белая блузка, заправлен-

ная, как у пионерки, в черные короткие шаровары, и красный галстук, повязанный на голую шею. И голые ноги у нее были пионерские — сильные, голенастые, как у страуса.

Славик увидел, как Митя подошел к ней что-то спросить, но она стоя читала газету и отстранила его рукой, не отрывая глаз от статьи. Славик решил не мешать вожатой и подошел к стайке девочек, которые вырезали из «Красной нивы» картинки — готовили стенгазету. Среди девочек оказалась Соня, но тем не менее его погнали, потому что по правилу стенгазета делается в секрете. Славик нерешительно приблизился к мальчишкам, которые перетягивали канат, но его и оттуда погнали. У них происходило соревнование между звеньями на какую-то звездочку.

Славик одиноко слонялся среди горластых ребят, посмотрел, как большие мальчики выжимают тяжелую гирю, но Таню не упускал из виду ни на секунду.

Повеселевший Митька проскакал к гире. Славик собрался подойти к вожатой, но она уже заметила его и захлопала в ладоши.

— Ребята, дайте тишину! — сказала она.

Славик был уверен, что тишина по ее повелению наступит немедленно. Но никто не послушался, а у каната завопили еще громче.

Она вышла на середину и сказала тихо, как будто была дома, в своей комнате, а не в большом клубном зале.

— Ребята! Знаете, что случилось? Американские буржуи казнили на электрическом стуле Сакко и Ванцетти.

Вокруг нее стало тихо. Мальчишки у каната повизжали немного, но и они притихли, удивленные всеобщим безмолвием.

— В газете написано: губернатор Фуллер утвердил смертный приговор,— продолжала Таня,— и два невинных рабочих бессовестно уничтожены на глазах всего мира.

Ребята смотрели на Таню с испугом.

— А какие это были люди! Вот слушайте, что сказал Ванцетти судье перед казнью... Вот слушайте.

И она начала читать:

— *«Это наш успех и наш триумф.*

Никогда во всю нашу жизнь мы не могли надеяться

сделать так много во имя терпимости, справедливости, во имя взаимопонимания людей, как сделали теперь...»

Она закашляла и не могла читать дальше.

Пионеры молчали.

— Вы правы, товарищи! — крикнула вдруг Таня, будто и Сакко и Ванцетти могли ее слышать.— Ваша смерть не пройдет напрасно! В память о вас мы еще теснеи сплотим наши ряды, еще теснеи сплотим ряды МОПРа!

Она оглянулась, вынесла на середину стул и крикнула как будто даже со злобой:

— Славик!

Славик подошел. Лицо вожатой горело.

— Становись на стул! — велела она.

Славик встал на сиденье.

— Расправой над американскими рабочими нас не запугать! — сказала вожатая.— Новые тысячи трудящихся вольются в партийные ячейки и в комсомол, новые тысячи ребят придут в пионерские отряды. А это означает, что мы обязательно победим, победим в мировом масштабе!.. Вот к нам пришел мальчик. Его звать Славик. Он хочет быть в наших рядах, он хочет вместе с нами стать достойной сменой наших отцов и братьев.

Десятки серьезных мальчишеских и девчачьих лиц плыли перед ним, как будто он стоял не на стуле, а на набирающей ход карусели. В ушах звенело. Ему показалось, что сейчас обязательно кто-нибудь скажет: «Клинбашка — поперек доска».

— Как вы считаете, примем Славика в нашу дружную пионерскую семью? — спросила Таня.

— Примем! — согласным хором прокричали ребята.

Вот и наступил несбыточный, невозможный день. Вот и становится наконец маленький Огурец частью большого, доброго целого. Вот и сбывается его самая заветная мечта, за которую он готов отдать что угодно,— мечта БЫТЬ КАК ВСЕ.

— Как вы считаете, ребята, будет Славик исполнять заповеди юного пионера? — спросила Таня.

— Будет! — прогудели ребята.

У Славика защипало в носу. Счастье, переполнявшее его душу, было так сильно, что становилось похоже на боль. Он едва удержался, чтобы не крикнуть, что будет самым послушным, самым смелым пионером в отряде и всегда, когда только можно, будет говорить правду.

— Как вы, ребята, считаете, сможет ли Славик вырасти таким же беззаветным борцом за дело трудящихся, какими были Сакко и Ванцетти?

— Сможет! — закричали пионеры.

— Хорошо.— Она обернулась к Славику.— А теперь скажи, что ты умеешь делать.

— Я умею...— Славик облизал губы,— я умею играть на рояле Ганон и гаммы...— Он почувствовал, что это сейчас не к месту, но продолжал: — И еще «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Хорошо. А еще что?

— Рисовать взятие Зимнего дворца!

— Громче!

— Рисовать взятие Зимнего дворца!

— Очень хорошо. В нашей стенгазете ты будешь... Ну-ка, ну-ка, нагнись.— Она наклонила его голову.— Ты что, куришь?

Карусель снова закрутилась.

— Да! — сказал Славик самоотверженно.— И еще... я хотел утащить у мамы шестьдесят девять копеек... Но больше этого никогда не повторится. И еще... Я должен признаться, что в подвале...— он хотел подробно покаяться, что совершил кражу со взломом, воровал бумагу, но ребята вдруг зашумели, захлопали в ладоши, и голос его потонул в общем шуме.

В первый момент у Славика мелькнула мысль, что шум вызван его отважным признанием, но вскоре стало ясно, что причиной оживления является невзрачный молодой человек нерусской национальности, незаметно появившийся в зале.

Молодой человек был чрезвычайно худ, у него были розовые, без ресниц, веки и голова, похожая на перевернутую грушу.

Он тихо улыбался и потирал сухие руки так, как это делают застенчивые люди, входя в столовую.

— Яша пришел! — говорили друг другу ребята.— Яша... Яша...

— Слышали? — спросил Яша, печально потирая руки.

Все поняли, что он спрашивает про Сакко и Ванцетти, и сказали, что слышали, кто тихо, кто громко...

— Ну что же...— продолжал он.— Тяжело, конечно, но предаваться унынию не стоит. Историю не остановить ни подлыми убийствами, ни грязной ложью. История движется своей мерной поступью по законам, открытым Кар-

лом Марксом... Старшие товарищи помнят, какой белый террор развязал в нашем городе походный атаман Дутов. Уже совершилась Октябрьская революция, уже в Москве и в Петрограде реяли кумачовые стяги, а у нас хозяйничали белогвардейцы, наводили ужас и ликвидировали трудящихся без суда и следствия. С семи часов начинался жуткий комендантский час. И что — помогло это им? Нет, не помогло. Не помогло потому, что народ есть народ... Одни уходили в Красную гвардию, другие бежали в степь, в киргизские юрты... В дополнение к этому машинисты нашего железнодорожного узла не особенно желали возить казаков на фронт. Ну подумайте сами: зачем пожилому машинисту везти белых казаков на фронт? Сын этого машиниста сражается за мировую революцию, а папа повезет толпу казаков, чтобы они рубили этого сына на две половинки? Зачем это ему надо?

Он поднялся на сцену и продолжал:

— Сейчас я вам скажу такое, что вы будете смеяться. В тот год по Артиллерийской улице вели седого машиниста. Его вели два казака. Они ехали на лошадях, с шашками наголо. А он шел между ними и плакал, буквально как будто его вели на ликвидацию. А что они с него хотели? Они хотели, чтобы он вел поезд с казаками, и только. Один машинист, абсолютно беспартийный старичок,— так тот всю ночь простоял босой на снегу, навлекая на себя воспаление легких. Сейчас он служит в главных мастерских, в вагоноколесном цехе. Случаем, будете в мастерских, можете зайти до него на немножечко. Только не подходите все вместе, а то он испугается. А то еще была история: летит без остановки эшелон, а белоказаки машут руками из теплушек и орут, как зарезанные гусаки, и всем становится ясно, что машинист и кочегар спрыгнули на ходу, и поезд идет по своему усмотрению... Но, увы, в то время, как сознательные товарищи отказывались развозить белых по фронтам, машинисты и кочегары не чисто пролетарского происхождения продавались белым за дрова и свиное сало...

На этом месте своего рассказа Яша достал из кармана кусок хлеба и стал жевать. Но никто даже не улыбнулся.

— Вы, товарищи, знаете, как называют таких типов? — спросил Яша.— Ну? Штрейк...

Ребята молчали.

— ...бре! — не терял надежды Яша.

Ребята молчали.

— хе-е... Неужели не знаете? Вот так номер!

— Ры,— подсказала Таня.

— Ры-ы! — радостно закричали пионеры.

— Ну конечно! Штрейкбрехеры! И вот в один прекрасный день, товарищи, утречком, на столбике у депо, все видят,— приклеена записка: «Машинист Чуркин продался белым. Сторговался везти казаков. Отправка эшелона шестого января, восемь утра». А в конце — подпись: «Телеграфист Ять». Написано грамотно, пером рондо и довольно чистым почерком. Кто писал? Неизвестно. В рассказе у Чехова, как вам уже известно, выведен телеграфист по фамилии Ять, но это, конечно, был совершенно другой телеграфист. И вот, представляете себе, рабочие депо и службы тяги получают такое известие. Они надевают на себя кто что и зимой, по бурану и по морозу, идут туда, где проживает этот Чуркин. Они идут, чтобы убедиться своими глазами: или это Чуркин, или это Иуда. Идут старики, у которых Комитет спасения ликвидировал сыновей, идут вдовы с детьми, у которых не осталось ничего, кроме аппетита,— и ждут, когда этот мерзавец прожует сало и выйдет из своего теплого дома.

А теперь я вам скажу такое, что вы ахнете. Зверь такой у нас был — комендант Барановский. Ему доложили: «Так и так, скопление публики и записка». Что там себе подумал комендант Барановский, я не знаю. Наверное, он подумал: «Вот так номер!» — приказал разогнать народ и разыскать в двадцать четыре часа телеграфиста, который скрывается под псевдонимом Ять. Начали хватать кого попало. И тех, которые пишут пером рондо, и тех, которые пишут другими перьями. Устроили форменный белый террор. В городе стоял стон — и в Форштадте и в новой Слободке... И что вы себе думаете? Через два дня вторично на столбике, около депо, записка. И вдобавок вторая такая же записка висит возле водокачки. Записка, которая висела возле водокачки, теперь находится у меня. Теперь, когда прошло столько лет, это уже не простая записка, а реликвия революции, и руками трогать ее не дам, за что заранее прошу извинения. Но издали покажу.

Яша сунул обе руки в карманы и внезапно замер. И все подумали то же, что подумал и он: «А что, если записка потерялась?» От одной этой мысли глаза его сделались круглыми. Тощие руки стали метаться по карма-

нам, на пол посыпались мятые бумажки. Карманов оказалось множество: и в коротких Яшиных брючках, и в потрепанном пиджачке с торчащей петелькой. Яша кидался на бумажки, подносил их к близоруким глазам, перечитывал и совал куда попало. Один клочок, видно, похожий на пропавшую записку, как будто нарочно дразнил его, оказывался во всех карманах, все время совался в руки и довел его до полного отчаяния.

Позже Славику стало известно, что Яша служил в музее имени Пугачева и проводил там все время, с утра до ночи, а иногда и ночевал в отделе феодализма и капитализма в карете. Свои деньги он тратил на окантовку и реставрацию старых газет, листовок, документов и фотографий. В свободное время он бегал по городу, копался в архивах, разыскивал семьи погибших коммунистов и удивлялся, как люди не могут понять, какую баснословную ценность будут представлять буденновский шлем или доплатная марка с надпечаткой через каких-нибудь сто лет. Он был человек, как говорится, не от мира сего. Казалось, он по собственному желанию явился из счастливого будущего века, чтобы гоняться за реликвиями революции...

Яша просиял. Записка нашлась.

— И вот что написано в этой записке: «Машинист Громов продался белым. Договорился везти казаков 9 января в 12 часов по местному времени». И опять же таки подписано пером рондо: «Телеграфист Ять».

Комендант Барановский хватается за наган, ставит на каждом углу патрули, обещает крупную награду за телеграфиста.

А записка сделала свое дело: штрейкбрехеры боятся публичности, и уговорить их встать за регулятор становится совсем невозможно.

Наконец-таки поймали этого телеграфиста. Поймали прямо на станции, в буфете. Как и следовало ожидать, это был никакой не телеграфист, а высокого роста человек лет тридцати на внешний вид, по национальности латыш, с усиками. Посадили его временно в кладовку при буфете, в помещение для кондукторских бригад, заперли на задвижку, приставили часового. А когда прискакал Барановский, его не оказалось... Исчез при загадочных обстоятельствах...

Яша молча походил по сцене, словно разыскивая что-то, потом спросил:

— Какой мы из этого случая должны сделать вывод для себя, товарищи? Мы для себя должны сделать два вывода: никогда, даже в самые тяжелые дни, большевики не были одинокими, они всегда чувствовали поддержку народа. Активных коммунистов тогда было куда меньше, чем теперь, но партия побеждала и тогда, потому что большевики жили надеждами и помыслами трудового народа. Поэтому нашу партию всегда поддерживал трудовой народ, поддерживал и явно и тайно. И когда большевик попал в беду, простые люди помогли ему убежать. Это первый вывод. А второй? — Яша осмотрел зал и вдруг воскликнул неожиданно высоким тенором: — А второй вывод заключается в том, что латыш боролся за наше счастье так же беззаветно, как боролись итальянцы Сакко и Ванцетти, и что в борьбе за свободу трудящихся не существует ни наций, ни границ, ни расстояний!

Домой Славик вернулся усталый и разбитый. Маме он сказал, что хотел своровать у нее шестьдесят девять копеек, что его приняли в пионерский отряд, а когда он вырастет — поедет в Америку и будет писать листовки пером рондо. Больше она ничего от него не могла добиться.

Он долго сидел на стуле, устремив взор в одну точку, а Лия Акимовна прикладывала к его лбу руку с холодными кольцами на пальце и качала головой.

15

Утром его разбудило солнце. Он открыл глаза и зажмурился. Комната была залита таким ярким светом, что казалось, солнышко спустилось с неба и повисло прямо тут, у карниза. Сквозь задернутые занавески пробивались граненые лучи, плавились на крашеном полу, и на одном из зыбких солнечных квадратов сидела кошка.

Славик закрылся с головой и попробовал заснуть, чтобы досмотреть интересный сон.

Сон был про Таню. Пионервожатая приснилась такой, какой была на сборе,— в белой блузке и в шароварах. Только она была не на сборе, а где-то в пустой степи, и в этой степи рядами, как в клубе, стояли стулья, и на стульях сидели зрители. Они смотрели на Таню и ждали, когда она станет выступать. Среди зрителей Славик увидел

кучерявого продавца кваса, бывшего Кулибина-сына, инвалида с фортункой... Все они сидели и ждали. А Таня ходила по степи и ничего не делала, и Славик знал, что она все забыла и не знает, что представлять. Постепенно зрители стали смеяться: и Кулибин-сын, и инвалид, и все прочие. Они смеялись над Таней, а она не знала, что делать, и ломала пальцы. И тогда Славик подошел к ней и стал при всех говорить, как ее любит, и все замолчали, как будто началась пьеса... Таня благодарно улыбнулась, взяла его за руку и сказала: «Посмотри-ка, кто идет...» Славик оглянулся и увидел, что зрители и стулья исчезли, и что они одни с Таней в безбрежной степи, и в небесах клубятся первобытные бурые дымы, и к ним медленно направляется громадный динозавр...

На этом месте Славик проснулся. Он еще благодушествовал в постели, когда зашел Коська и сообщил, что Таракан требует деньги — шестьдесят девять копеек плюс тридцать одну копейку штрафа.

Славик пообещал вынести деньги в половине одиннадцатого и отвернулся. Коська посмотрел на него, как на усопшего, покачал головой и ушел.

Откуда возьмутся деньги и почему именно в половине одиннадцатого, Славик вряд ли мог объяснить. Ему было не до этого. Ему хотелось спасать Таню.

После завтрака, когда часы пробили десять, он вспомнил о Таракане и, чтобы перебить охватившее его беспокойство, сел за рояль играть гаммы.

Тем не менее стрелка часов приближалась к половине одиннадцатого. Дома, кроме Нюры, никого не было. Славик пошел в кабинет и, стараясь отвлечься, стал копаться в книгах. Среди пыльного старья ему попалась небольшая книжка под названием «Анатэма».

Перелистывая никому не нужную книжку, Славик увидел, что это пьеса, и в голове его промелькнула мысль, что было бы хорошо подарить ее Тане. Таня занимается в драмкружке, ей нужно представлять. Но самое главное, он может увидеть ее, говорить с ней, и не во сне, а на самом деле.

От Мити было известно, что Таня работает в том же управлении, что и папа, на первом этаже, в экспедиции. Ходьбы до управления было минут двадцать, но в полдень Таня могла уйти обедать. Славик сунул книжку за пазуху и выскочил на улицу.

За два часа погода изменилась. Крадучись прибли-

жалась гроза. Сильный ветер завивал острую, горькую, как махорка, пыль, выворачивал наизнанку ветки деревьев, пугал всклокоченных воробьев, катил по асфальту кепки. За монастырским садиком нервно вспыхивали зеленые сполохи, освещая серое, как зола, брюхо плоской, низко и тяжело наплывающей на город сплошной тучи, и нетерпеливо, раньше времени погромыхивал гром.

Люди бежали кто куда, в разные стороны, будто играли в пятнашки.

Славик не боялся грозы, но он не мог допустить, чтобы промокла книжка. И когда туча загородила солнце, и наступили среди дня сумерки, и панель все гуще и гуще стала покрываться черными крапинками, когда совсем близко, за забором, треснул гром, Славик по примеру взрослых бросился в первый попавшийся подъезд.

Он пробрался поглубже, прислонился к стенке, облегченно вздохнул и, оглянувшись, увидел совсем рядом с собой Таракана.

Таракан тихо беседовал с долговязым, довольно взрослым парнем. Парень, со странно искривленным, как в самоваре, лицом, украдкой показывал что-то, чего не было видно.

У Славика все поплыло перед глазами: и старуха, которая беспрестанно крестилась, и мужчина сурового вида с портфелем, поглядывавший на часы. Мужчина мог бы заступиться. Но лучше, пожалуй, пока Таракан не заметил, бежать.

В небе судорожно сверкнуло, прямоугольник двери озарился зеленым светом, в подъезде на миг вспыхнула электрическая лампочка, а на улице треснуло так оглушительно, словно какой-то великан переломил через колено штук десять двухдюймовых досок. Мутный, белый ливень обвалился на город, выплясывая на железных крышах и мостовых и срезая афиши с заборов.

— А, Огурец! — сказал Таракан спокойно.— Ты чего тут? Денежки принес? Чего это у тебя за пазухой?

— Пьеса,— сказал Славик мерзко заискивающим голосом.

Таракан взял книжку и, перелистывая ее сзаду наперед, поинтересовался:

— К тебе Коська заходил?

— Заходил.

— Ты чего ему обещал?

Славик промолчал.

— Значит, таким макаром,— подытожил Таракан.— Голубя упустил, деньги продул на фортунке, вдобавок людей обманываешь. Мы с приезжим гражданином полчаса ждали. Думали, ты хозяин своему слову.— Он покачал головой, словно стыдясь, что у него такие ненадежные приятели.— Кто обещался в пол-одиннадцатого выйти?

Шум ливня стал стихать. Гром бурчал недовольно, словно его тащили, а он упирался. Гроза уходила так же внезапно, как пришла. Мужчина с портфелем высунулся два раза и, наконец решившись, пошел по своим делам. Отправилась восвояси и старуха. Славик хотел выскользнуть вслед за ней, но Таракан схватил его за руку.

— Куда же ты? Дождик, а ты бежишь.

— Я думал, что дождь кончился.

— Как же кончился, когда ты деньги не вернул. Вернешь — тогда кончится.

— У меня нет,— потупился Славик.

— Как это нет? Ты Коське обещал? Выходит, считать голословным?

Славик молчал. В темном подъезде их было трое. Все остальные ушли.

— Ну скажи, что с тобой делать?

— Я... я вам паровозик вынесу.

— На кой нам паровозик. Нам ехать некуда. Нам и тут хорошо,— он обернулся к приезжему.— Матроску возьмешь?

Приезжий кисло оглядел матроску, совершенно не интересуясь, на кого она надета, и возразил:

— Куда ее. Она рваная.

— Рваная?! — Таракан возмутился.— Где рваная? — Он повернул Славика, как будто это был не Славик, а манекен.— Новая совсем матроска. Из кооперации.

— Мне ее на день рождения подарили,— подтвердил Славик, обидевшись за свою матроску.

— А вот тут зашита,— показал приезжий.— Кабы новая, я бы взял. А так — нет.

— Да она ж новая!

— Не обижайся, не возьму. Поймать могут. С трусами вместе — давай. А так — нет.

— Ладно,— Таракан махнул рукой.— Бери с трусами. Долговязый вздохнул и стал щупать материал.

— Штаны не дам,— сказал Славик, бледнея.

— Берешь, что ли? — не обращая на него никакого внимания, спросил Таракан.

— С трусами.

— А я маме...— начал было Славик, но Таракан оборвал жестко:

— Скидай.

— Да ты что! Во-первых, мне к вожатой надо! Как же я безо всего... Я же пионер...

— Ладно трепаться. Скидай быстро!

— Не сниму... Я... Я кричать буду.

— Не скинешь? — Таракан удивился.— Как же не скинешь, когда я велю. Ну-ка, прикрой дверь.

Долговязый закрыл дверь на улицу. Таракан стал расстегивать пуговки на рукавах матроски. Славик стоял как бесчувственный. Что теперь будет, как он пойдет домой, он не понимал. Под матроской, кроме лифчика и ночной рубашки, ничего не было.

И в тот момент, когда пуговицы были расстегнуты и Таракан стал задирать матроску, когда Славику стало казаться, что все это, наверное, сон,— в этот момент появился человек, о котором можно было только мечтать.

В дверь сунулась скуластая голова милиционера.

— Кто тут смелый? — пошутил он.— У кого бумажка в наличии или ветошка?

Это был тот самый милиционер, который дежурил на базаре.

Долговязый струсил, а Таракан сказал спокойно:

— Ни у кого нету.

— Есть, есть! — закричал Славик.— Погодите!

Таракан поднял было кулак, но плотный, как чурачок, милиционер-спаситель, в полной форме, при нагане и шашке, с жетоном на левом кармане и в фуражке с лихим заломом, с ремнями вперехлест, вошел в подъезд.

Славик вырвал из пьесы два листика и, пока милиционер, ругая под нос непогоду, обтирал грязь с сапог, поправил задранную матроску и поспешно застегнул пуговицы.

— На базар, Андрей Макарыч? — спросил Таракан дружелюбно.— На пост?

— На дежурство,— строго поправил милиционер, обтирая голенище.

Все складывалось удачно, хотя Таракан и встал на пороге,— отрезать путь на улицу он теперь не посмеет. Как только милиционер дочистит сапоги, Славик выйдет

с ним и пойдет рядом до самого дома. А там останется только парадное, лестница на третий этаж, всего два марша... Там уж как-нибудь...

— Знаешь меня? — спросил милиционер Таракана, бросая грязную бумажку и принимая свежую.

— А как же! — отозвался Таракан.— Тебя весь базар знает. Не опоздаешь на пост-то?

— А ты не тыкай. Я с вами гусей не пас.— Милиционер выпрямился. Лицо его от долгого наклона сделалось красное, как железнодорожный фонарь.— Ты чей?

— С дома Добровольского.

— Мой участок.— Он пытался оглядеть задники сапог, но по причине плотной комплекции это ему плохо удавалось, и он чуть не упал.— Газеты читаешь? Надо газеты читать. Брошюры. А это чей? — кивнул он на приезжего.

— Так. Кореш,— пояснил Таракан туманно.— Не опоздаете, Андрей Макарыч? А то грабеж там или еще что. А вас нету.

— Какой может быть грабеж в дневное время суток? На моем участке и ночью не шалят. Даром что базар, а тихо. У меня небось не пошалишь. Мошенство — это да, не перевелось. По мелкой статье, по сто шестьдесят второй или шестьдесят второй,— это, конечно, бывает. Но это чепуха. В голодный год был грабитель — это да! Без расстегнутой кобуры к нему не подходи. А теперь народ сытый. Культурный. У во всех газеты. Теперь работать неинтересно... Ну, мне пора.

— И мне пора,— сказал Славик.

Опасливо косясь на Таракана, он вышел на улицу бок о бок с милиционером. Таракан не шелохнулся. Он словно задремал, полузакрыв глаза, и лицо его казалось окостеневшим.

Обновленная грозой, пахнущая надрезанным арбузом улица обращала к солнцу заплаканное, улыбающееся лицо. Серебряно цокали копыта, как живые, гудели автобусы, пасхально блестела травка. Мокрые, унизанные каплями телеграфные нити сверкали елочными бусами. От просыхающего пятнами асфальта поднимался теплый, прозрачный пар.

Славик, щурясь, огляделся вокруг и подумал, что его злоключения оканчиваются. Но Таракан нагнал их и пошел рядом. Слава богу, приезжий «кореш» отстал и матроска, пожалуй, не понадобится.

Они прошли квартал молча.

Славик вышагивал возле милиционера, как привязанный. И Таракан шел рядом со Славкой, тоже как привязанный.

Внезапно Таракан заговорил:

— А зачем тогда вам шашка, Андрей Макарыч, если никаких происшествий нету.

Славик почуял в этой фразе недоброе и насторожился.

— Так ведь не у во всех так...— объяснил милиционер.— У меня порядок, а в слободке, бывает, шалят. Прошлый год товарищ Васильцов медвежатника накрыл. Рисковал жизнью. И результат налицо: часы с фамилией, а сам — начальник отделения. Я на ногах, а он цельный день на стуле. А на шесть лет моложе меня.

— А если вы предъявите грабителя? — спросил Таракан, бросая на Славика непонятный взгляд.— Вас тоже на стул посадят?

Андрей Макарыч пошутил осторожно:

— Что за грабитель? Небось казанки украл?

Его должность требовала хитрости.

— Зачем казанки? Законный грабитель. Домушник. Открыл окно и унес документы.

Наконец-то стало ясно, в чем дело. У Славика зашумело в ушах, и некоторое время разговор доносился до него, как сквозь вату.

— Это не грабеж. Грабеж, когда с тебя шубу скидают. А в помещение лезут — ограбление...

— Он в помещение лез...

— Кто?..

— А сперва скажи, что ему будет...

— Смотря что взято...

— Я же тебе говорю, бумаги взяты. Секретные. Документы.

Андрей Макарович остановился.

— Это как же понять? В учреждение забрались?

До дома оставался один квартал. Уже было видно крыльцо. И на крыльце стояла Нюра с корзиной. Славика никто не задерживал. Он мог спасаться, но и он остановился тоже.

— Точно не знаю,— тянул Таракан, поглядывая на Славика.— Слыхал, беспризорники трепались... Если интересуетесь, уточню, кто да что.

— А как же! Уточни срочно. Секретные бумаги гра-

бить не шутка. Высшую меру может отхватить. Шестьдесят пятая статья.

— Да ты что! — удивился Таракан притворно.— Неужели расстреляют?

Славик выпучил глаза.

— А ты как думал? У во всех так, не только у нас. Документ, да еще секретный, кому нужен? Внешнему врагу. Агенту империализма. Больше никому.

— А если он шкет? — спросил Таракан, в упор глядя на Славика.— Лет одиннадцати.

— Не играет роли. Родители ответят. Строгая изоляция и поражение в правах.

Это было ужасно. Мысли метались в голове Славика, как муха в стакане. Ну хорошо, он преступник. Пускай. Но при чем тут папа и мама? Во-первых, Таракан тоже ходил... И ломал форточку... Пусть только попробует скажет... Пускай тогда и Митю и Коську... Да что Митя, Коська! Бумагу воровал Славик, а не они. Ну ладно. Еще посмотрим... Скажу — никуда не ходил, ничего не знаю. Пускай докажут... А что, и докажут. Позовут Таню, она и докажет. Она же вытаскивала его из приямка. Да! — Холодный пот прошиб Славика.— И Таню не надо! В ванной, в колонке остались бумаги. Ой-ой-ой! Может, их уже нашли... Ну все!.. Но он ведь еще маленький...

Возле дома Доливо-Добровольского давно висел запутавшийся в телеграфных проводах желтый змей. Славик взглянул вверх и увидел этот мокрый после грозы, жалкий, насквозь пробитый ливнем змей с бедным хвостом, украшенным бантиками. Тут только он понял, что подошел к дому. Милиционер был далеко. Таракан заворачивал в ворота.

— Таракан! — бросился за ним Славик.— А вот я скажу... Я скажу, что ты «перышко» носишь!

Таракан сонно взглянул на него и пошел домой.

16

Славик торопился и нервничал. В голове его билась единственная мысль: как можно быстрей сжечь краденые бумаги.

Дело было несложное. Ванна была самым безлюдным местом в квартире. Вода там не шла, лампочка перегорела. Иногда только Славик тайком забирался туда играть

в паровоз. Затворив дверь со стеклом, оклеенным желатиновой диафанией, он превращался сразу и в паровоз и в машиниста скорого поезда: как будто темная ночь, и буран, и ветер, и поезд летит со скоростью ласточки, и пассажиры, доверившись Славику, сладко спят на верхних и нижних полках. Какие это были приятные минуты! Славик шипел, гудел, постукивал на стыках, таинственный цветной паркетик двери масляно светился во мраке. Но приходила сердитая Нюра и выволакивала его из темноты и пыли.

На этот раз в ванной горел свет. Там разговаривали.

Затаив дыхание, Славик прокрался до конца коридора.

В ванной были папа и Роман Гаврилович.

Славик оторопел и заглянул в дверь.

Папа, растопырив ноги, стоял на выгнутых бортах ванны и, стараясь не выпачкаться, брезгливо рассматривал верх колонки.

Роман Гаврилович смотрел на него снизу и повторял:

— А вот увидишь. Тройник не виноват, а колонка виновата. Колонка виновата, согласен. А тройник — нет...

А папа отвечал:

— Чего ты мне доказываешь? Кто из нас инженер? Ты инженер или я инженер?

Дверка в топку была открыта. Мятые бумажки торчали оттуда, но на них, кажется, не обращали внимания.

— Если разморожены трубки, не легче,— говорил папа.— Придется менять колонку. А на это дело у нас с тобой капиталов не хватит... Надо бы проверить, крышку снять... Да не подступиться? Черт знает, сколько здесь барахла!

Рухляди действительно было много: и железная печурка с прогоревшим боком — ее смастерил Роман Гаврилович, когда не работало паровое отопление,— и струбцина, и дисковый переплетный нож с ручкой. (В начале двадцатых годов Славин папа на всякий случай учился переплетному ремеслу.) Тут же пылились обрывки маминых нот: «Я жду тебя», «Над озером быстрая чайка летит» и брошюра «Моя система для дам» с подзаголовком «Пятнадцать минут для здоровья и красоты». «Моей системой» мама особенно дорожила и выбросила ее только этим летом.

Валялось тут и барахло бывшего владельца дома, ста-

рика Доливо-Добровольского: крокетный молоток с двумя красными ободками на ручке и фарфоровая маркика без головы, но с золотым бубном. Когда-то она плясала под музыку пастушонка, который теперь в Коськином подвале играет неизвестно кому на золотой флейте...

— Можно, я бумажки вытащу,— начал, замирая от страха, Славик.

Но папа потянулся к крышке и свалил оленью голову с отломанным рогом.

— А, черт! — сквозь звон в ушах услышал Славик папин голос.— Напрасно ты затеял эту историю, Роман. Нужно брать за бока управдома. Пусть чинит.

— В квартире проживает инженер совместно с рабочим классом,— возразил Роман Гаврилович.— И мы пойдем жилищно-санитарному инспектору кланяться? Позор на всю Европу. Ну и барахолка! И куда ты это добро копишь, сосед!

— Мне тут ничего не нужно,— отвечал папа.— Я думал, твое имущество.

— Можно, я бумажки...— повторил Славик, но на него не обращали внимания.

— Вот здорово,— засмеялся Роман Гаврилович.— Пять лет живем, и никакого контакта! Клашка!

Вошла Клаша, опуская подоткнутую юбку.

— Слушай ударное задание! Все это барахло — во двор и на мусор. Собирай ребятишек на субботник, и все подчистую на двор! А то начальника службы пути коза забодала. И железяки все эти, и печку — все!

— Да ты что! — спокойно улыбнулась Клаша.— Это не шкалик. Хозяйственная вещь — печка. Этак прокидаешься.

— Да у ней дыра в боку!

— Дырку можно залатать, а печка всегда пригодится. В газетах стращают — война будет.

— И какая ты несознательная, Клашка! Погляди — Лия Акимовна. Уж какая мадам, а над барахлом не дрожит, как ты...

— Поехал,— Клаша нахмурилась.

— Ну ладно,— потерял терпенье Роман Гаврилович.— Пускай! Сядешь в ванну, а вокруг тебя бутылки поплывут. Пускай!

— Вы что? Неужели по правде наладите? И душ?

— А как же! Пустишь дождик — и стой под ним как прынцесса. И за баню не надо платить.

— Какая красота! У других во дворе ни у кого нет, а у нас — ванна. Даже совестно! Когда наладите, Иван Васильевич?

— Вынесешь барахло — в момент наладим! — пообещал Роман Гаврилович.

— Не шуми, Рома. Не тебя спрашивают.

— Дело в том, Клаша,— начал папа,— что колонка устроена по принципу паровозного котла. Внутри масса трубок. И надо определить, какие трубки разморожены, а какие нет. А это не так-то просто.

— Особенно без экспертизы профессора Пресса,— съязвил Роман Гаврилович.— Давай попробуем такую петрушку: зальем воду и подуем. Я стану дуть, а ты слушай, где забулькает.

— Башковитый у тебя мужичок, Клаша,— усмехнулся папа. Клаша зарделась, будто присвоила то, что ей не положено.

— По железному ремеслу только и башковитый,— стала она оправдываться.— А матрасу цены не понимает. Чего сперва — прибираться или воду носить?

— Вы, Клаша, носите воду, а я приберусь,— проговорил Славик отчаянно.

— Шел бы ты отсюда,— сказала она.— Перепачкаешься.

— Я... Я не перепачкаюсь... Я... только бумагу...

— Тебе что сказано? — строго сказал папа.

После этих слов полагалось уходить в детскую.

Но у Славика не было сил двинуться с места. Голова у него кружилась. Он не сводил глаз с топки. А Роман Гаврилович дул в дырки, и папа, уже не заботясь о рубашке, прильнул к железному кожуху и выслушивал колонку. Оба они вошли в азарт и забыли про Славика, потому что почти все трубки оказались целыми и только две протекали.

— А ты собрался управдому кланяться,— говорил Роман Гаврилович из-под потолка, заливая в колонку воду.

— Да разве он пойдет в домком, Иван Васильевич! — говорила Клаша, принимая пустое ведро.— У нас за полгода за квартиру не плачено!

— Вон в чем дело! — говорил папа.— А управдому придется все-таки поклониться. Трубок на полдюйма без него не достать.

— Ничего,— шумел Роман Гаврилович.— Свояк при-

несет. Знаешь небось Скавронова? Коли надо, не только трубки — паровоз с мастерских вынесет.

— Так я ему и позволю с ворованным приходить,— одернула мужа Клаша.— Гляди не выдумывай.

И полезла за бумагами в колонку.

— Не надо! — сказал Славик хрипло.

— Чего не надо? — обернулась Клаша.

— Бумагу... не надо... Во-первых, бутылки надо...

— Гляди-ка! Учить вздумал!

Она осторожно выгребла на пол мятые листочки. Вслед за мелкими казенными бумажками появились документы, написанные на обороте плакатов и афиш, обрывок какого-то письма.

— Вон бумага была — батист,— сказала Клаша.— Теперь и не бывает такой.

— Ну, барахольщица! — весело возмутился Роман Гаврилович.— Вся как есть с головы до пяток закидана родимыми пятнами.

— Постой, сынок... Рома! Погляди-ка, чего написано...

Роман Гаврилович балансировал на борту ванны. Читать в таком положении было неловко, но испуг Клаши удивил его и, придерживаясь за трубу, он взял листочек.

— Не забудь обозначить дефектные трубки,— предупредил его папа.— Заткни их чем-нибудь, что ли...

— Обожди с трубками... Знаешь, кто писал?

— Что там у тебя? — спросил папа.

— Кто? — спросила Клаша.

— Ихнее благородие Барановский.

— Не может быть!

— Конечно, не может быть! — замирая, сказал Славик.

— А погляди сам.

Роман Гаврилович спрыгнул на пол, разгладил на колене листок. Подпись Барановского была щеголевато выведена через всю страницу, строчки косо и немного вверх пересекали бумагу, между каждым словом белели широкие пропуски. Папа взял листок.

— Ну? — спросил Роман Гаврилович.

— Пожалуй, ты прав,— сказал папа.— Это конец письма. Господин Барановский пишет одной из своих куртизанок... Посмотри-ка, Клаша, там начала нет?

— Нет, больше ничего нет... Газета какая-то... «Комсомольская правда».

— Жаль. Довольно болтливый кавалер,— папа ухмыльнулся.

— А ну, почитай,— попросил Роман Гаврилович.

— Начала нет. А начинается так: «*...не изволите опасаться. Я, как и прежде, пекусь о Вашей безопасности. Дом вдовы Демидовой находится под неусыпным наблюдением и наш bête noire*[1] *будет взят, как только обнаружатся все его связи, значение и количество которых — есть основание подозревать — гораздо больше, чем мы с Вами полагали.*

К сему имею честь присовокупить, милостивая государыня, что Ваше очаровательное безрассудство явиться в комендатуру лично можно объяснить только недооценкой опасности, в которой оказался наш город, и бессмысленной ревностью. Еще раз хочу Вам напомнить a bout portant[2]*: дело спасения родины от большевистской заразы вы должны ставить выше личных отношений. Вы ни на минуту не должны забывать, что м-ль Мурашова влюблена в нашего господина по уши. Представляете, что бы было, если бы она увидела Вас в моей приемной? Рисковать доверием, которое Вы с таким трудом завоевали в шайке большевиков, по меньшей мере безрассудно.*

Неотложные депеши благоволите пересылать через посредство доктора Дриляля. Ему же вменено в долг оповещать Вас о всех чрезвычайностях и о моем поведении.

С совершенным почтением и преданностью
имею честь быть
Вашего превосходительства
покорнейший слуга
И. Барановский».

— Выражает почтение лесенкой,— сказал папа,— будто тайному советнику. Солдафонское остроумие.

Наступило молчание.

— И доктор какой-то чудной,— сказала Клаша.— Что это за фамилия — Дриляля?

— Очевидно, описка,— сказал папа.— Наверное, доктор Дриль. Или что-нибудь в этом роде.

— Твоя Лия Акимовна,— сказал папе Роман Гаврилович,— поминала про какого-то доктора.

---

[1] Чудовище.
[2] В упор.

— Это еще не означает, что письмо адресовано Лии Акимовне,— ответил папа резко.

— А я ничего не говорю. Может, оно от прежнего хозяина осталось?

— Чего ты уставился? — рассердился папа еще больше.— Почем я знаю?

— Хозяин был холостой,— возразила Клаша.

— Ну, не ему, так родне, может...— соображал Роман Гаврилович.— Письмо припрятано не где-нибудь, а здесь, в его бывших хоромах.

— Оно тут недавно,— сказала Клаша.

— А я думаю — давно.

— Недавно, Роман. Не больше двух месяцев.

— Вы все такие Пинкертоны, что беда! Какие могут быть месяцы, когда Барановского в девятнадцатом году расстреляли.

— А видишь кусок «Комсомольской правды»? — Клаша показала клочок газеты.— Сперва я листок вынула, а потом газету.

— Ну и что?

— А то, что газета за двадцать восьмое июня.

— Этого года?

— А какого же? В прошлом году ты секретарем не был, тебе газет не носили. Газета глубже запихана.

Загадка разгадывалась настолько быстро, что Славик не успевал ужасаться. Сейчас обнаружится, откуда выкрали бумагу, и узнают, кто совершил ограбление со взломом.

— Загадочная история! — пожал плечами папа.

— Чудно,— проговорил Роман Гаврилович.

Проверка трубок показала, что починить размороженную колонку довольно просто и недорого. Но злосчастный кусок письма сбил настроение Ивана Васильевича, охота к совместному труду с Романом Гавриловичем у него пропала, и жильцы коммунальной квартиры по-прежнему по субботам ходили в баню.

17

Славик второй день маялся дома. Деньги украсть он не сумел, и выходить во двор ему было заказано. Нельзя выходить во двор, нельзя лазить на крышу кормить голубей, ничего нельзя. Нужно сидеть дома и ждать, когда за ним придет милиция.

Утром он мотался по комнатам, мешал Нюре, толкался на кухне и наконец решил зайти к Мите.

Митя был занят. Он коленками стоял на стуле и рисовал красную конницу. На другой стороне стола Клаша гладила сахарно-белый халатик. Она служила в нарпитовской столовой. Наступало время идти на работу, а утюг остывал. Приходилось напирать на него обеими руками.

Разговаривать про голубятню при Клаше было нельзя. Славик подумал и спросил:

— Митя, ты не мог бы залезть в одно место?

— Чего я там не видел? — в свою очередь спросил Митя.

— Покормить надо.— Славик глянул на Клашу.— Сам знаешь кого. Они кушать хотят.

— А тебе что? — сказал Митя, раскрашивая лошадь карандашом белого цвета.— Не твои. Подохнут — не тебе хоронить.

Славик виновато умолк.

— Не надо было тебе сам знаешь что,— безжалостно продолжал Митя. Он пририсовал кавалеристу черные усы и, откинувшись, посмотрел, как получилось. Вокруг него валялись цветные карандаши, чернильная резинка и линейка с надписью: «Возьмешь без спроса — останешься без носа». С помощью линейки Митя рисовал казачьи пики.

— Не умеешь выигрывать, так и не лезь,— продолжал Митя.— Достал чего велели?

Славик понял, что речь идет о шестидесяти девяти копейках, и промолчал.

— Так я и знал. На двор не выходи — плохо будет,— предупредил Митя.— Мама, кто главней — Фрунзе или Буденный?

— Фрунзе.

— А тот раз сказала — Буденный!

— Кто их знает, сынок. Оба хорошие люди. Да ты не серчай, на картинке все равно не видать.

— Как не видать! Кто главней — впереди скачет! Вот принесу неуд, тогда тебе будет!..

— Чего это ты делаешь, Митя? — спросил Славик.

На лето было задано описать какое-нибудь событие из истории — две страницы сверху донизу — и нарисовать это событие на слоновой бумаге. Каникулы тянулись так долго, что Славик прочно забыл о школе и о том, что до начала ученья осталось всего два дня.

Он и Митя учились в одной группе. Им не повезло. Им досталась учительница по прозвищу Кура, самая вредная и упорная во всем городе.

Другие учителя отпускали ребят на каникулы без всяких заданий, а Кура велела рисовать картинки, собирать листья и писать про историю...

Другие учителя ставили только уд или неуд. А Кура выдумала пять отметок: уд с плюсом, просто уд, уд с минусом, неуд и даже неуд с минусом. Она писала отметки зелеными чернилами, и приходилось выискивать такие же чернила, чтобы незаметно переправлять минусы на плюсы.

Другие учителя задавали немного, а Кура любила напоминать, что отдых Карла Маркса состоял в том, что он решал алгебраические задачки.

Куру давно бы пора было выгнать из трудовой школы, но муж у нее был старый политкаторжанин, и ее терпели.

— Мама, а у Буденного сколько ромбов? — спросил Митя.

— Много, сынок.

— Сколько много? Мне же событие рисовать!

— Рисуй больше. Буденный герой, всех душегубов разогнал.— Клаша стала сильно размахивать утюгом — раскаливать угли.

— Больше, больше...— капризничал Митя.— Больше четырех ромбов не бывает... А у Фрунзе сколько?

— Почем я знаю? Я его сроду не видала. Отца дождись — спросишь.

Утюг раскалился, и она принялась доглаживать.

— А какое ты придумал историческое событие? — спросил Славик.

— Про Буденного,— коротко объявил Митя.

Выдумка Мити была удачной.

Первого мая папа взял его на демонстрацию. По хитрому папиному виду Митя понимал, что на этот раз ожидается что-то необыкновенное. Однако утаить надолго секрет папе не удалось. На улице повсюду говорили, что в город прибыл Буденный.

Все дальнейшее Митя запомнил навеки.

Митя стоял с отцом в толпе на огромной площади. Вокруг ярко белели пионерские блузы и панамы, знамена мерцали тяжелым золотом и пурпуром, жарко вспыхивали алые галстуки, в трех местах играли духовые оркестры.

Потный, взволнованный дяденька с красным бантом несколько раз напоминал, что по его сигналу все вместе должны кричать лозунг «Да здравствует советская конница!». Потом Митя услышал нарастающий гул и, высунувшись, увидел невысокого, коренастого кавалериста, быстро шагавшего вдоль толпы. И как только Митя увидел этого кавалериста ближе, увидел пышные усы и ромбы в петлицах, он забыл про лозунг, а в бессмысленном восторге стал кричать просто «а-а-а!», и вокруг него тоже стали кричать «а-а-а!» и хлопать в ладоши, и махать платками, и папа, и дяденька с красным бантом тоже кричали «а-а-а!». Буденный прошел рядом с Митей настолько близко, что Митя увидел веселые стрелки у его глаз — стрелки-морщинки, которых не было ни на одном портрете. Буденный широко улыбался и громко говорил что-то Мите, но голос его тонул в общем шуме, и казалось, он, как на киноэкране, беззвучно шевелит губами.

На другой день командарм гулял по бульвару, окруженный шагающими в ногу военными. За ними среди других ротозеев бежал и Митя. Буденный сурово взглянул на него, что-то сказал на ухо молоденькому адъютанту. Митя метнулся в сторону. Но адъютант купил в киоске «Степную правду», догнал, привычно прихватив рукой шашку, своих и подал газету Буденному. Не взглянув на свой портрет, Буденный сунул газету в карман, и плотная кучка военных, как нечто цельное, на двадцати позванивающих в лад ногах прошествовала дальше.

Митя нарисовал круглое солнце и, чуть высунув язычок, полюбовался своей работой.

— А я решил взять историческое событие из книжки,— проговорил Славик надменно.— Из книжки лучше. В крайнем случае можно переписать.

— Ха! Из книжки! Кура сразу узнает.

— У нас старая книжка. С твердым знаком. Еще до революции вышла.

— Вот чудило! Разве до революции были исторические события?

Славик задумался.

— А как ты думаешь, Митя, телеграфист Ять — историческое событие? Помнишь, Яша в клубе рассказывал?

— А то какое же? Конечно, историческое.

— Тогда я про него и напишу.

— Это ничего,— согласился Митя.— Это можно.

— И картинку нарисую. Станцию, стрелки, семафор,—

вдохновился Славик.— И ресторан нарисую. Мы с папой ходили в ресторан. Я знаю, как рисовать. Кругом повара в белых фартуках и пальмы... А за столиком телеграфист. Я его красками раскрашу и пенсне ему раскрашу...— Славик вздрогнул, будто его ударили током.

— Митька! — прошептал он, переводя дыхание.— А я чего знаю!.. Я знаю, кто он такой!

— Кто?

— Да этот самый... телеграфист... Который в пенсне... Который про машинистов записки писал!..

Митя с недоверием смотрел на его взволнованное лицо.

— Клешню помнишь? Так вот, этот телеграфист — его папа. Даю голову на отсечение. Понимаешь, папа Клешни. Которого запороли. Понимаешь?

Митька не понимал.

Славик нетерпеливо покосился на Клашу. При ней нельзя было упоминать про подвал, а про Клешню — тем более.

— Помнишь Клешню, ну? — волновался Славик.— Пороли его. Сам знаешь где... Присяжный поверенный.

— Никакой он не поверенный,— спокойно вмешалась Клаша.— Он большевик, на товарной станции служил. Красногвардеец.

Открыв рот, Славик смотрел, как она поставила утюг на самоварную конфорку, как заворачивает глаженый халат в газету.

— Ты его видала? — спросил Митя.

— А то нет! У него в нашем буфете условное место было. Боялась я за него прямо не знаю как... Одевался под солидного господина, пенсне цеплял, а сядет за столик — и давай грязные тарелки собирать! Как простой все равно. А беляков — полная зала!

Славик слушал и ждал, что вот сейчас она рассмеется: «Вот дурачки. Вас разыгрывают, а вы рты пораскрывали!» Но она не смеялась.

— Ну и дождался. Взяли. Проводят мимо стойки — глянул на меня и говорит: «Спасибо, гадюка!» Думал, что я его выдала. Я ему водичку с-под крана заместо водки поднесла. Он на меня и подумал.

— А ты что? — спросил Митя.

— А что я? Тошно мне стало, прямо не знаю как... Ведь он не у тещи на блинах, нельзя ему водки... Уводят его, а я им в сердцах: «Рвань белая». А возле меня два

беляка: один — казак, другой — не знаю кто, на рубахе химическим карандашом погоны нарисованы... Стоят у стойки — все слышат.

— И чего тебе было?

— А ничего,— улыбнулась Клаша, накрывая голову свежей косынкой.— «Не плачь,— говорят,— девка. Мы его вызволим». А сажали тогда, до прибытия начальства, в кондукторские бригады. Пошли эти двое, пугнули караульщика, а арестант убег... Ой, время-то сколько!

Она повязала платок внахмурочку, чтобы на улице не приставали парни, и побежала.

Славик ошалело смотрел на дверь.

Недавно в «Красной ниве» он видел картинку: по зимнему городу через дворы, через каменные дома и церкви шагал великан с красным знаменем, и длинное, как дорога, алое полотнище вилось над улицами и церквами. Картина Славику понравилась. Только такие великаны и могли одолеть царя и разогнать его войско, и он привык думать, что славное племя великанов-революционеров живет в Москве и в Ленинграде. И вот, оказывается, тетя Клаша, которая только что гладила халатик, выручила правдашнего красногвардейца!

Это было поразительно так же, как если бы его мама, Лия Акимовна, во время сабантуя вскочила бы на иноходца и помчалась наперегонки...

— Ну вот,— сказал Митька.— А ты выдумал — «присяжный поверенный»,— он посмотрел на картинку.— А Буденный не похож вышел, верно?

— Да, не похож,— согласился Славик.— Одни только усы похожие... Знаешь что, Митя, рисуй про телеграфиста ты. Твоя мама его выручала, ты и рисуй.

— Ладно. А ты чего будешь?

— Чего-нибудь придумаю.

Митя не привык откладывать дел в долгий ящик. Он вырвал из альбома чистый лист и принялся рисовать арест телеграфиста.

Славик печально смотрел, как продвигалось дело. Только раз он не удержался и напомнил:

— Пальмы нарисуй. В ресторане всегда стоят пальмы.

Мите стало жалко приятеля.

— А ты спроси у своей мамы,— посоветовал он — Может быть, она тоже кого-нибудь выручила.

— Нет,— вздохнул Славик.— Она еще никого не выручила.

Пока Славик был у Мити, к маме по пути на базар зашла жена Полякова, Маргарита Михайловна.

— Мама! — воскликнул Славик, влетая в комнату.— А тетя Клаша красногвардейца спасла!

— Это прекрасно. Но когда взрослые разговаривают, перебивать их неприлично.

Гостья сидела на стуле с ивовой корзинкой на коленях. Мама мерила у зеркала лифчик.

— А знаешь, мама...

— И кроме того, с гостями надо здороваться.

Славик сказал Маргарите Михайловне «здравствуйте», шаркнул ножкой и бросился на кухню рассказывать про тетю Клашу Нюре. Нюра отбивала мясо, ей некогда было слушать.

Он вернулся в детскую, сел за столик, укапанный чернилами, и под журчанье голосов принялся лениво рисовать лошадок и человечков с шашками наголо.

18

— Побегу! — говорила Маргарита Михайловна.— Мой отпустил меня всего на два часа. А я еще мяса не купила.

— Посидите, милая,— удерживала ее Лия Акимовна. Она примеряла у зеркала купленный по случаю французский лифчик.— Базар рядом... Мясо берите у Кулибина. У него чудесные косточки для бульона... А лямки придется ушивать.

— И лямки ушивать, и пуговички переставить,— сказала Маргарита Михайловна.

— Чудесные косточки. И кстати сказать, он неравнодушен к дамам... Такая бурая морда, а ловеласит. Пококетничайте с ним — и купите дешево.

— Чего-чего, а с кавалерами я умею перемигиваться,— смеялась Маргарита Михайловна.— Особенно ради снижения цен... Как вы сказали — Кулибин?

— Кулибин. У него дурацкая вывеска: «Бывший Кулибин-сын». Сразу увидите. Он всегда стоит в дверях... Морда глупая, а бачки как у Гарри Пиля. Да, придется ушивать. Какая досада... Если торгует его благоверная, не подходите. На пушечный выстрел не подходите. Запрашивает вдвое — такая хамка! Ну расскажите какую-нибудь похабелечку...

В этот момент и ворвался Славик с восклицанием:

— Мама! А тетя Клаша красногвардейца спасла!

— Это прекрасно,— сказала Лия Акимовна.— Но когда взрослые разговаривают, перебивать их неприлично.

— А знаешь, мама...

— И кроме того, с гостями надо здороваться.

Славик шаркнул ножкой, сказал Маргарите Михайловне «здравствуйте» и бросился на кухню.

— А он мужает, негодник! — провожая сына глазами, сказала в нос Лия Акимовна.— Вы не находите?

— Какое там мужает,— возразила откровенная Маргарита Михайловна.— Его бы на лето к нам, на нашу тихую станцию. Кумыса бы попил, на рыбалку сбегал, не узнали бы вы его... Павел Захарович любитель с ребятишками дурачиться.

— И мой тоже. Очень любит детей и при своем типично инженерском складе ума находит с ними общий язык. Просто поразительный человек.

И она стала расхваливать Ивана Васильевича с таким ожесточением, с каким это делают только заброшенные жены.

— А я вам не говорила, как моего лешего на дрезине привезли? — перехватила разговор Маргарита Михайловна.— Ногу вывихнул! Поехал пути проверять и чехарду затеял. Брюхатый мужик, партиец, начальник дистанции, а прыгает по степи через рабочих, и они через него... Пришлось костоправа вызывать. Ногу вывихнул.

— Кошмар! — сказала Лия Акимовна.

— Еще бы! Неделю лежать велели. Стала натирать его денатуратом, отошла на минутку, а бутылка пустая. До донышка высушил, примус разжигать нечем. А денатурат! На бутылке кости нарисованы! Вот здоровья мужику отпущено! Недаром мешальщиком в пекарню нанимался.— Она наклонилась к Лии Акимовне и проговорила шепотом: — На десять баб хватит.

Лия Акимовна оглянулась. Печальный Славик возвращался в детскую.

— Вынь руку из кармана,— сказала она ему и предупредила Маргариту Михайловну: — Вы следите за Павлом Захаровичем. Не дай бог, сераль заведет.

— Да пусть заводит! — всплеснула руками Маргарита Михайловна.— Отдохнула бы хоть от него, поспала бы вволю. То-то и беда, ни на шаг не отходит. Прошлую пасху у дорожного мастера гуляли. Крепко выпил. Я говорю: «Придется мне тебя на себе домой тащить, Павел За-

харович».— «Кого,— говорит,— тащить?» — Сгреб меня на руки и, как ни отбивалась, понес домой. Не поверите, Лия Акимовна, версты две без передышки тащил! Это меня-то, такую колодину! — Она ласково смеялась и качала головой.— Леший! Степная порода!

— Иван Васильевич меня тоже нес на руках после венчанья,— сказала Лия Акимовна, строго, как соперницу, оглядывая себя в зеркале.

— Ничего его не берет, лешего,— завелась Маргарита Михайловна.— Вот, пожалуйста: сегодня ногу вывихнул, а завтра к вам на пикник поехали. Только вечер и вылежал. Видели вы таких мужиков?

— Вам нужна правда или фраза, Маргарита Михайловна? Если правда, то у него был не вывих, а легкое растяжение. Какая-нибудь дисторзия. При вывихе прописывают холодные компрессы и постельный режим.

— Не знаю, как по-ученому, а на другой день выскочил.

— Это просто невероятно,— сказала Лия Акимовна раздраженно.— Я с ним польку плясала. Как козел прыгал. Какой уж там вывих!

— Помилуйте, Лия Акимовна, да что я, по-вашему, вовсе уж угорела? С какой стати мне небылицы распускать? Павел Захарович налицо, спросите его, если не верите.

— Посудите сами, Маргарита Михайловна. Человек вывихнул ногу, а на другой день отплясывает польку. Любой лекарь поднимет вас на смех.

Лия Акимовна разволновалась. Длинное лицо ее покрылось красными пятнами.

Она твердо помнила, что в пятницу, накануне дня рождения Славика, Иван Васильевич пришел домой поздно ночью и объяснил, что они вместе с Павлом Захаровичем ездили на дрезине проверять временный мост на объезде. Иван Васильевич объяснял, что они задержались до поздней ночи потому, что пришлось пережидать экстренный поезд.

А по словам Маргариты Михайловны получалось, что Павел Захарович в эту самую пятницу с Иваном Васильевичем не встречался, на временный мост не ездил, а играл в чехарду и вечером лежал дома с вывихнутой ногой.

В последнее время подозрительные мелочи буквально лезли под руку Лии Акимовне. Она вспомнила, что в пятницу от жилета Ивана Васильевича пахло отвратительны-

ми духами и что в кармане брюк оказались два надорванных билета в кино «Ампир».

Все это Лия Акимовна считала недостойным своего внимания и не искала объяснений. Но разговор с Маргаритой Михайловной встревожил и оскорбил ее. Была минута, когда она почти решилась спросить, ездил ли Иван Васильевич с Павлом Захаровичем на мост или не ездил.

Но задать такой вопрос у нее не хватило сил, и она пыталась выведать истину обходным путем.

— Я ни на йоту не сомневаюсь в вашей искренности, Маргарита Михайловна,— говорила она, раздраженно стягивая блузку, которую только что надела на левую сторону.— Но случается всякое... У меня это сплошь и рядом, постоянно путаю дни и числа...

— Чего там путать, когда в субботу гуляли,— возразила Маргарита Михайловна.— Всего-то три дня прошло.

— Да, но, может быть, Павел Захарович вывихнул ногу не в пятницу, а несколькими днями раньше.

— Нет, в пятницу. Скорый ташкентский у нас когда проходит? В понедельник, в среду и в пятницу. Ну да, в пятницу. Велел мне к скорому выйти. Пока ходила, денатурат выпил. Нечем было примус разжечь.

— Но вы же сами говорите, что поезд проходит и в понедельник и в среду?

Маргарита Михайловна видела смятение Лии Акимовны и догадывалась о причине. Как и большинство знакомых Ивана Васильевича, она знала про комсомолку из главных мастерских, но предпочитала, чтобы кто-нибудь другой открыл Лии Акимовне глаза.

— Рада бы я была, Лия Акимовна, назвать вам и понедельник и среду,— вздохнула она,— но что было, то было: в пятницу вывихнул, весь вечер дома на койке валялся, а в субботу у вас гуляли.

Лия Акимовна внимательно посмотрела на нее.

— Прямо не укладывается в голове...— и воскликнула, как бы случайно: — Да! Ведь они же собирались с Иваном на линию. На временный мост.

Она почувствовала, что глаза ее помимо воли выражают испуг, отошла и стала громко копаться в шкатулке.

— На мост они поедут в понедельник,— сердито проговорила Маргарита Михайловна.

Лия Акимовна подумала: «Сапиенти сат»,— что по-латыни означало «умному достаточно». Было ясно, что в пятницу, когда Иван Васильевич вернулся домой в тре-

тьем часу ночи, на линию он не ездил. Он обманул ее. И как ни странно, первым человеком, на которого обратилась ее ненависть, была Маргарита Михайловна.

— Ну, я пошла,— сказала Маргарита Михайловна, поднимаясь.— Как вы сказали, у кого мясо брать?

— Вы так хорошо запоминаете дни,— сказала Лия Акимовна язвительно.— А про мясника спрашиваете третий раз. Кулибин.

Славик сидел в детской и прислушивался. Ему очень хотелось рассказать про тетю Клашу. А женщины все разговаривали и разговаривали, и разговор их был похож на карусель, которую разогнали и никак не могут остановить.

— До свиданья, до свиданья,— слышался из столовой мамин голос.— Не забывайте, звоните, когда бываете в городе. Да, представьте! Этот профессор-то, в роще. «У вас,— говорит,— осанка Авроры!» Пристал как банный лист!

— И ко мне лез,— отвечала Маргарита Михайловна.— Профессор называется. В Ленинграде небось не позволяет себе руки-то распускать, а к нам заехал — думает, глушь, верблюды с бурдюками — тут все дозволено...

Хлопнула дверь. Мама вернулась, проводив гостью.

Славик вошел в спальню.

Она сидела посреди комнаты на стуле в шелковой блузке и красных бусах.

Славику показалось, что за последний час мама сильно похудела.

— Мама, знаешь, тетя-то Клаша красногвардейца спасла! Хочешь, расскажу?

— Расскажи,— сказала мама.

Она смотрела, как Славик шевелит губами, и думала: «Пойду сегодня вечером в «Тиволи» и напьюсь. Дядя был мудрый человек. Не зря говорил: «Сперва выйди замуж, а потом делай что хочешь». А я за все тринадцать лет ни одного хахаля не завела. Сижу, как дура, дома и жду неизвестно чего... Правильно ужасались подруги, когда я вышла за тверяка. В сущности, я вышла за Ивана не по любви. Я вышла замуж на нервной почве... Нет, обязательно пойду в «Тиволи» и напьюсь. А не поступить ли мне куда-нибудь на службу? — думала она через минуту.— Могу же я заведовать какой-нибудь народной библиотекой... Когда-то я учила французский язык!»

— Мам, ты чего? — спросил Славик.

— Ничего, ничего, рассказывай.

— Мама,— повторил он настойчиво.— Ты чего?

— Ты бы пошел к себе, сынок. У меня раскалывается голова.

— А тебе не надо завесить штору?

— Не надо.

Славик вышел и тихонько прикрыл дверь.

Лия Акимовна была глубоко несчастна. Она в сотый раз вспоминала одно и то же: как Иван Васильевич вернулся в третьем часу ночи, как она, дура, вскочила и, засыпая над примусом, жарила ему яичницу. Вспоминала и другие одинокие ночи...

Он ел ее яичницу и врал про поездку на временный мост. Он врал небрежно, автоматически, не думая о том, что Павел Захарович будет на пикнике и все может выясниться. Эта небрежность обмана больше всего мучила Лию Акимовну.

19

Славик несколько раз принимался рисовать красную конницу, но работа валилась из рук. Весь день он мечтал, как интересно можно было бы нарисовать арест телеграфиста, и сокрушался, что не имеет на это права.

В конце концов Славику пришла в голову простая мысль: ведь он может нарисовать телеграфиста не для Куры, а для себя.

Он отложил скачущих лошадок и принялся за дело. Он изобразил большие окна, нарисовал множество зеленых людей с погонами и гражданского в черном пальто и в пенсне. На переднем плане тетя Клаша несла на подносе рюмку. Чтобы было ясно, что в рюмке не водка, а обыкновенная вода, Славик покрасил воду в синий цвет. Тетя Клаша вышла вдвое больше остальных и без всяких усилий со стороны Славика получилась удивительно похожей.

Славик нарисовал и скатерти на столах, и солонки, на карточках написал «Меню», как в настоящих ресторанах. В последний момент он вспомнил про двух казаков, пририсовал их кое-как и пошел к маме хвастаться.

Мама чистила брюки. Она мельком взглянула на картинку и сказала:

— Мило, мило. Застегни пуговицу.

Славик обиделся.

— Можно, я к Мите? — спросил он.

— Нечего там тебе делать.

— Ну, мам!

Она брезгливо вынимала из папиных брюк лежалые бумажки и думала: «Сапиенти сат».

— Ну, мама! — повторил Славик.

— Ах, отвяжись, пожалуйста! Иди куда хочешь!

В гостях у Митиных родителей был свояк Скавронов. Чай они уже отпили и играли в подкидного. Без игры в дурака Скавронов отдыха не понимал. И всегда имел при себе карты.

Бились двое на двое. Клаша, как всегда, была напарницей Мити и принимала на себя его ошибки.

Открывая дверь, Славик услышал ее голос:

— А на что письмо столько лет держать? Подумай своей умной головой.

Она увидела Славика и смолкла.

— А на что екатериновки копят? — возразил Скавронов, набирая овальные, как оладьи, карты.— Катюхи копят, лимонки. Сундуки клеить? Нет, моя любезная, не сундуки. Они, я тебе скажу, царя дожидают И только! Его величества! Так и тут. Вот, мол, погляди, ваше благородие, какие мы верные, какие письма нам шли...

— Оно в топке было. Понял? — вмешался Роман Гаврилович.

— Ну и что? Не дождались и выбросили... Роман — карты ко кресту! Живете как мураши все равно. Принюхались. Не чуете, кто у вас под боком.

И шлепнул валетом по столу.

— Зря болтаешь, свояк,— сказал Роман Гаврилович.— Он хоть и инженер, а свой. Мы его знаем.

— На Первый май флаг на балкон вывешивал — добавила Клаша.

— Все они стрикулисты до седьмого колена,— упорствовал Скавронов.— Нынче флаги вешают, а было время — трудящихся вешали. Это письмо надо бы не в музей нести, а кой-куда на проверочку...

— Играешь, так играй! — Клаша оглянулась на Славика.— Болтаешь чего не надо.

Славик догадался, что разговор идет о его родителях. Ему стало неловко. Надо бы спросить что-нибудь для вида и уйти. Но, как нарочно, путного вопроса в голову не приходило.

— Ну ладно,— продолжал Скавронов.— Он пускай наш. А она? Письмо-то пущено к женскому роду. Ты проверял, от каких она кровей?

— У тебя перегиб, свояк,— возразил Роман Гаврилович.— Нынче не семнадцатый год. Надо людей персонально глядеть.

— Людей нету. Почитай в календаре. Есть классы. И только! Погляди на себя. Секретарь партийной ячейки, а жена у тебя обрастает. Все равно как слободская купчиха. Красивше людей жить хочет. Циновки кругом, застилочки. У меня вон ребята на полу спят.

— Ежели ты меня секретарем выбрал — значит, циновки выкидывать? — спросил Роман Гаврилович.

— А как же! Чем кроешь, садова голова! Я вальта виней кинул!.. Больше тряпья — больше заразы. Почитай в календаре, где обитают блохи, пауки и прочая мелкая буржуазия. В тряпье. И только!

— Тебе чего, Славик? — спросила Клаша.

— Ничего. Я потом... Я картинку хотел показать.

— А ну дай. Вот, Митька, гляди, как рисовать надо!.. Срисовал откуда или из головы?

— Из головы,— покраснел от удовольствия Славик.

— И пол разукрасил. И подписал «Русаков». Все честь по чести!

— Кто такой? — насторожился свояк.

— Сынок русаковский, Славик,— проговорила Клаша и добавила тем намекающим тоном, которого, как уверены взрослые, дети не способны понять: — Тебе говорили, язык не распускай.

Славик взглянул на Скавронова с недоумением. Ему показалось, что этот смахивающий на богатыря, напечатанного на обложке «Красной нивы», человек растерялся.

— Давай ходи, Клашка! — заторопился он.— Еще кон сыграем, да ладно... Ну и насдавали: шеститки, семитки — одна мелкая буржуазия...

— Да ты его не бойся,— улыбнулась Клаша.— Сиди.

— Сама, гляди, не забоись,— набычился Скавронов.

— Мы со свояком, окромя блох, ничего не боимся,— усмехнулся Роман Гаврилович.

— Я на фронте ротного в глаза матюгал,— прибавил Скавронов.

И чтобы не было сомнения, приказал Славику:

— А ну подойди!

Славик подошел.

— Это что у тебя?

— Картинка. Историческое событие.

— А ну подай!

— Пожалуйста,— Славик обрадовался поводу установить добрые отношения.— Держите за края. Она еще не совсем высохла.

Скавронов положил карты кверху рубашкой, взял картинку в обе руки.

— Вон чего протаскивают! — произнес он мрачно

— А чего? — Роман Гаврилович подмигнул Клаше.— Застилочки?

— Зубы-то не суши. Сам погляди.— Скавронов показал издали.— Видал?

— Детский сад, что ли?

— Да ты глаза протри! Это кто?

— Вроде женщина. Ве́рно, Славик? Заведующая?

— Не женщина и не заведующая,— проговорил Скавронов наставительно,— а Юдифь, вдовица ерусалимская. И только! Видишь — голову на подносе тащит!

— Гляди, Клашка, как свояк растет над собой! За ним и не угнаться!

— Меня не обведешь! — продолжал Скавронов.— Юдифь согласно библии срезала голову с командующего и потащила на подносе.

Митька поглядел и хихикнул. Один из казаков торчал как раз за Клашиным подносом, и получалось, как будто Клаша несет на подносе человеческую голову.

— В бога веруешь? — спросил Славика Скавронов.

— Нет. Мы учили, что бога нет.— Скавронов смотрел на него подозрительно. Славик почувствовал себя виноватым и добавил: — Я больше не буду.

— Ладно тебе,— сказала свояку Клаша.— Ходи.

— Обожди. Это как понимать? Кто тебя подбивал Юдифь рисовать?

Славик молчал. Доказывать, что это не Юдифь, а тетя Клаша, было глупо.

— Понятно? — Скавронов обвел всех значительным взглядом.— Вон оне, сидят пируют, а она голову несет. На столах-то вон сколько горшков да мисок. Небось у вас в обед каждый день котлеты?

— Нет, мы мало кушаем,— виновато произнес Славик и потянулся за картинкой. Но Скавронов не отдавал.

— Брешешь. Не с головы же ты столько мисок нарисовал. А ну — быстро, чего в обед подавали?

— Ничего такого. На первое — бульон.

— А в нем чего?

Славик заморгал.

— Ну внутри. Какая закладка? Картошка? Говядина?

— Насколько я помню, внутри ничего не было. Просто крепкий бульон.

— Значит, ничего?

— Ничего.

— Сама вода?

— Почему же вода. Крепкий бульон. С сухариками.

— Вот они, скупердяи. Заместо хлеба сухари грызут. А деньги небось во всех карманах.

— А ты что выведываешь? — пошутил Роман Гаврилович.— Стырить хочешь?

— Обожди, не мешай! — отмахнулся Скавронов,— Бульон, это так. Для затравки. А на обед чего?

— Вы имеете в виду — на второе? На второе сегодня были фаршированные кабачки в масле.

— Видал? — Скавронов поднял палец.

— Мой папа любит фаршированные кабачки,— попробовал объяснить Славик. Он видел насмешливо-конфузливое лицо Клаши, чувствовал себя виноватым и торопился исправиться.— Папе вообще нравятся кушанья, с которыми приходится много возиться. Например, ромовая бабка с сабайоном.

— Это как понимать? — спросил Скавронов.

— Это я вам не могу сказать в точности. Сабайон — это гоголь-моголь... Туда добавляют сливок и немного коньяка. Впрочем, я точно не знаю... Мама редко готовит. У нас обыкновенно Нюра готовит.

— Какая такая Нюра?

— Прислуга.

Славик опять сказал не то, что надо. Он протянул руку за картинкой, но свояк не дал.

— Нет, обожди. Вам прислужница стряпает?

— Не всегда. Нюра сама любит варить.

— Вот оно, равенство-братство! Нюрка, значит, варить любит, а есть ты любишь?

— Нет, почему... Я скушал только два кабачка, чтобы мама не ругалась... Мама совсем не кушала, плохо себя чувствует. А папы еще нет. Последнее время готовятся к перевозке фермы, и он задерживается на службе.

— Окладу им мало! Сверхурочные заколачивает! — Чем больше Славик оправдывался, тем напористей стано-

вился Скавронов.— Ну ладно! А с чего хозяйка хворает? Учит ее отец, что ли? Бьет?

— Кого? Маму? Нет, что вы!..

— Так с чего же она хворает? Ничего не делает, на кухне не стряпает, а хворает.

— Почему ничего не делает? Кое-что она делает. На базар ходит. За провизией.

— Прислужнице не доверяет. Боится, копеечку стащит.

— Отлепись ты от него, ради Христа,— взмолилась Клаша.— Ходи!

Славик стоял, опустив клиновидную голову, и покорно дожидался, когда ему отдадут картинку.

Он был уверен, что провинился, раз даже добрая тетя Клаша конфузится, и его сокрушало, что он не понимает своей вины.

— Ты бы, свояк, чем с ребятишками воевать, навел бы в бригаде революционный порядок,— сказал Роман Гаврилович.— Чего там Мотрошилов второй день на работу не выходит. Экстренное задание дано: тележку под ферму собирать, а он гуляет. Ты единственный коммунист в бригаде...

— То-то и дело, что единственный,— вставил Скавронов.

— То-то и дело. Значит, отвечаешь за бригаду наравне с бригадиром...

— Я, уважаемый товарищ, не за бригаду отвечаю, а за всю Советскую державу, поскольку я коммунист,— сказал Скавронов,— и не только за свою державу, а за мировую революцию в целом... И по этой причине, а не по какой другой, я обязан выкорчевывать врага, любого и каждого, где бы он ни таился, и хватать меня за руку никто не имеет никакого права... Помяни мое слово,— Скавронов указал на Славика,— или сами писали, или какой-нибудь сродственник.

— Не выдумывай! — возразила Клаша.— Мы с ними не первый день живем. Люди как люди.

— А ты молчи! — Скавронов стукнул кулаком по столу.— С чего они могут быть как люди, когда у них все изъяли? И дома, и лавки! Ежели бы я свой дом заимел и его бы у меня взяли, у меня бы на другой день волчьи клыки выросли! Его благородие атаман Дутов в город вошел, матушка тоже утешала — люди как люди. В белых перчатках... А эти люди как согнали жену, и матку, и ребятишек босых на снег среди ночи да как принялись прикладами

окна бить. Чтобы меня найти, надо им, видишь ты, окна рушить. В белых перчатках... А мороз на дворе — сорок градусов. Дунешь — трещит, и только! Меньшенькой, Фроське, второй годок пошел, она матери на руки просится: «Возьми меня, мама, на ручки, я ножек не чую!..» А они дитя на руки взять не дают... В белых перчатках...— Руки его мелко задрожали.— Ладно, чей ход?

Лицо у Скавронова стало белое как бумага. И Славику только теперь бросилось в глаза, что он небрит и щеки его покрыты черной, будто прокопченной, щетиной.

— «Ножек,— говорит,— не чую...» — с усилием выговорил Скавронов.— Фроська, меньшая... За трое суток сгорела... Железной метлой их надо... Каленым железом...

— Ладно тебе. Крой,— тихо сказала Клаша.

— «Ножек,— говорит,— не чую...» А я из сарая в щелку гляжу. Кулаки кусаю...

Он уронил голову на руку и как будто залаял.

Клаша встала со стула.

— Славик, ступай домой,— сказала она спокойно.— Митька, подай воды.

Славик все еще не понимал, что Скавронов плачет.

А Клаша собирала с пола оброненные карты и уговаривала свояка, словно ребеночка:

— Гляди, какие картинки пришли. Разве такое добро на пол кидают? Одна к одной. Два туза, три козыря...

— Отступись, змея! — проговорил свояк и, все еще плача, взял карты.

20

Удивительно, до чего часто нелепые мелочи и пустые случайности меняют судьбы людей в переходные времена.

Хотя Славик не вынес обещанных денег, Таракан его простил.

Славика спасла худоба. Если не считать ни на что не годной Машутки, он был единственным существом во дворе, которое могло пролезть через форточку. Без него нельзя было обойтись.

И после того как Славик во второй раз натаскал из подвала полный мешок бумаги, Таракан восстановил его в правах голубятника, обещал в милицию не доносить, а про шестьдесят девять копеек забыл сам и велел забыть другим.

На этот раз Славику было велено не тащить, что попадет под руку, а набрать как можно больше документов с сургучными печатями.

Зачем Таракану понадобились сургучные печати, стало ясно на другой день, когда рано утром, еще до школы, ребята увязывали пачки.

Первым догадался Митька. Увидев, как тщательно Таракан прячет между листами бумаги сургучные печати, он мигом представил себе вытянутые морды торгашей, когда они вместо обертки обнаружат сургуч на картонных квадратах.

Пакет получился солидный, увесистый. Чтобы увязка стала еще тяжелей, Коська, подыхая от смеха, сунул в середину пачки стальной биток.

Продавать бумагу с сургучной начинкой Таракан отправился сам. В сопровождающие был взят только Славик. Он должен незаметно признать и указать Кулибина и смываться. Было решено наказать именно Кулибина, чтобы этой жиле было неповадно на десятом году революции сбывать ребятишкам негодную монету.

Сентябрь уже начался, а солнце палило по-летнему. На базаре дул горячий азиатский ветер. Между арбами и телегами дремали лиловые ишаки. Вдали, у карусели, упрямо бухал барабан, и красивые, дикие, как тысячу лет назад, цыганки толкались в толпе.

У овощных навесов Славик заметил Козыря. Песик лежал в тени и дышал тяжело, всеми ребрами.

— А он меня знает,— сказал Славик.— Козырь, тубо!

Козырь два раза стукнул хвостом по земле.

— Хочешь, Таракан, он сальто покажет?

Славик поднял дынную корку, стал подманивать собаку.

Но Козырю было не до фокусов.

Вчера подвыпивший маляр бросил ему телячью кишку, начиненную для смеха медным купоросом. Козырь чувствовал подвох и был не голоден. Но маляр уж очень потчевал, и он отведал немного из вежливости. У него начались судороги. Он бегал по пустырям за лечебной травкой. За лето зелень выгорела, трава помогала плохо. Козырь не спал всю ночь, ничего не мог есть и ослаб.

— Козырь, тубо! — звал его Славик.— Тебе сколько раз говорить? Какой ты все-таки свинтус! На, на!

Козырь отлично видел, что в руке Славика несъедобная дынная корка, и все-таки собрался с силами и попро-

бовал перевернуться в воздухе. Сальто не вышло. Он больно ударился боком, поднялся и виновато вильнул хвостом.

Таракан пнул его. Песик отбежал молча и взглянул на Славика издали печальными глазами.

— Наверное, у него температура,— сказал Славик.

Таракан ухмыльнулся. Поэтому Славик тоже засмеялся и пульнул в Козыря дынной коркой.

Ничего не поделаешь. Подражатели всегда немного пересаливают, особенно в жестокости.

Ребята миновали карусель и вышли в мясные ряды.

— Вот он! — прошептал Славик, хватая Таракана за рукав.

— Где?

— Вон, направо... Смотри!

Прислонившись к притолоке, Кулибин обрезал длинным ножом-резаком ногти. Ему было скучно.

— Ясно! — проговорил Таракан.— Топай отсюда.

Славик отошел за помойный ларь и, замирая от страха, приготовился наблюдать, что будет.

Он увидел, как Таракан с пачкой на плече прошел мимо Кулибина, подымая ногами пыль. Мясник окликнул его. Таракан остановился. Они перебросились короткими фразами. Таракан плюнул Кулибину в ноги и пошел дальше. Кулибин позвал его еще раз. Таракан лениво воротился. Мясник сунул резак в кожаные ножны, взвесил на руке пачку и покачал головой. Славик испугался. Пачка была слишком тяжелая. Кулибин послушал, как у соседней лавки скандалит босая казачка, взял кипу под мышку и скрылся за дверью. Время тянулось. Славик и не заметил, как вышел из-за укрытия и ноги понесли его к лавке.

Таракан невозмутимо ждал. Наконец за прилавком появился хозяин с длинной моссельпромовской банкой.

Хотя все шло как по маслу, сердце у Славика колотилось. «Сейчас, сейчас,— успокаивал он себя,— достанет денежки, и побежим выкупать Зорьку».

Но денежки Кулибин достать не успел. Наторговавшись вволю в соседней лавке, казачка подошла к нему. Мясник отставил в сторону банку и занялся с покупательницей.

— Какая же это телятина,— привередничала казачка.— Она старая...

— Помоложе тебя,— отвечал Кулибин.

Пришлись ли ей по душе его гарри-пилевские бачки или понравились прибаутки, сказать трудно. От его шуто-

чек она взвизгивала, как циркулярная пила, и уходить не торопилась.

— И телятина у нас свежая,— деликатничал Кулибин.— И оберточка свежая для вас подоспела.

Он бросил на прилавок пачку, перекатил ее на один бок, потом на другой и стал примеряться, где лучше развязывать.

— Надо бы рассчитаться, хозяин,— сказал Таракан.

— У нас такой закон: сперва — клиента уважить, а после заниматься своими делами.

Таракан с интересом наблюдал, как мясник шевелит узлы толстыми ногтями.

— Чего мучаешься? — посоветовал он нагло.— Тесаком вспори — и весь бал.

Узелок стал подаваться. У Славика задрожали колени. А Таракан стоял как ни в чем не бывало у самой лавки, заложив руки в карманы. Он так веровал в свою счастливую звезду, что иногда без всякой надобности пускался на крайний риск, словно испытывая терпение охраняющих его неведомых сил.

На этот раз палочкой-выручалочкой оказались собачники.

В тот момент, когда Кулибин вытянул наконец из тугого узелка первую петельку, между лавками промчался полоумный от ужаса Козырь, волоча на себе гремучую палку-ухватку.

— Гляди за товаром! — завопил Кулибин неизвестно кому и бросился из дверей.

Козырю сильно не повезло.

После неудачного сальто ему стало совсем худо. Он улегся на самом виду, на пути у идущих во все стороны людей, и задремал.

Он несколько раз засыпал и просыпался, и все время ему снился один и тот же неприятный сон.

Ему снился человек в черном шелковом цилиндре. Человек семенил по Соборной улице с саквояжем в руке, следы его пахли мокрыми опилками. Козырю было почему-то жутко. Человек заскочил на газончик, обнюхал чугунную тумбу, воротился на асфальтовый тротуар и затрусил дальше... Дворник замахнулся на него метлой. Он отпрыгнул и побежал, тревожно оглядываясь. На пути валялась косточка, но он пробежал, даже не понюхав ее. Рядом с ним бежал мороженщик... И внезапно Козырь понял, что его пугало. Все люди, которые обыкновенно стоя-

ли на одном месте — дворники, милиционеры, мороженщики,— бежали в ту же самую сторону, куда и человек в цилиндре. То, что все они бежали в одну сторону, как будто спасаясь от потопа, и было самое жуткое.

Прежде Козырь давно бы догадался, что сон предвещает беду. Но он был болен, и слабость придавила его.

Очнулся он, когда шею его сдавил проволочный хомут. Он открыл глаза и с ужасом увидел заслоняющее половину неба лицо собачника в бархатной тюбетейке.

Зажав ухватку коленями, собачник вынимал из ладони занозу.

Подошли люди: разодетая Алина, выпивший маляр с красным, как морковь, лицом, дедушка с афишками. Козырь улыбнулся маляру, рванулся. Петля затянулась крепче.

Козырь взвизгнул.

— Не любишь! — сказал маляр.

Заноза не вынималась. Собачник крикнул по-татарски. Подскочила татарочка с тонкой, как нагайка, косой, подала булавку. Он вручил ей ухватку и занялся занозой.

— Дочку и ту приучил живодерничать,— сказал квасник в кумачовой косоворотке.— Нехристь.

— Какая это дочка. Это жена.

— Еще чего надумал! Вот она, жена, на вожжах сидит,— квасник кивнул на фургон, в котором скулили и царапались отловленные барбосы.— Разуй гляделки-то...

— Та старая жена. Это молодая.

— Ладно брехать!

— Чего брехать! Ихний закон до четырех баб дозволяет.

— Ну и вера! Тут с одной не знаешь что делать.

— Он небось знает чего... Оне не такие олухи, как у твово отца дети. Собак наловят, и будь ласковый. И мясо тебе, и шкура на воротник. Верно, шурум-бурум?

Собачник молча занимался своим делом. На хохот и остроты он обращал внимания не больше, чем на пыль и ветер.

— За что его поймали, бедного? — вздохнула Алина.

— За то, что закон надо соблюдать. Собака должна обитать при хозяине.

— Возьмите его кто-нибудь. Он смеяться умеет. Такой душка.

— Дед, взял бы ты... Сидели бы на печи да друг дружке улыбались.

— Отвяжитесь вы от меня, ради Христа,— дряхлая голова дедушки непрерывно кивала, и казалось, что он на все соглашается.

— Деда самого скоро на петлю изловят.

— Да он убежит.

— Старый-то? От кого хочешь ускачет.

— И две жены не поймают.

— Отвяжитесь, ради Христа.

— А-а! Не любишь!

Как раз во время этого разговора Кулибин бросил на прилавок пачку бумаги, перекатил ее на один бок, потом на другой и стал примеряться, где лучше развязывать, и у Славика потемнело в глазах, и Таракан сказал: «Надо бы рассчитаться, хозяин».

— Эй ты, Сабантуй! — спросил продавец кваса.— Чем она тебе приходится? Жена или что?

Собачник не отвечал.

— Молчит,— сказал маляр.— Царь персидский.

— Не хочет с нами, с дураками, связываться.

— Брезговает.

— За людей не ставит. Сам барбосом стал возле барбосов-то.

— Возьмите же его кто-нибудь, мужчины,— просила Алина.— Он сальто умеет крутить.

При слове «сальто» Козырь насторожился. Он подумал, что если удастся перевернуться, его, может быть, отпустят. Он собрался с последними силами и прыгнул.

Татарочка взвизгнула.

Козырь почувствовал, что петля ослабла, и, поджав уши, полетел по базару. Его подбадривали, шлепали в ладоши, свистели. Где-то далеко гоготал маляр и взвизгивал по-татарски собачник. Только палка не отставала ни на шаг и жутко грохотала за спиной.

Сперва Козырь сунулся в ноги людям, в темноту, под лотки с товарами. Загремели на землю гипсовые коты-копилки, зазвенели осколки. Козырь изо всех сил работал мохнатыми лапками. Он вспомнил, что в мясных рядах между пустыми бочками есть конурка, и повернул туда.

Он мчался сломя голову, прижав уши и вывалив тонкий язычок. А палка прыгала за его спиной, не отставая, и бранилась, бранилась, бранилась.

Вот и мясные ряды, вот и бочки...

— Гляди за товаром! — послышался крик из лавки.

Кулибин в два прыжка настиг беглеца и наступил сапогом на палку.

Козырь упал на спину, захрипел, забился в пыли.

Все ближе раздавался топот собачника, и бренчали ключи у него на поясе.

— Давай, Сабантуй! — подначивал Кулибин.— Быстрее! Держи, не упускай!

Смеялся глупый маляр, смеялся мальчуган в коротких штанишках. Как только татарин нагнулся, Кулибин отпустил ногу. Козырь, почуяв призрак свободы, побежал снова.

— Шайтан! — крикнул собачник.

Вот наконец черная спасительная нора. Козырь, раскорячившись, полез в узкую щель. Там уже спасалась большая облезлая сука. Козырь попробовал проткнуться дальше. Сука лязгнула зубами и чуть не откусила ему ухо. Он выбрался обратно и припустился куда глаза глядят. В запарке он наколол заднюю лапу и скакал то на трех, то на четырех. Возле лавки путь ему преградил мальчишка с золочеными глазами. Козырь бросился в сторону. Навстречу бежал мальчик в коротких штанишках и дико кричал «у-у-у-у!». Вслед за ним топал Кулибин, размахивая прутом.

Козыря обуял ужас. Он уже не помышлял ни о чем. Только бы скрыться от мальчишек и от гремучей палки. Он метнулся под арбу и хотел бежать к монастырским могилкам, но палка заклинилась под колесом. Петля сдавила горло.

— Смотри, Таракан! — весело кричал Славик.— У него кровь из носика!

Козырь улыбнулся ему молочными зубками, мелко повилял хвостиком. Он просил помочь. Просил отпустить его... А мальчик в коротких штанишках прыгал на одной ноге и орал:

— Вот он, дяденька! Смотрите, вот он! Скорее, а то опять убежит!

— Поспевай, Сабантуй, шибче! — гудел Кулибин, размахивая прутом.— Товар упустишь!

И как только татарин подбежал, хлестнул что есть силы верблюда. Верблюд дернул арбу. Колесо отъехало, и палка освободилась. Козырь бросился куда попало, натыкаясь на людей, на столбики коновязи. Силы оставляли его. Посреди дороги он увидел дырявую корзину и сунулся в нее в полном отчаянии. Корзина была мелкая. В нее

влезли только голова да передние лапы. Но палка перестала греметь, и Козырю показалось, что наконец-то он укрылся.

До него доносились голоса мясника, Алины, пьяного маляра, мальчика в коротких штанишках.

— Тикай! — кричал мясник страшным голосом.

И больно хлестнул его.

Козырь не двинулся. Только задняя, наколотая, лапка задергалась, как во сне, побежала.

— Тикай, поймают! — Мясник ожег его еще раз.

Козырь едва слышно взвизгнул.

— Не любит! — сказал маляр.

— Он, наверное, утомился,— сказал Славик. Он оглянулся по сторонам, и его вдруг поразило, что все лица в толпе были похожи друг на друга.

— Затравили,— сказал Кулибин с сожалением.— Все.

Петля резко натянулась. Козырь ослепительно отчетливо ощутил, что жизнь его обрывается. Он решил защищаться до последнего. Но он был деликатный песик и не умел постоять за себя. Единственно, на что он отважился, когда его выволакивали,— укусил корзинку, и то так, чтобы ей не было больно.

Палка подняла его высоко над землей. Петля сдавила шею. Все четыре лапы, каждая на свой манер, забились в воздухе.

— Гляди, Огурец, вон он сальто крутит,— сказал Таракан.

Козырь этого уже не слышал. Человек в черном цилиндре бежал по Соборной улице, и Козырь бежал за ним, и все люди бежали в одну сторону...

Поглядев, как тело Козыря тряпкой волочится по базару, Таракан и Славик вернулись к лавке.

Кулибин дышал часто, ноздри его раздувались. Он хватался то за тесак, то за счеты и долго не мог сообразить, что надо делать. Наконец вспомнив про купленную обертку, он отсчитал деньги, и ребята отправились домой.

Проходя мимо фортунки, Таракан прищурился и спросил:

— Может, сыгранем?

Славик опустил глаза. На душе его было мутно. Они прошли уже порядочно, а перед глазами все стояла собачья мордочка с прикушенным язычком.

— Противный какой-то собачник,— сказал он.— Не мог уж отпустить.

— Может, кобелек заразный. Или бешеный. Почем ты знаешь?

— А если бешеный, тогда что?

— Цапнет —узнаешь что. Сам сбесишься. Мать, отца перекусаешь. Они других. И так далее.

— До смерти?

— Ясно, до смерти. Бешеный кобель никого не признает. На хозяина кидается.

Славику стало легче. Ведь объясняла не какая-нибудь Машутка, а сам Таракан. Бродячих собак уничтожают правильно. И Славик правильно сделал, что не позволил Козырю убежать на монастырские могилки.

Угрызения совести утихали. Но как только мимо пробегала собачонка, перед ним снова возникала мордочка Козыря, жалко улыбнувшаяся ему в петле.

Минут через десять он спросил Таракана:

— А их разве не лечат?

Таракан, видно, тоже думал о Козыре, потому что ответил сразу:

— Еще чего! Не царский режим — собак лечить.

И Славик совсем успокоился.

Удобно живется на свете от чужого ума.

21

Выкупать Зорьку Славик отправился без всякой охоты. И только когда его у цирка нагнала Олька, он очнулся от оцепенения. Олька сказала, что вожатая срочно велит Славику прийти к ней. Он понял, что сон привиделся неспроста, и пошел. Таня, как это и должно было быть, жила на Советской улице. Это была главная улица. По ней ездили все шесть красных автобусов.

Вся улица до самой реки была залита мягким асфальтом. По обеим сторонам стояли каменные дома и мороженщики. Дома были двухэтажные, четырехэтажные и даже пятиэтажные, с чугунными балконами. Каждый дом отличался от другого или колоннами, или львиными мордами, или цветными стеклышками на мезонине, или огромным циркульным окном с затейливым переплетом над парадным входом. На глухой стене самого большого дома, в котором помещались и кино и ресторан и, кроме того, жили люди, виднелась полусмытая дождями реклама с твердыми знаками: «Жоржъ Борманъ».

Славик любил главную улицу. Перед каждым домом ковриком расстилался личный, принадлежащий этому дому тротуар, или выстланный каменными квадратами, или выложенный в елочку клинкером, или из того же асфальта, с втопленной сверкающей на солнце медной табличкой асфальтового промышленника.

В первых этажах располагались государственные, кооперативные и частные магазины и лавочки. Некоторые витрины были затенены выжженными солнцем маркизами. Кое-где от маркиз остались только клочья на ржавых каркасах. Славик знал наизусть, где стоит пучеглазый манекен в мятой пиджачной паре с белой этикеткой, где рядом с новеньким томиком Фенимора Купера, изданным ЗИФом, в красном коленкоре с золотым тиснением, лежит книжка в серой, с занозами обложке под названием «Цемент», где из оклеенного серебряной бумагой рога изобилия сыплются «Раковые шейки». В витринах частников среди товара для задабривания фининспекторов были выставлены увитые ленточками портреты всесоюзного старосты.

Почти на каждом углу, на тумбах, ушедших наполовину в землю, сидели мороженщики. В их двухколесных тележках в ледяном месиве плавали бидоны со сливочным, шоколадным, малиновым и земляничным мороженым.

У Собачьего садика, как всегда, стояла очередь извозчиков. Захудалые лошадки спали; извозчики, одетые по-зимнему, сидели в последней пролетке и безнадежными голосами зазывали пассажиров. Немного подальше стоял переделанный из часовенки киоск. Мама покупала там «Всемирный следопыт», «Красную ниву», «Смехач», огоньковские книжечки рассказов Зощенко и «Известия» трехдневной давности с обязательной карикатурой Бориса Ефимова на первой странице.

Всю дорогу Славик ломал голову, зачем он понадобился Тане. Не узнала ли она про кражу в подвале? От Ольки добиться ничего не удалось. Она непрерывно думала что-то. Навстречу дул ветер. Ее застиранное платьице прилипало к телу, она делалась все равно что голая, но ей было все равно, и она шла быстро, и Славик едва поспевал за ней.

Они прошли прохладную аркаду караван-сарая, миновали асфальтовый чан и подошли к Таниному дому. Дом был двухэтажный, с полуколоннами, подкрашенный белой

и желтой краской. На мраморной доске было написано, что в этом доме бывал Пушкин.

Славик открыл парадную дверь, которую каждый день открывала Таня, и, держась за перила, которых каждый день касалась Таня, поднялся по чугунной лестнице на второй этаж.

Танина площадка была выложена цветной плиткой. У двери висел электрический звонок с кнопкой. Звонок принадлежал не Тане, а соседям, и Олька постучала рукой.

Послышались шаги. У Славика заколотилось сердце. Таня, в засученной до локтей юнгштурмовке, распоясанная, без портупеи, отворила дверь.

Она крепко взяла его за руку и повела по темному, как ночь, коридору.

Жила она вместе с родителями, братьями и сестрами в большом паркетном зале. Там были три высоких окна, камин. У потолка тянулся лепной, похожий на сливочный торт карниз из позолоченных виноградных лоз и младенцев с крылышками.

Все было правильно. Под таким роскошным потолком и должна жить Таня.

Правда, в углах от младенцев остались только пухлые ножки. Остальное было отрезано перегородкой, и головы торчали у других жильцов, обладателей электрического звонка с пуговкой. Но и на Танину долю достались целые амурчики.

Перед приходом гостей Таня мыла пол. Мокрая половина пола была черная, а немытая — белая.

Полы здесь мыли часто. Паркет рассохся, квадратики выскакивали из гнезд.

Таня посадила Славика за столик и спросила:

— Ты на чем любишь играть? На барабане или на горне?

Славик подозрительно посмотрел на вожатую. Медленно, как учительница Кура, прохаживалась она по залу, от угла до черной половины пола и обратно. И было непохоже, что ей известна кража в подвале.

— Я предпочитаю на барабане,— ответил Славик.

— Ишь какой шустрый! — Таня поправила длинной ногой паркетину.— Шефы обещают барабан и горн через неделю. А барабанить хотят все. Даже девчонки. Прямо с ума сойти...

Было ясно, что про подвал она ничего не знает. Может, ей насплетничали, как он гонялся за Козырем?

— Сойти с ума, оказывается, можно от собаки,— сказал Славик.— Если собака бешеная, человек моментально сходит с ума и начинает кусаться.

Таня запрокинула голову и расхохоталась.

«Кажется, она и про Козыря не знает»,— подумал Славик. Он вспомнил изложение исторического события и предложил:

— Давайте устроим конкурс. Кто лучше расскажет про революцию, тому барабан. Я думаю, это будет справедливо.

— И ты выиграешь? — спросила Таня.

— Может быть.

— Что же ты думаешь рассказать?

— Я много чего знаю.

— Читал?

— Читал. И мама рассказывала.

— Твоя мама участвовала в революции?

— Приблизительно.

— Как это приблизительно?

— Ну как вам сказать... Она принимала участие, а сама не знала, что принимает участие.

Таня засмеялась и взглянула на подругу.

Олька сидела на подоконнике и не сводила со Славика глаз, и брови ее были сведены до отказа, как будто ее заставили держать на огне руку.

— Как же так может быть? — спросила она.— Мама не знала, что участвовала, а ты знаешь...— и потерла узкой рукой висок.

— А папа рассказывал... Папа все время называет ее — конспиратор. И гостям рассказывает. И они вместе смеются. А мама сердится, потому что школа у нее единственное светлое пятно в жизни.

— Какая школа? — встрепенулась Олька.

— А мамина. Мама, когда жила в Петрограде, устроила у себя в доме школу. Она сама учила, и подруги приходили учили. А папа тогда был студент и нуждался в средствах. Мама пригласила его учить в свою школу... Они учили, учили и поженились.

— Кого же они учили?

— Всяких неимущих... Если мне не изменяет память, то приходили неграмотные барышни с фабрики. Мама им объясняла азбуку и показывала волшебный фонарь. У нее была легкая школа: учились только по воскресеньям, уроков не задавали. А кому надоело учиться, шли в другую

комнату и играли в лото. Сначала ходили одни барышни, а потом барышни стали приводить большевиков. Мама декламировала Пушкина, а они как будто играют в лото, а сами сговариваются. Главный большевик попросил маму купить гантели, как будто для гимнастики. А папа говорит — из гантелей они делали бомбы...

— Видишь, Танюша,— проговорила Олька с укором.— Твое решение не больно сходится с ответом. Такая барыня вряд ли наймется в шпионки.

— С жиру бесилась. Делать ей было нечего — вот и учила. Простая арифметика. Ей писано!

— Да почем ты знаешь?

— Я мыслю по логике. И отец думает так же.— Таня выжала тряпку и принялась домывать пол.

— Твоего отца жгут прежние страдания и обиды.

— А Яшка? Яшка тоже считает, как я.

— Нашла кого слушать! Да твой Яшка не знает, почем штаны на толкучке! А туда же, берется на живых людей тавро ставить!

— Ну ладно! — Таня выпрямилась, поправила волосы локтем.— Так ты считаешь, что им подкинули эту пакость?

— Не считаю, а чувствую. Душой чую...

— Зачем? А ну, скажи, если ты чуешь?

— Можно навоображать тыщу причин... Самых чудных и невероятных. И знаешь, Танюшка, как бывает в жизни: чем чуднее, тем верней. Ну, представь себе: какой-нибудь злодей захотел замарать инженера Русакова.

— Так письмо-то послано не ему, а ей.

— Есть глупая пословица: муж да жена — одна сатана. Хоть пословица и неверная, на нее многие клюют.

— Ладно! А зачем Русакова марать?

— Тоже можно тыщу причин надумать... Гринька Мотрошилов и тот бы не отказался. Из ревности... А про перевозку фермы забыла? Подумай сама: как проще всего сорвать перевозку? Русакова поставить под вопрос — и перевозка встанет под вопрос.

— Что-то слишком мудрено.

— В жизни много мудреного.

Олька подошла к Славику и уставилась в него черными глазами. Ему стало немного страшно.

— Послушай, Славик. К вам гости ходят?

— Ходят.

— Дяденьки или тетеньки?

— К маме тетеньки, к папе дяденьки.

— К папе, наверное, служащие ходят, из управления?
— Наверно.
— А теперь скажи быстро: кто очень не любит твоего папу? Или маму. Сразу скажи. Знаешь, так, не думай.
Таня разогнулась. С тряпки текла вода.
— Конечно, знаю,— сказал Славик.— Чего же думать.
— Кто да кто? — спросила Таня.
— Например, Коськин папа. Он говорит, что мы типы, и еще...
— Ну, это ладно,— нетерпеливо перебила Олька.— Еще кто?
— Еще Нюра.
— Какая Нюра?
— Прислуга. Она папу не переваривает. Во-первых, он никогда не приходит вовремя к обеду.
— Еще кто?
— Ну, я не знаю... Мало ли кто... По правде сказать, и мама его не очень любит. Она говорит, что, если бы не он, она жила бы себе в Ленинграде и преподавала французский...
— Подожди, Олька.— Таня подошла к Славику.— Твоя мама знает по-французски?
— Раньше знала. Теперь забыла.
— А раньше хорошо знала?
— Конечно! У нас же бабушка была баронесса.
— Что! — Таня уронила тряпку.— Какая баронесса?
— Обыкновенная баронесса. Вы разве не знаете? У нас во дворе все ребята знают. А Машутка думает, что это означает парикмахерша.
Подруги уставились на Славика, как будто во лбу у него прорезался третий глаз.
— Еще не легче! — произнесла наконец Таня.— Чего же ты утаил, что ты барон, когда тебя в пионеры принимали?
— Вы меня не так поняли,— ответил Славик вежливо.— Это не я барон. Это бабушка называлась баронесса.
— А что она теперь делает?
— По правде сказать — не знаю. Раньше она вызывала мертвецов. При царе баронессам работать не разрешали, вот они собирались и вызывали мертвецов... Так и бабушка, вызывала мертвецов, вызывала, а потом уехала куда-то в заграницу.
— Все ясно,— сказала Таня.— Простая арифметика. Лезь на подоконник, буду домывать угол.

Олька печально улыбнулась.

— Любишь ты, Танька, простую арифметику.— Она потерла лоб узкой ладошкой.— Ну, чего тебе ясно? Царский инженер плюс письмо Барановского в колонке, плюс жена баронесса равняется лишенцу? Вроде бы других доказательств не требуется. А я верю, что он честный и чистый человек, потому что знаю его,— черные египетские глаза ее сверкнули.— Знаю лучше вас всех, лучше, чем твой Яшка, лучше, чем твой отец...

— Эй-эй! — закричала на нее Таня.— Куда по мытому! Ноги вытирай!

Не обращая на нее внимания, Олька быстро подошла к столу, выдвинула ящик и достала письмо. То самое, которое нашли в ванной.

Славик сжался.

— Тебе знакома эта бумажка? — спросила она.

— По правде сказать, да,— сказал Славик.

— Ты видел ее раньше?

— Видел.

— Где?

Славик потупился.

— В ванной? — помогла Оля.

Славик кивнул.

— А ты не знаешь, как она туда попала?

Он придумал путаную жалобную фразу, но Олька заговорила раньше.

— Ну хорошо. Слушай внимательно. Ты уже пионер и должен понимать. Вам в отряде рассказывали про Барановского?

— Рассказывали.

— Так вот. Это письмо писал Барановский.

— Прислужник атамана Дутова,— напомнила Таня.

— Подожди! — Олька волновалась. Глаза ее горели.— Письмо писал Барановский какой-то женщине. И некоторые подозревают, что он писал твоей маме, потому что последняя страница этого письма оказалась у вас в ванной.

— Я не прятал,— начал Славик.— Это...

— Мы знаем, что не ты! — перебила Олька.— Послушай внимательно. Вспомни: кто ругал папу за то, что он надумал перевозить ферму? Кто говорил, что папа прислуживается к властям? Что экономит совдеповские деньги?.. Что он отступник и позорит мундир путейца?..

— Откуда он это может знать? — перебила Таня.

— Не мешай! Спрашиваю — значит, знаю. Ваня сам жаловался. Я, Танюша, все его слова наизусть помню... И не только сами слова, а всю их расцветку... Ну ладно... Не помнишь, с кем папа ругался?

— Папа с гостями часто ругается,— сказал Славик.— А по телефону кого-то назвал белой молью...

— Ну вот! — подхватила Олька.— Тебе понятна цепочка? Папа назвал кого-то белой молью, и в вашей ванной оказалось письмо Барановского.

— Это не я прятал, — забеспокоился снова Славик.— Честное пионерское, не я.

— Никто и не думает, что ты,— торопилась Олька.— Тебе понятна цепочка?

— Цепочка? — Славик облизал сухие губы.— Понятна.

— Ты пойми: кто-то нарочно притащил в вашу квартиру это письмо, чтобы бросить тень на твоего папу, на маму, на тебя... И как раз перед перевозкой фермы. И перед чисткой. Понимаешь, чем это пахнет?

До Славика стало доходить, что его ни в чем не подозревают. Олька, кажется, серьезно думает, что письмо притащил к ним на квартиру и запихал в колонку какой-то взрослый. Раз она ухватилась за эту нелепую мысль,— лучше всего поддакивать.

— А я знаю кто,— сказал он небрежно.

Олька уставилась на него.

— Профессор Пресс. Если мне не изменяет память, на пикнике он подошел к маме на четвереньках и укусил ее за палец. До такой степени он ее не переносит.

Олька погладила его по голове и отошла.

— Нашла помощника? — смеясь глазами, спросила Таня.— Ну, не дуйся! Как с Гринькой-то?

— С ним — простая арифметика. На днях распишемся.

У них начался скучный разговор про любовь, про свадьбу, стали часто повторяться фразы: «А я говорю», «А он говорит». Славик, коротая время, стал читать злополучное письмо.

— А вы ходили к Мурашовой? — спросил он.

— К какой Мурашовой?

— А про которую в письме пишут.

Таня запрокинула голову и расхохоталась.

Олька подбежала к Славику и выхватила листок.

— Молодец! — бормотала она, заново вчитываясь в строчки.— Такой маленький, а такой молодец!

— Ерунда! Как ты найдешь Мурашову? — сказала

Таня.— Если она и жива, то замуж вышла, фамилию сменила...

— Да ты слушай! — доказывала Олька.— Слушай, что написано: «М-ль Мурашова — невеста этого господина». А господин жил в доме вдовы Демидовой!.. Давай сбегаем к Яше. Он все знает. Может быть, знает и дом вдовы Демидовой. Важно зацепиться.

— Что с тобой сделаешь. Пойдем,— сказала Таня.— Не поймешь, кто из вас пионер, а кто комсомолец. А ты, Славик, ступай домой. И никому не болтай про кусачего профессора. И вообще ни говори, что ходил ко мне в гости. Ни отцу не говори, ни баронессе... А ты, оказывается, клёвый парнишка.

Славик пошел домой в отличном настроении. И всю дорогу вспоминал динозавров.

22

Олька не боялась разочарований. Поэтому ей везло.

В тот же день она сбегала в музей и выяснила у Яши, что дом вдовы Демидовой находится в Форштадте, на Кузнечной улице. Сама вдова умерла; дом принадлежит жакту; там живут шесть или семь семей. Среди них, конечно, можно найти старожилов.

Возле дома Демидовой Олька напала на старушку, которая родилась в соседней «связи» и весь век просидела у ворот на скамеечке. Старушка знала и большевика, которого прятали у Демидовой. Большевика звали Глеб. Его взяли белые зимой, ночью, в восемнадцатом году. Зазноба его, Олимпиада Мурашова, дочка учителя немецкого языка, работала машинисткой в штабе у белых. В голодный год вышла замуж за Клюкова. Супруг ее служит в инвалидной артели, а дома сушит солодский корень, торгует целебным отваром и от фининспектора откупается медовухой... Клюковы живут на той же Кузнечной улице, на самом краю.

Едва дождавшись следующего дня, Олька побежала к Тане прямо на пионерский сбор. Она выложила все новости и стала упрашивать подругу сходить вместе с ней на Кузнечную улицу.

Таня сгорала от любопытства, но идти не могла. Яша наконец-то добился, чтобы в городском Совете поставили вопрос о неотложных нуждах музея. А его единственные

брюки были до того рваные, что, если их не починить, директор музея преспокойно отправится в городской Совет с голым задом.

— Ты вот что сделай! — придумала Таня.— Возьми барончика. Скажи, что изучает историю. Пусть расспросит, что надо.

Позвали Славика. Он подбежал, тяжело дыша, раскрасневшийся и счастливый. Они только что перетягивали на канате и победили.

— Ты помнишь письмо Барановского? — спросила Таня.

Славик испуганно открыл треугольный ротик.

— Письмо написано какой-то тетке, которая выдавала большевиков... Представь себе, что эта гадюка сейчас ходит по садику и преспокойно собирает крыжовник. Можно с этим мириться?

— Нет,— сказал Славик.— С этим мириться нельзя.

— Видишь, Олька, как он поддается агитации! Слушай задание: на Кузнечной улице обитает гражданка, которая эту змею хорошо знала. Ты пойдешь к этой гражданке и осторожно расспросишь о том, что тебе скажет Оля. Понятно?

— Конечно. Это гражданка Мурашова, про которую написано в письме?

— Молодец! Все понял.

— Про письмо не говори смотри! — предупредила Олька.

— Да, да. Ни в коем случае! — подхватила вожатая.— Про письмо забыть и не вспоминать! Ну, будь готов!

— Всегда готов! — сказал под салютом Славик.

Усыпанная козьими орешками Кузнечная улица Славику понравилась. Издали доносился церковный звон. У калиток играли котята. Между домами росли рябинки, березы, клены. На старых деревьях покачивались качели. Славику было неведомо, чего стоила эта красота: палисадники выравнивали в струнку еще при царях. За неровный штакетник казачков штрафовали. И деревья рассаживались по приказанию высшего начальства, дабы заграждать кровли от огня во время пожара. Если клен усыхал, хозяина пороли.

Дом Клюкова стоял на самом краю, окруженный тесовым заплотом. На подоконниках лежали подушки в пунцовых наволоках — чтобы мягче было глядеть прохожих. Олька постучалась. Открыл присадистый лысоватый чело-

вечек в сползающих галифе. Лицо у него было неприятно розовое, как после омоложения. Он посмотрел на тонкую Олькину талию и, не выслушав как следует, чего надо, впустил гостей.

В просторном дворе, под турником, сделанным из обрезанной казачьей пики, лежали индюшки с голыми фиолетовыми шеями. Подальше, на бахче, словно валуны, валялись тыквы. Там ходила похожая на хозяина повадкой пухлая женщина и развешивала на солнышке рыбу.

На крыльце с боярскими витыми стояками хозяин разулся сам и велел разуться гостям.

Они вошли в горенку, оклеенную грамотами, портретами вождей, антирелигиозными плакатами Моора. В углу мерцали иконы, а над постелью висела картина в золоченой раме. На клеенке были изображены масляными красками ротонда на берегу озера и круглая луна. И ротонда, и луна, и черное небо отражались в озере до того зеркально, что картину без всякого урона можно было бы повесить вверх ногами.

Горенка была заставлена шкафчиками, комодами, фикусами; голландская печка занимала много места, так что двигаться в горенке можно было только боком. На особом столике красовался ламповый приемник супергетеродин.

Как только выяснилось, что Славик — сын начальника службы пути, Клюков заулыбался, сел перед ним на табуреточку, достал из грудного кармана усыпанную блестящими камушками гребенку и причесал брови.

— Ну-с, молодая смена,— обратился он к Славику.— Какой у вас ко мне интерес?

Славик увидел синие ногти на босых ногах хозяина и вспомнил продавца петушков.

— Вы голубей водите? — спросил Славик внезапно.

— Нет, молодой человек,— Клюков встал, погладил Славика по головке и снова сел на табуреточку.— Такими пустяками не занимаемся.

— Он собирает факты о революции,— напомнила Олька, настойчиво глядя на Славика черными египетскими глазами.— Пионеры поручили ему уточнить кое-что. Ваша супруга участвовала в революции?

— А как же! — хозяин зашлепал по горенке.— И моя Олимпиада боролась, и я боролся. Можем осветить примеры, поучительные для подрастающей смены. Олимпиада! — шумнул он в оконце.— Вы бы подсказали, гражда-

ночка, чтобы нас с ней на публику вывели. В клуб или куда-нибудь на красную кафедру. Мы бы тогда за один раз много бы геройства рассказали... Время — в самый раз! Небось читали, как лорды-морды воду мутят. Пилсудского науськивают... В Америке аэрохимическую бомбу сготовили, начиненную люизитом. Одна бомба, пишут вон в «Красной Ниве», зараз отравит цельных десять кварталов населения! Конец света! Чего, барышня, улыбаетесь? Базар проходили — видали, какой товар народ берет? Соль да воблу берут, сухари сушат! Тут не до смеха! Народ не обманешь, народ войну чует... Олимпиада! — завопил он снова в окно.— Кому касается!

— А вы тоже участвовали в революции? — спросил Славик, не сводя глаз с его синих ногтей.

— А как же! В погребах не отсиживался, как другие некоторые.— Он причесал гребенкой брови и глянул на себя в буфетное стекло.— Я повсюду воевал. Где беда, там и я. И на Волге, и на Урале, и в Туркестане. Куда Фрунзе — туда и я... Бывало, враги пушки выставят, а мы — шашки наголо — и на них! У-у, страсти! — протянул он по-бабьи и присел немного.— Одно слово — лава! Красный ураган!

Вошла женщина лет тридцати, такая же пухлая, как и супруг, и похожая на него повадкой.

— Обратно людей пугаешь? — устало улыбнулась она, утирая фартуком налипшую на руки рыбью чешую.— Чего тебе? Кабы рыбу коты не унесли...

— Присядь! Не унесут! — сказал хозяин.— Вот, жена, дождались правды и мы. И об нас вспомнили. Хочут записать наши заслуги на вечные скрижали, чтобы подрастающая смена издавала нам заслуженный почет. Это знаешь кто? — показал он пальцем на Славика.— Сынок самого начальника железной дороги, гражданина Русакова.

— Ваш муж говорит, что вы большевикам помогали при дутовцах,— пояснила Оля.

— Помогала немного.

— А вы помните какого-нибудь большевика?

— Да годов-то сколько прошло! Где тут вспомнишь.

— Вспомнишь! — сказал Клюков.— Ты бы хоть переоделась. Что, у тебя кофты нет?.. Надень хоть ту, розовую, сладенького цвета... Сейчас она вам все расскажет.

Олимпиада тут же, в горенке, переоделась и села.

— Ну чего же ты? Спрашивай,— сказала Славику Олька.

Клюков мелко тряс правой ногой. Славик связывал это трясение с синими ногтями и не мог собраться с мыслями.

— Вы знали товарища, который жил нелегально в доме вдовы Демидовой? — спросил он заученно.

Олимпиада покосилась на супруга.

— Чего же ты? — подбодрил ее Клюков.— Не бойся. Знала, так говори.

— Знала,— сказала Олимпиада.

— А как его звать? — спросила Оля.— Не Глеб?

— Ну, говори,— понукал Клюков.— Глеб так Глеб.

— Глеб,— сказала Олимпиада.

— А где он теперь?

— Теперь его нигде нету. Выдали его дутовцам,— заговорила Олимпиада.— Выследили его, двор оцепили и поймали... Нездешний он был. Со степи его прислали революцию делать. Веселый был человек... Глазки карие.

— Веселый, веселый,— передразнил ее хозяин.— Тебя про переворот спрашивают, про красный ураган, а ты — глазки карие... Дура!

— Как он жил? — спросила Олька.— Секретно?

— А как же. Очень даже секретно. Сама Демидова не знала, что у ней там в сараюшке красный живет... Власти к ней не совались — у ней муж был пристав. Дворник только знал да мы. Я ему письма из штаба носила, один раз мимо патруля провела.— Она законфузилась.— Под ручку прошли...

— А темно! Комендантский час! — добавил Клюков, мелко тряся ногой.— У-у, страсти!

— Вам страшно было? — спросил Славик.

— А как же не страшно? Конечно, страшно... И бандитов боялась и патрулей... А главный был страх, чтобы папаня не узнали, куда бегаю.

— Родитель у них был серьезный,— пояснил Клюков.— В гимназии по-немецкому учил. Как что — за ремень.

— Какой ужас! — сказал Славик.

— Да ну, что там.— Олимпиада вздохнула.— Жили хорошо, сытно. Папаша от людей уважение имел. В первые дома приглашали. У Панкова — кондитера — на дому детишек учил, у Бейлина, у Степанова...

Славик насторожился. Фамилия «Степанов» вызывала у него смутное беспокойство и настойчивую потребность что-то вспомнить.

— Тебя про твоего родителя не спрашивают,— перебил

ее Клюков.— Граждане переворотом интересуются. Родитель у нее в голодный год помер. Грибами отравился. Помер, и нечего его поминать... Ты лучше обрисуй, как большевиков выручала.

— Разве я одна выручала? Глеб велел нам выйти на тайное место, дождаться беглых и от дутовцев спрятать.

— Вон она какая была,— отметил хозяин.— Не жалела молодую жизнь. За такие дела надо красные ордена вешать.

— Ближе к полночи подошли трое, сказали пароль. Все честь по чести. И я отвела их к Катюшке.

— А кто эта Катюшка? — спросила Олька.— Тоже из красных?

— Не знаю... Она, я думаю, не разбиралась... Ей бы только озорство показать, возле боевика покрасоваться. Тогда много было девчонок отчаянных. Глафира была, помню, Нюрка. Со своих кавалеров моду брали. Эти-то, арестанты, вон какие озорники были: стражу в чулан загнали, а на пороге положили бомбу. «Сидите, мол, смирно, а то бомба разорвется». А заместо бомбы в газете была завернута брюква. Вон как озорничали!

— Про брюкву нечего поминать,— прервал Клюков.— Не принижай революцию.

— А среди ваших подружек не было такой Лии Акимовны? — спросила Олька.

— Не помню что-то.— Олимпиада подумала немного.— А какая она из себя?

— Как все. Культурная.

— Не помню. Из культурных к нему Леночка бегала. Сестра милосердия.

— Она тоже арестантов прятала?

— Нет. Глеб ей не доверял. А красавица была! Глазки ровно у кошки... Золоченые.

— Граждане собирают факты для подрастающего поколения, а она обратно: «глазки»! — рассердился Клюков.

— Нет, нет, подробности тоже интересны.— Олька чуяла, что напала на след, и волновалась.— А почему Глеб не доверял Леночке? Какая, вы думаете, причина?

— Уж не знаю, как вам и разъяснить...— Олимпиада подумала.— Уж больно непростая была. И про белых больно много знала, про ихние замыслы... Все выхвалялась, пижонила...

Славик вздрогнул. Внезапно он вспомнил, что пижон

по-русски означает голубь, вспомнил Клешню, а вспомнив Клешню, вспомнил и все остальное: что фамилия Клешни — Степанов и что отца его повесили дутовцы.

— Скажите, пожалуйста,— спросил он, замирая.— Степанов, у которого ваш папа учил детей, случайно, не присяжный поверенный?

— Да, адвокат! — удивилась Олимпиада.— А ты его откуда знаешь?

— Подожди, Славик...— начала было Олька, но он уже не слышал ее.

— Я, конечно, самого присяжного поверенного не знаю,— торопясь, объяснял он.— Я Клешню знаю. У присяжного поверенного был сын, понимаете? Его звать Клешня. Значит, ваш папа этого Клешню и учил... Пижон означает голубь...

— Да ты что! — засмеялась Олимпиада.— Какой такой Клешня? У Степановых был единственный сынишка — Артур. Деликатный такой, чуть что не так — плачет. И дочка была. А никакого Клешни у них сроду не бывало.

— Значит, это не тот присяжный поверенный! Значит, это другой присяжный поверенный! Вы у Клешни спросите...

— Чего там спрашивать. Степановых дутовцы истребили. Весь корень, подчистую. Одна дочка осталась, Лора.

— Нет, и Клешня остался! — кричал Славик.— Вы не знаете!

— Как же нам не знать, когда Лорочка-сиротинка с нами жила. Как сейчас помню, прибегла к нам, дрожит вся, ничего путем сказать не может. Спрашиваю, где папа, мама, где братик,— ничего не говорит... Плачет только и трясется... Оставил папаня ее у нас. Так и жила. В уголок заберется и выглядывает, как мышонок...

— Ну да, конечно,— подхватил Славик.— Это и есть сестренка! Лора! А он забыл, как ее звать.

— Кто позабыл?

— Да Клешня же! Он ее много лет ищет. Он у нас каждое лето на парадной лестнице ночует! Я его приведу к вам...

— На что его приводить? — насторожился и как будто испугался Клюков.

— Как же на что? Он же сестренку ищет. Столько лет ищет, что позабыл, как ее звать. Она у вас жила?

— Нигде она не жила! — отрезал Клюков.

— Как же нигде? Тетенька сказала.

— Тетенька тебе что хочешь сбрешет.

— Да ты что! Вовсе без совести? — Олимпиада гневно покраснела.— Как же не жила? У папани до самой его кончины жила да у нас с тобой, почитай, год!

— Какой тебе год! — Клюков еще сильней стал трясти ногой.— А мы ее в приют когда сдавали? Позабыла? А? Позабыла, что ли, как мы эту мокрицу в приют сдавали?

Олька тронула Славика за руку и сказала:

— Мы отошли от темы. Подожди, Славик... Вы сказали про сестру милосердия. Не припомните, как ее фамилия? Славик, подожди...

Но Олимпиада завелась. Видимо, по вопросу Лоры у супругов не было полного взаимопонимания.

— Чего она тебя — объедала? — бранила она мужа.— Тихая была Лорочка, безропотная. Ты ей за весь год юбчонки не справил, скопидом. Мое рванье донашивала... А теперь — вишь ты, мокрица!

— Рыба у тебя где? — перебил хозяин.— Гляди, коты унесут.

— Ой, батюшки!

Олимпиада бросилась на крыльцо.

— Я знаю, почему вы затыкаете ей рот,— проговорила Олька.

— А вы, мадам, не стращайте,— сахарно улыбнулся Клюков.— Не такие стращали. Нам бояться некого. У нас все документы подколоты. А вот вы, мадам, сообщите, кто вас заслал выведывать семейные дела под ширмой этого пионера. А? У вас от кого мандат?

— Я знаю, почему вы затыкаете ей рот,— медленно повторила Олька.— Но вы ошибаетесь. Судьба девочки нас не интересует.

— Как не интересует! — завопил Славик.— Что вы, тетя Оля.

— Совершенно не интересует. Мы разыскиваем подругу вашей жены — Леночку. Сестру милосердия!

— Коза у нее подруга! Я ее подобрал, когда она голышом бегала, в пастухи нанималась... Я их вместе с этой мокрицей, с Лоркой этой, на свое иждивение взял. А ежели вам на нас набрехали, так мы от любой клеветы давно отбелились... А теперь, пожалуйста, не задерживайтесь,— Клюков вскочил с табуретки и распахнул дверь.— У меня сейчас перекуска.

— Мы уйдем,— сказал Славик.— Вы только скажите, где Лора.

— Да подожди ты! — Олька сердито дернула его за руку.

— Сперва сговоритесь друг с дружкой, а тогда заходите.— Клюков снова сахарно улыбнулся.— Хочете нас на крючок поймать. За дурачков посчитали? А мы — нет, не дурачки. Ежели хотите добром послушать про переворот, пущай нас вызовут в клуб. А частным порядком мы не желаем. Так там и скажите.

Славик и Олька вышли на крыльцо. Хозяйка, ощерившись, потрошила рыбу.

— Послушайте,— быстро проговорила Олька.— Скажите только одно: кто такая Леночка? Как ее фамилия? Где ее найти? Ну?

— Олимпиада! — послышалось от порога.

— Чего Олимпиада! — накинулась она на хозяина.— Сам привел незнамо кого, а теперь — Олимпиада! Сам пускал, сам и выпроваживай!

— Вот смотри, Славик,— громко сказала Олька.— И это называется люди. Так и сойдут на нет возле своих лещей! Ни сказок про них не расскажут, ни песен про них не споют.

— Ничего, ничего,— торопил хозяин.— Мы не конница Буденного. Чего об нас песни петь.

— Я вот скажу Клешне,— пригрозил Славик.— Он вас зарежет. Тогда узнаете.

Калитка захлопнулась.

Олька и Славик виновато поглядели друг на друга.

23

На другой день после школы Славик пошел к Яше в музей.

Музей располагался в церкви со сшибленными крестами. На бывшей паперти торчали стволы старинных пушек, вросшие в каменные лафеты. На двери висела фанерка: «Вход с южной стороны. Деревьяная дверь».

Славик не знал, где южная сторона, два раза обошел граненые апсиды и торкнулся в узкую дверку.

— Ты куда? — окликнула его обутая в пимы бабушка.

Славик промолчал. Дело у него было секретное.

— Скажите, пожалуйста,— спросил он, подумав,— это южная сторона?

— Это музей,— отвечала старушка сурово.— Давай плати пятак. Так и норовят без билета.

— А вы не могли бы пропустить меня в долг? У меня нет при себе денег. Завтра я вам обязательно занесу.

Бабушка растерялась и пропустила.

Славик вошел в мрачный высоченный зал. Шаги его защелкали, как пистоны, высоко-высоко, как будто он шел не по полу, а по разрисованному богами куполу. Он почтительно оглянулся на железные плошки, лощеные глиняные обломки, сварившиеся от ржавчины мечи и остановился возле черной кабинки, на которой было написано: «Пытка средневековья. Нервных убедительно просят не смотреть». В полутьме покачивалась кукла, подвешенная за ребро на крюк. На плече у куклы был приклеен инвентарный номерок с синим кантиком.

Славик толкнул куклу, чтобы шибче качалась, и пошел дальше.

В этом же приделе стояла настоящая золоченая карета с вензелями. Внутри она была обита стегаными одеялами, как комната для сумасшедших.

Это был зал феодализма и капитализма.

Несколько лет назад, когда город навещал Калинин, тогдашние местные власти извлекли из сарая эту самую карету и подали к вагону всесоюзного старосты. Здорово досталось тогдашним подхалимам от Михаила Ивановича. Он распорядился наказать совдураков, а карету отправить в музей. С той поры она и стоит посреди зала феодализма и капитализма, и в ней спит Яша, когда задерживается на работе до ночи.

В общем, ничего особенно интересного здесь не было. Зато в центральном зале, перед алтарной преградой, было что посмотреть. Зал был целиком посвящен революции. Там лежали красногвардейские повязки, простреленные буденовки, самодельные бомбы, шрифты тайной типографии, настоящий пулемет «максим» и мандат, подписанный лично товарищем Фрунзе. Еще там была рваная афишка, которую выпустили белые власти, когда ненадолго захватили город в восемнадцатом году.

В афишке было сказано:

«За участие в шайке, именующей себя большевиками, виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни.

За умышленное укрывательство комиссаров и лиц,

служащих в Красной Армии и Красной гвардии, виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни.

Виновные в произнесении или чтении публичной речи или сочинения или изображения, возбуждающих вражду между отдельными классами населения, между сословиями или между хозяевами и рабочими, приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни.

За хранение огнестрельного оружия и холодного оружия, а также боевых припасов виновные приговариваются к лишению всех прав состояния и к смертной казни...»

И подпись — *полковник Барановский.*

За святыми вратами слышались голоса.

Славик открыл дверь и остановился.

Возле столика сидел старичок с самым настоящим орденом Красного Знамени на груди, с совершенно таким же орденом, какой был у Буденного. Орден был привинчен к толстовке несколько косо и блестел в алой розетке медовым блеском... Славик так удивился, увидев живого орденоносца, что открыл треугольный ротик и забыл поздороваться. Орденоносец был в холщовой рубашке навыпуск, подпоясанной тонким, как уздечка, ремешком, сухонький, седенький, совсем не похожий на героя.

— Собрали отряды, основной и вспомогательный, организовали ударную группу, назначили час налета,— говорил он тихонько.— Приезжает к нам в штаб товарищ Мирон от партийного центра проверять боевую готовность. Людей у нас — в каждом десятке человек двадцать, а с медициной — дело швах.

— Кстати, где теперь товарищ Мирон?

— Кто его знает. Кажется, в Ташкенте.

— Прямо удивляюсь на наших историков! — Яша взмахнул щеткой.— Что Екатерина Вторая незаконная дочка прусского императора Фридриха — это они докопались, а до товарища, который десять лет назад собирал революционные отряды в нашем городе, они докопаться не могут. Ах, вот это кто! — Яша заметил Славика.— Скажи своей Тане, что я таки добился до человека, который знал Глеба. Вот он. Надо позвать комсомолок, и он им кое-что разъяснит. Но это дело мы отложим на потом. Я страшно опаздываю. Мне нужно бежать до горсовета.

Он схватил сапожную щетку и бросился чистить серые парусиновые ботинки черной ваксой.

— Я слушаю! — выкрикивал он.— Продолжайте! Ха! Блестят, как новые. Продолжайте.

— Ну так вот,— послушно заговорил орденоносец.— Накрутил он хвоста за медицину. Приказал немедленно организовать полевой лазарет. Тогда все нужно было делать немедленно. А недалеко от штаба, вот тут где-то,— он показал карандашиком,— жила эскулапиха. Сестра милосердия, приписанная к дутовскому военному госпиталю. Дождались, когда из дому вышла, замотали ей голову платочком, чтобы не шумела, и умыкнули. Представляете, нисколечко не испугалась. Стоит перед товарищем Мироном, руки фертом — этакой пижонкой. Во первых строках сообщила, что презирает нашу мужичью власть и нас всех вместе и по отдельности. А во-вторых, потребовала немедленного освобождения, поскольку в госпиталь привезли изувеченных в крушении на шестнадцатом разъезде и ее туда вызвали... С такой же благородной откровенностью ей было сказано, что, не дожидаясь просветления ее сознательности, именем революции ее придется задержать на двое суток для пользования раненых красногвардейцев, а в случае неповиновения она будет отвечать перед революционным трибуналом наравне с мужским полом...

— Ты что, старая? — загрохотал бас за царскими вратами.— Какой тебе билет? Что? Я сам ценный экспонат! — и в дверях появился большой, туго, по-военному прихвативший брюшко ремнем, стриженный под нулевку отец Таракана.

— Здравия желаю, начальство! — он махнул рукой возле козырька.— Тебя горсовет ждет, а ты туалеты наводишь? Куда годится?

— Ой, сию секундочку! — Яша бросил щетку, заторопился.— Сейчас иду. Секундочку, секундочку!

— Опоздал... Поручено проверить на месте, в чем нуждаешься. Принимай гостей.

— Гора пришла к Магомету,— заметил орденоносец.

— И ты, красном, тут! — воскликнул Таранков.— Здравия желаю! — Он мельком взглянул на карту.— Война кончилась, а ты все посты расставляешь?

— Ай, что вы делаете! — вскричал Яша не своим голосом.— Покладите на место!

Таранков поспешно поставил на полку заинтересовавшую его фарфоровую чашку.

— А если уроните? Вот обратите внимание: коробочка

для мушек. Так? Приходит инвентарная комиссия и роняет на пол. И конечно, вылетает рубин. А восемнадцатый век! Рококо!

— То рококо,— сказал Таранков.— А это чашка. Посуда?

— Да? Посуда? Это не посуда. Это прибор тет-а-тет, исполненный на заводе Поскочина... Одна чашечка — в бывшем императорском Эрмитаже, а другая у меня. Из Ленинграда специально на эту чашечку приезжал специалист.

— Зачем же вы ее прячете? — спросил старичок.— Надо выставить. На обозрение трудящихся.

— Как я могу ее выставить! — Яша осторожно поднес к его глазам чашку и показал из своих рук. В картуше под золотой короной, под глазурной росписью изображен был генералиссимус Суворов при всех регалиях.

— Понятно? — спросил Яша конспиративно.

— Вон чего рисуют, сукины дети! — Таранков покачал головой.

— Это кто? — полюбопытствовал Славик.

— Тебе, молодой человек, не надо знать этого,— ответил Яша.

— Через дерьмовую посудину и то исхитряются проводить свою гнилую агитацию,— продолжал Таранков.— Недаром меня мутит от всякого подобного золоченого барахла. Вроде рубин там, брильянт, порфирий какой-нибудь, а вникнешь поглубже — опиум и отрава.

— Вы говорите — выставить,— продолжал Яша горестно.— Вот, пожалуйста вам, картина...— Он выдвинул ближе к свету тяжелую раму. На темно-коричневом фоне желтел прибитый к кресту голый бог.— Есть подозрение, что писал ее Финк — ученик Рембрандта. И что, я ее не вывесил? Вывесил. И пришлось снимать, потому что это икона.— Он вздохнул.— Скоро ее увезут в Ленинград, на анализ. И чашечку заберут в центральные фонды... И картину заберут. Я их таки да, понимаю. От нашей сырости она портится. Но все же обидно.

— Пусть забирают к чертовой матери...— сказал Таранков.— Надо себя ограждать от буржуазной заразы. Чтобы не разлагались.

— Если у человека пролетарская прививка, не разложится,— возразил орденоносец.— Посмотри на Якова. Копается в драгоценностях, а ходит рваный, как блудный сын.

— И с горсовета деньги требует,— пробасил Таранков.

— Нет, граждане,— сказал Яша печально.— Я еще не очистился от капиталистического дурмана. Мне все время грезятся деньги. Наверное, потому, что мой папа был часовой мастер. Вчера грезилось, что мне отпустили пачку денег, толстую, как кирпич, и я купил несгораемый шкаф с секретным замком для документов и заказал витрины с зеркальными стеклами, и над каждой витриной у меня горели лампочки по пятьдесят свечей. И на остальные деньги я купил дрова и топил музей с утра до ночи.

Возникло молчание.

— А эта тетенька согласилась пользовать раненых? — набравшись смелости, спросил Славик орденоносца.

— А куда ей деваться! Подумала, покусала губки и велела предъявить медикаменты. А десятские не только медикаментов не имели, но и слова-то этого выговаривать не могли. Ничего у нас не было! Вот какие были вояки! «Ну что ж,— говорит,— у меня кое-что дома припрятано. Придется сходить». Мы, конечно, думаем: «Вот она, на какую дешевку хочет поймать», а она заявляет: «Вы, господа, ведете себя нелепо. Собираетесь доверить мне раненых, а в таком пустяке не верите. И учтите, я вас ни чуточки не боюсь и повинуюсь не вашей грубой силе, а медицинскому долгу». Глеб подумал, решил пустить. А меня приставил под видом носильщика. Зашли к ней на квартиру, набили сидор бинтов, потопали обратно. А навстречу, как в сказке, сам полковник Барановский собственной персоной. Вот тут у тебя садик нарисован, а она на Вознесенской жила, а вот отсюда, из уголочка, выезжает в саночках полковник. За ним, конечно, эскорт — два холуя верхами...

— Где она, говоришь, жила? — прервал Таранков мрачно.

— На Вознесенской.

— Как звать?

— Вот насчет имени я слаб стал. Память усыхает, уважаемый товарищ.

— А усыхает, тогда и болтать нечего.

Таранков помрачнел еще больше, стал что-то рассчитывать, и мускулистое лицо его сделалось серое, как булыжник.

— Так я про других не болтаю, я про себя только... Чем я Барановскому приглянулся, не знаю. Велел подозвать раба божьего. «Чего в мешке?» — «Медикаменты».

Не верит. Велит показать. «Куда тебе столько бинтов?» У меня душа в пятки. Сами посудите: тут — военный комендант, полковник Барановский, по бокам два барбоса при шашках, а за спиной — реквизированная фельдшерица. Слово вымолвит — и господи благослови! Пожалуйте к стенке. Ну, думаю, пан или пропал. «Да вот, говорю, барышня до больницы снести приказала. Крушение было на шестнадцатом разъезде — раненых привезли...» А она молчит!

— Как ее звать? — спросил Таранков настойчиво. Он пристально смотрел на старичка, и Славика поразило, что рябое лицо его все больше походит на выветренный камень.

— Да я же сказал, что имена не удерживаю. Такая видная из себя. Глаза золоченые.

— Врешь, краском! Ничего этого быть не могло! — перебил Таранков с ожесточением и с душевной мукой.— Такие вот гуси и извращают факты революции.

— И какие же факты я извращаю? — спросил орденоносец до того смиренно, что Славик стал подумывать, что орден, наверное, кто-нибудь дал дедушке поносить.

— Кто поверит, что Барановский так тебя отпустил? Если бы ты видел Барановского в лицо, не болтал бы. Глаза золоченые! Барановский, к вашему сведению, был лютый зверь в мундире. У него на дверях надпись была: «Без доклада не входить, а то выпорю». Помнишь на станции кутузку в кондукторских бригадах? Ну вот. Так мы оттуда своего агитатора выручили. Через час его благородие Барановский тут как тут. Глядит — пост оголен. Непорядок. Сунулся в кутузку, а там часовой. Встал. Докладывает: «Красные замкнули... Под страхом истребления...» Отступил Барановский на шаг, примерился да из-за плеча казачка-то нагайкой по глазам. И вот слушай: глаз у него на щеку вытекает, а он фрунт держит. Вот что означал Барановский. А ты тут вкручиваешь, что он тебя отпустил невредимым.

— Что ж,— сказал орденоносец.— Давай соглашаться на ничью. Ты в меня не веришь, а я в твоего казачка.

— Про казачка правда,— проговорил Славик.— И тетя Клаша рассказывала.

— А тетя Клаша откуда знает? — насторожился Таранков.

— Она тогда в буфете служила. На станции.

— Выходит, твоя тетя Клаша на дутовских хлебах сидела? — Таранков повертел в руках наконечник стрелы,

бросил на полку.— Надо будет ее проверить через мелкий микроскоп. А куда эта, ну, как ее, сестра милосердная подевалась?

— Кто ее знает? — орденоносец пожал плечами.— Кто говорит — убили, а кто говорит — с белыми убегла. Глеба вроде белым выдала.

— Опять врешь! — лицо Таранкова стало совсем серым и неподвижным, как у каменной бабы.— Хоть бы постыдился, в божьем храме находишься... Видно, не было тебя в те годы в красных отрядах, не видал я тебя там, и фельдшерицы никакой не видал, и Глеба никакого не знаю.

— Ну, насчет Глеба не говорите! — возразил Яша.

Он забрался на стул, отвязал подвешенный над головами мешок глиняного цвета.

— Чтобы мышь не прогрызла,— пояснил он коротко, вытаскивая из мешка толстую папку.

Он перебрал вырванные из книжек страницы, фотографии улиц и домиков, вырезки из газет, страницы конторских книг, открытки с видами соленого озера и Илецкой меловой горы, старые афиши и программы и достал листок бумаги, аккуратно заложенный между чистыми листами общей тетради.

— Вот! — сказал он.

Таранков потянулся было к листочку, но Яша трогать руками не дал.

— Сейчас я вам зачитаю,— сказал он и начал читать: «*Дорогие родители, сестры и братья, дорогая бабушка Маня, кланяется вам сын, брат и внук Глеб Федорович. Наконец-то я узнал, что мне сегодня придется расстаться с жизнью, приговор надо мной уже совершен. Верно, судьба моя такая, пасть от руки дутовских палачей за то, что не захотел быть двуличным, но я уверен, что скоро вся эта гнилая власть потонет в своей крови. В тюрьме страшный ужас. Ежедневно уводят, куда — неизвестно, а уходящие не возвращаются. Папа, мама и дорогая бабушка, пишу последний раз и целую вас и дорогих моих сестер и братьев. Как тяжело расставаться с жизнью. На этом кончаю, карандаш просит Витя, его будут кончать вместе со мной. Я не думал, что у меня так скоро отнимут молодую жизнь, мне так хотелось жить, но жизнь у меня отнимают. Прощайте, живите счастливо за меня, и если встретите случаем Олимпиаду Мурашову, скажите ей...*»

На этом письмо обрывалось.

У каждого из нас остаются в памяти бессвязные клочки детских воспоминаний. Остались такие воспоминания и у Славика. Он вырос, попал в Московский технический институт, стал называться не Славиком, а Вячеславом Ивановичем, женился, несмотря на форму своей головы, на балеринке, в пятьдесят седьмом получил квартиру с балконом — и коловращение жизни начисто вытеснило из его памяти и Яшу, и голубятню, и дедушку-орденоносца. Но когда у него уставали глаза и он, сняв очки, откидывался на спинку дивана, ни с того ни с сего представлялся ему грубый мешок, подвешенный к потолку в провинциальном музее, и он задумывался, что все-таки разумней: жизнь осторожная и рассудительная или быстро горящая, полная страстей и отваги? Думал и ни до чего не додумывался.

24

Вожатая Таня объявила, что барабан вручат тому, кто лучше всех расскажет неизвестное событие, имеющее отношение к революции. Кроме барабана, шефы купили отряду и горн. Но как-то само собой получилось, что дудеть будет младший братишка вожатой Тани, хотя этот братишка про революцию не знал ничего.

Славик мало надеялся получить барабан. Во-первых, с ним всегда что-нибудь приключалось, а во-вторых, еще нигде не бывало барабанщика Клин-башки. Но он все-таки решил рассказать про красного героя Глеба. Он твердо верил, что его история самая необыкновенная.

И вот наступил пионерский сбор.

Новый барабан молча лежал на столе под охраной двух дежурных пионеров. Дежурили лопоухий Семка — тот самый, который умел пускать дым из одной ноздри,— и звеньевой третьего звена.

Славик увидел себя на улице выбивающим дробь впереди отряда и пораженную маму на тротуаре, услышал ее низкий голос: «Или я спятила, или это Славик!» — и безнадежно вздохнул.

Претендентов оказалось двенадцать человек. Остальные или плохо выполняли пионерские заповеди, или не умели сменять ногу в строю.

Хотя ни одна девчонка в соревновании не участвовала, именно девчонки вносили сумятицу и беспокойство, шушу-

кались, предрекали победителя, поправляли своим фаворитам галстуки, ссорились и всячески интриговали.

Ждали Яшу. Он должен был участвовать в жюри.

— Ты тоже записался? — спросил Славика Митя, проходя сменять дежурных.

— Записался,— подтвердил он.— А ты?

— Ты что, опупел? Я же в жюри.

И прошел важно.

— А чего ты можешь рассказать? — промямлил заступивший на дежурство младший Танин братишка.— Ты в революцию пешком под стол топал. И красногвардейцев никого не знаешь в лицо.

Он целый день дудел в горн, но все-таки вредничал.

— Во-первых, на посту не полагается разговаривать,— напомнил Славик.— Чтобы рассказывать о революции, совсем не обязательно знать в лицо красногвардейцев.— Он помолчал и добавил загадочно: — Некоторые красногвардейцы писали письма.

— Тебе?

— Почему обязательно мне? Какой ты странный. Например, бабушке Мане.

Вокруг засмеялись. Один Семка нехотя грыз заусеницу. Он не тратил смеха на пустяки.

— И ты думаешь, тебе за бабушку Маню барабан дадут? — не унимался Танин братишка.— Ну, дадут. А ты не угадаешь барабанить в ногу.

— Почему не угадаю? Учительница музыки считает, что у меня абсолютный слух.

Танин братишка засмеялся.

— Чего ржешь на посту? — попрекнул его Семка.— Поставили — стой.

Он взял Славика под локоть и повел в дальний угол.

— И куда ржут! Верно? Ну их.

— Узнают, что за письмо, тогда посмотрим! — размяк от неожиданного сочувствия Славик.— Во-первых, Сема, это не простое письмо... Это письмо написано в тюрьме за несколько минут до расстрела...

И, сильно волнуясь, Славик стал рассказывать про Глеба, про тюрьму, про Маню.

Семка слушал без интереса, грыз заусеницы, плевал куда попало.

Славик перевел дух и стал повторять все с самого начала аккуратно и не торопясь.

— Письмо при тебе? — спросил Семка лениво.

— Что ты! Разве такое письмо дадут! Оно в мешке.
— В котором мешке?
— Не в котором, а в обыкновенном. Чтобы мыши не скушали. Его нашли и переслали в музей. Понимаешь?
— А звать Глеб?
— Глеб.
— Не врешь?
— Что ты! Я сразу запомнил — Глеб Только скажу: «Глеб», и как будто его вижу... Правда... Я немного нервничаю. Руки мокрые, представляешь?
— Чего им мокнуть,— сказал Семка.— Им мокнуть не по чем. Я сам про Глеба расскажу. У тебя складно не получится. А я скажу складно. Я давно принял решение про него рассказать. Глеб, значит?
Славик до того растерялся, что послушно ответил:
— Глеб.
В голове его перемешалось. Неужели Семка побывал в музее и Яша читал ему письмо? Но когда же это произошло? Письмо появилось в музее недавно... Может быть, Семка бывал в тюрьме и ему рассказали эту историю?
Славик походил из угла в угол, ничего не надумал и спросил Семку:
— Ты в музее был?
— А тебе какая разница? — проговорил Семка вяло.
У Славика звенело в ушах. В конце концов еще не все потеряно. Ведь номера будут тянуть по жребию.
— А если я вытяну первый номер? — спросил он язвительно.— А?
— Иди ты куда подальше,— сказал Семка. Потом посопел и добавил: — Будет первый номер — про МОПР давай потрепись.
— Нет уж, спасибо,— возразил Славик, гримасничая против воли.— Это ты сам давай, если хочешь, про МОПР.
— Гляди, без капризов! Папироску кто курил? Танька узнает — полетишь кверху тормашками.
Наглость Семки так поразила Славика, что он на некоторое время онемел. А Семка вяло хлопал веками; только тонкие, мышиные уши его раскалились как железо, будто им было стыдно за своего хозяина.
— Как же тебе, во-первых, не совестно? — проговорил наконец Славик.— Разве это по-пионерски?
— Тебе барабанить охота? — возразил Семка.— Ну так и вот. Тебе охота, а мне неохота? Это что — по-пионерскому? Ишь какой хитрый!

И отправился к девчатам.

— Я Мите скажу! — грозно крикнул Славик ему в спину.

— А тогда — во! — и Семка показал кулачок размером с гусиное яйцо.

Славик разыскал Митю, отвел его в сторону и стал жаловаться.

— Вот паскуда этот Семка,— ничуть не удивился Митя.— А ты не беспокойся. Жюри учтет твое замечание.

— А я как же?

— Не вешай носа. Может, тебе достанется номерок раньше его.

И он важно отправился на сцену.

Таня уже хлопала в ладоши, велела дать тишину. Пришло известие, что Яша срочно уехал раскапывать курганы. Решили начинать без него.

Стали вытаскивать номерки. Славику повезло: ему достался второй номер. Было бы полной несправедливостью, если бы Семка вытянул первый.

Пионеры с номерками столпились у стола отмечаться. Семка столкнулся со Славиком и спросил как ни в чем не бывало:

— У тебя какой номер?

— А тебе что за дело? — отрезал Славик.

Семка дружески ткнул его кулачком в бок.

— Чего распузырился?

Славик молчал.

— Шуток не понимаешь? — продолжал Семка.— Нужен мне твой Глеб. Я всяких разных баек тыщу знаю. Давай приходи нашего батьку послушай. Такие страсти травит — три ночи не заснешь.

Славик взглянул на него через плечо. Семка дружелюбно улыбался.

— И как ты на меня мог подумать,— попенял он.— Мы же с тобой не кто-нибудь, а юные пионеры. Записаны в один шумовой оркестр. А ты на меня подумал. Ну ладно. Я долго серчать не могу... Хочешь, научу через нос дым пускать?

— Хочу,— сказал Славик тихо.

— У тебя какой номер?

— Второй,— у Славика отлегло от сердца.— А у тебя?

— Чудно! И у меня второй. Гляди-ка!

Он протянул бумажную трубочку. Славик развернул ее.

— Какая же тут двойка? — удивился он.— Это пять.

— Эдак-то пять. А ты кверху ногами переверни, получится два.

— И кверху ногами пять. На двойку нисколько не похоже.

— А по натуре,— Семка захлопал глазами, — и кверху ногами — пять. А я сперва думал, двойка.

— Значит, ты после меня через три человека,— сказал Славик, протягивая ему номерок.

— Через какие через три?

— Ну как же. У тебя пятый номер, а у меня второй. Сосчитай.

— Где же у тебя второй?

На Семку снова напала вялость.

— Вот же! Ты его в руке держишь.

— Да нет. У тебя пятый. Куда у тебя глаза смотрят!

— Это твой пятый! Отдай номерок!

— Чего выхватываешь? — захныкал Семка.— Ребята, глядите, Клин-башка у меня номерок выхватывает...

У Славика зазвенело в ушах. В лице лопоухого недомерка он впервые столкнулся с феноменом чистой, ничем не прикрытой бессовестности. Он не мог представить, что такая дистиллированная бессовестность может гнездиться в том же самом мире, где существуют вожатая Таня, солнце и голуби. Сейчас что-нибудь непременно произойдет: или под Семкой провалится пол, или балка упадет ему на голову.

Но ничего не случилось. Мир оставался равнодушным и к Семке и к Славику.

«Ну, хорошо,— шептал Славик.— Сейчас скажу вожатой. Тогда узнает...» Но когда Таня спросила, какой у него номер, вся его забота состояла в том, чтобы слеза не капнула на список, и он молча протянул бумажку с пятеркой. Вожатая весело спросила еще что-то, но он отошел поспешно.

Что говорил первый мальчишка, он не понимал. Его охватило отчаяние. Он стремился в отряд не только для того, чтобы носить галстук и барабанить. Нет. Он стремился в отряд, чтобы стать как все. А не прошло и месяца, и его раскусили и насмехаются так же, как во дворе.

Прежде все свои беды он сваливал на клин-башку. Теперь он начинал догадываться, что было в нем еще что-то другое, еще более позорное, чем клин-башка. Но что было это другое, он понять не мог, сколько ни ломал голову.

А Семка уже рассказывал про Глеба. Если бы только Яша послушал, какие Семка выдумывал дурацкие отсебятины: будто письмо Глеба было написано белыми чернилами и буквы проступили, когда бабушка Маня держала бумагу над керосиновой лампой, будто, когда его повели расстреливать, он распевал песню «Белая армия, черный барон». Семку слушали с интересом, несмотря на все небылицы, несмотря на то, что при Глебе песни «Белая армия, черный барон» еще не было.

Кончил Семка тем, что письмо Глеба хранится в музее и каждый, кто хочет, может его почитать. Когда он спрыгивал со сцены, некоторые хлопали.

Следующим вышел аккуратный звеньевой третьего звена с красивым затылком. Все звали его Козерог.

А когда он кончил, попросил слова Митя:

— Конечно, каждому охота заиметь барабан,— начал он.— Но кто взялся рассказывать про красных боевиков, у того, я так думаю, уйдут на задний план и барабан и все свои выгоды, если он по-правдашнему жалеет и уважает жертвою павших. Чего, Семка, кулак показываешь? Встал бы лучше да покаялся, где про Глеба выведал, чем кулаки казать. Он, ребята, про Глеба сейчас только узнал. От Славика Русакова обманом выведал. Воспользовался, что Славик у нас безответный, затюканный, и пошел пороть безо всякого стыда что попало. Только и думал, чтобы барабан заиметь. А как вели Глеба казнить, как убивались по нему родные — об этом он думал? Наплевать ему на все...

— Я думаю, Митя прав в чем-то,— сказала Таня.— Но сейчас, Митя, жюри должно слушать. Обсуждать выступления мы будем потом.

— Потом поздно,— возразил Митя.— Я считаю, Семка недостойный не только что барабанить, он недостойный про революцию рассказывать. А про Глеба предлагаю, чтобы снова рассказал Славик как следует.

Предложение Мити проголосовали и приняли. Только Козерог попробовал возражать, что одно и то же второй раз рассказывать не положено.

— Ты бы помалкивал! — напал на него Митя.— У тебя отец знаменитый красногвардеец и красный командир, известный всему городу. На всех фронтах воевал. А ты — про телеграфиста!

— Про телеграфиста тоже интересно!

— Если бы ты что-нибудь новое осветил, было бы инте-

ресно. Например, кто был этот телеграфист, куда подевался. А ты только Яшины слова повторил.

— Сам освети попробуй! — крикнул Козерог.

— А что! И освещу.

И, к всеобщему изумлению, Митя не торопясь описал, как в буфет зашел переодетый дяденька в пенсне, как мама дала ему воды вместо водки и как его выследили дутовцы и заперли на замок в кутузку, а два казака освободили.

— Яше это известно? — спросила Таня.

— Не знаю.

— Изложи свое сообщение в письменном виде и передай мне. В обязательном порядке... Ну, а теперь — Русаков.

— Я... я... потом,— с трудом выдавил Славик.

Он боялся расплакаться. Может быть, он и правда безответный и затюканный. Но зачем Мите понадобилось повторять чужие слова при вожатой Тане? Вот теперь и она будет знать, что он безответный и затюканный. Разве можно присуждать барабан безответному и затюканному? Конечно, нельзя... Да и какой смысл рассказывать второй раз одну и ту же историю?

После каждого выступления вожатая вызывала Славика, но он упрямо уступал свою очередь.

Наконец последний претендент пробубнил нудную, явно вычитанную в отрывном календаре историю про маевку, и Славик услышал голос Тани: «Что же наш Огурчик? Сдался без боя?»

Насмешливое сочувствие вожатой доконало его. Он вышел на сцену и, изо всех сил стараясь придать голосу ехидность, проговорил:

— Нет, не сдаюсь без боя!

Во рту у него пересохло. Надо было что-то говорить, а он не знал — что. Он громко сглотнул и начал:

— Во-первых, ты, Митя, сказал, что кондукторские бригады запирали на замок. А не так. Дверь наполовину стеклянная и запирается на чепуховую задвижку. Я ходил смотрел. Ее толкни — она отвалится. Семку посади — он и то вылезет. А караульщик не вылез, потому что он был трус. Казаки увидали, что караульщик трус. Выпустили телеграфиста, загнали его в чулан, а он и рад стараться. И ничего удивительного. Потому что белые тогда воевали под лозунгом: «Беги, а то я побегу».

— А ты где читал такой лозунг? — ядовито справился Семка.

— Я вас не перебивал,— напомнил Славик с ледяной вежливостью.— Приезжает Барановский, открывает кутузку, а там вместо арестанта караульщик. Барановский как ахнет его плеткой со всего размаха и нарочно прямо по глазу. Комендант называется! Дурак какой-то...

— Откуда тебе это известно? — прервала его Таня.— Из каких источников?

— А мне вы не верите? — В эту минуту он ненавидел вожатую так же страстно, как прежде любил.— У других не проверяли, кто им рассказывал, а у меня обязательно...

— Не лезь в бутылку! — осадила его Таня.— Может быть, ты слышал эту историю от кого-нибудь из гостей, которые к вам заходят?

— Ему, наверно, Барановский рассказывал,— проговорил Семка.— Или этот кривой караульщик.

Славик вздрогнул.

— Ну да...— пробормотал он.— Конечно... Он и есть.

— Кто он? — спросила Таня.

— Кривой Самсон. Голубятник. Даю голову на отсечение. Он!

— Какой Самсон? Ты что, объелся?

— Нет, это вы, наверно, объелись! Неужели не понимаете? Караульщик, которого в каталажку заперли. Кривой Самсон и есть караульщик! У него же глаза нету!

— Прекрати молоть чепуху! — Таня нахмурилась.— Мы знаем Самсона не первый день. Он красный партизан. И прекрати называть его кривым. У него есть фамилия. Шумаков.

— Никакой он не партизан! — кричал Славик.— Никакой он не Шумаков! Какой он партизан? Он головы голубям отрывает. Правда, Митька? Он Зорьку загнал!

— Ты отдаешь отчет своим словам, Слава? — строго спросила Таня, поднимаясь с места.

— Отдаю! Конечно, отдаю! Не верите, Таранкова спросите.

— Какого еще Таранкова?

— Обыкновенного товарища Таранкова. Он ревизор. Покажите ему Самсона, он его сразу признает.

— Можно справку? — подняла руку Соня.— В позапрошлом году гражданин Шумаков посетил нашу школу и рассказывал воспоминания про партизан. Его выступление было отражено в стенгазете. Присутствующие должны помнить.

— Мало чего! — не сдавался Славик.— Может, он

тоже, как Козерог, кого-нибудь повторял. Помнишь, Митька, как Самсон головы голубям отрывал?

Зал шумел. Многие мальчишки знали Самсона. Вспомнили, что Самсон живет затворником, чужих к себе не пускает и не участвует в общественной работе. Кто-то вспомнил, как Шумаков хвастал, что потерял глаз в борьбе за свободу...

В конце концов все запуталось, и присуждение барабана отложили до следующего сбора.

А на следующем сборе Таня вызвала Славика к столу, повесила ему на шею барабан, сунула в каждую руку по палочке и, первый раз назвав его по фамилии, сказала:

— Самым значительным и весомым жюри признало сообщение Вячеслава Русакова. Весомость его сообщения заключается в том, что он направил прожектор исторического события на наши дни и осветил чуждого элемента. И вы, ребята, должны брать пример с Вячеслава Русакова, везде и всюду проявлять бдительность, разоблачать курящих по чуланам, всегда уметь связывать прошлое с настоящим и излагать прошлое так, чтобы оно было на пользу будущему.

Что было потом, Славик помнил как в тумане.

Он помнил, что стоял посреди зала, на шее его висел барабан, а пионеры пели в его честь: «Взвейтесь кострами, синие ночи», и девчонки подлизывались к нему, и Семка просил палочку — разок стукнуть, и Митька рассказывал направо и налево, что живет со Славиком в одной квартире, что у Славика абсолютный слух и что к нему ходит учительница музыки.

25

В тот же день, когда Славик хвастался дома своей победой и мама ликовала: «Хо-хо! Нашему пацану пальцы в рот не клади!» — отец вдруг бросил салфетку, отпечатал: «Рановато, сынок, становишься наушником!» — не доел второе и ушел в кабинет. А мама весь вечер стояла на кухне заплаканная и гордая.

Во дворе быстро сообразили, что теперь за Самсона возьмется фининспектор: хозяйство его разорят, голубей разгонят, и Зорьку придется забыть навсегда.

— Эх ты, царица грез! — попрекнул Коська Славика и плюнул ему в ноги.

Славик понял, что натворил, и вызвался срочно слазить за бумагой.

План снисходительно приняли. Но железные ворота клуба и на этот раз оказались на запоре.

Митька вспомнил, что во двор можно пробраться через сцену. Они вошли в клуб, но и тут им не повезло. В зале происходила чистка советских служащих.

После «Грозы» еще ничего не представляли, и комиссия заседала на фоне Волги.

Председателем была седая, стриженная под мальчишку старуха. Она придерживалась равноправия и курила папиросы через янтарный мундштук.

Рядом с ней Славик увидел Таранкова, а за ним очень молодого паренька со значком-самолетиком: «Наш ответ Чемберлену». Паренек прилепился у края, а лицо у него было такое важное, будто он сидел на самой середине.

По правую руку от старухи играл карандашиком лохматый заведующий школой, которого боялись не только ученики, но и учительница Кура, а рядом с ним сидел Павел Захарович Поляков.

На самом краю сцены, у круглого столика с бомбошками, понуро стоял одутловатый старичок.

Когда в комиссии участвовал Павел Захарович, в клуб набивалось много народу. У Павла Захаровича была способность двумя-тремя вопросами срывать маску с врагов, и если бы Славик зашел в клуб на день раньше, он бы увидел, как ловко вытащил Павел Захарович на свет божий одного из матерых дутовских палачей — того самого «пузатого», который мучил маму Клешни. Этот матерый беляк сидел в темном углу райсобеса в канцелярских нарукавниках и, притаившись, дожидался падения Советской власти...

А сейчас на самом краю сцены, у круглого столика с бомбошками, стоял одутловатый старикашка, и Павел Захарович добродушно пенял ему:

— А ты не лукавь. Ты на комиссии, а не в пивной. Придерживайся пятой заповеди.

— А я не лукавлю! — воскликнул старичок.— В пятой заповеди про лукавство не сказано, молодой человек! В пятой заповеди про родителей сказано!

— Ну вот,— продолжал Павел Захарович.— А говоришь, неверующий. Заповеди по номерам помнишь — значит, верующий. Небось и крестик носишь?

— И ношу! — взвизгнул старичок. — И верующий!

И па-атрудитесь не тыкать, милостивый государь! Я с вами гусей не пас!

Старичок сбежал со сцены, распахнул дверь, чтобы посильнее хлопнула, и умчался на улицу.

В зале засмеялись. Хитрый старикашка никак не хотел признаться, что служил консисторским чиновником, и притворялся беднячком «от сохи». А слова «милостивый государь» его выдали. Впрочем, посоветовавшись, комиссия простила ему мелкое лукавство, и чувствующий свою силу и власть зал весело поддержал это решение.

— Кто у нас там еще? — заведующий школой взглянул на часы.

— Инженер Затуловский! — объявила председательша.— Помощник начальника службы пути.

— Давай, инженер Затуловский, исповедуйся.

Славик удивился: Константин Орестович вышел в длинной рубахе, перехваченной тонкой подпояской. Такой рубахи он никогда не носил. Такую рубаху носил Лев Толстой.

Под мышкой Затуловский держал папку, завязанную с трех сторон белыми, как на новых подштанниках, тесемками.

Затуловский остановился у круглого столика и принялся излагать биографию.

Заведующий откровенно читал в «Смехаче» приключения Евлампия Надькина. Только паренек изображал слушающего и несколько раз открывал папку, на которой рогатыми буквами было напечатано смешное слово: «Дело».

— У вас тут написано,— прервал заведующий, как раз когда Затуловский собирался сообщить, что к Первому мая удостоен премии за беззаветный труд,— у вас тут написано, что, будучи студентом в тысяча девятьсот пятом году, вы принимали участие в волнениях. Так?

Затуловский кивнул.

— В каких же это, позвольте спросить, волнениях?

— В волнениях? — переспросил Затуловский.— То есть в революционном движении... Вот у меня тут...

Он кинулся к папке.

— Не надо,— остановил его заведующий.— Итак, вы принимали участие в революционном движении. В чем конкретно выражалось ваше участие?

— Мое? Я, как и вся прогрессивная Россия, боролся с царизмом. И с камарильей.

— С какой камарильей?

Затуловский все еще держался за белые тесемки.

— Горемыкин тогда был,— проговорил он.— Горемыкин. Плевако... Нет, простите, Плеве... Или Плевако...

— Плеве,— укоризненно подсказали из зала.

— Да, да, Плеве. И еще — Трепов.

Заведующий выжидательно листал «Смехач».

— Граф Фредерикс,— добавил Затуловский уныло.

— И как же вы со всеми с ними боролись?

— Мы? Вышли на улицы. Шли вперед и прорывали полицейские кордоны...

— Как же вы прорывали кордоны?

— Кордоны? Били городовых. Бросались камнями.

— И вы бросались?

— И я, конечно.

— Где же вы взяли камни?

— Где? Ну на земле. На дороге. Бывают же на дороге камни.

— Это что же? Булыжники?

— Ну да, булыжники... Из мостовой.

— Как же вы их выковыривали? Ломом?

Инженер Затуловский молчал.

— Ну чего ты к нему придираешься? — пробасил Таранков.— Может, там штабель лежал для ремонта. Или кирпич. Мало чего...— и спросил Затуловского: — Выпиваешь?

— Нет,— ответил инженер быстро.

— А если нет, то почему? — не удержался Коська.

Старуха постучала карандашом?

— Так,— продолжал Таранков.— Значит, зеленому змию не подвержен?

— Ну, не то чтобы принципиально...— поправился инженер.— Печень, понимаете ли...

— Нехорошо.

Затуловский уставился на него озадаченно.

— Сам посуди: праздник трудящихся. Красный Октябрь. Кругом ликование. А ты чай пьешь? А? Нехорошо.

— Ну, в особых случаях, конечно.— Затуловский оживился.— Чарку «Зубровочки», «Абрау-Дюрсо».

Он игриво хихикнул, но Таранков спросил внезапно:

— У Русакова гулял?

Инженер торопливо ответил: «Нет» — и поперхнулся. Комиссия выжидательно молчала.

— А в Заречной роще? — подсказал Таранков.

— Ах да!.. В Заречной роще... Праздновали день ангела... то есть рождения... Слегка...

Славик услышал тихий стон и оглянулся.

Неподалеку стояла Соня. Глаза ее лихорадочно горели. Позабыв, что ее не слышно, она подсказывала отцу. Она была как в горячке и твердила что-то непрерывное, словно молитву.

— А ты не можешь разъяснить, Затуловский, что это за живые картины? — спросила старуха.

— Ну, это так...— Затуловский совсем смешался.— Выпили... шутили... Вспоминали исторические факты... Становились в позы.

— В какие позы? — полюбопытствовал Таранков.

— Я уж не помню.

— Ну вот. А говорил, не пью. Печень. Неужели так назюзюкался, что не помнишь, как сошествие святого духа представлял?

— Это не я! Это Лия Акимовна! Стояла на коленях... А святой дух был...— Затуловский смешался.— Святым духом был член комиссии, бывший партизан, начальник дистанции Павел Захарович Поляков.

Павел Захарович надулся, и лицо его стало синеть. Чем больше он сердился, тем больше синел почему-то.

— Святой дух был не я...— сказал Затуловский.— Я с Лией Акимовной изображал Нерона и тень его убитой матери. Я был Нерон.

— Кто? — удивился Таранков.

— Нерон. Римский император.

— Разувался? — спросил Таранков.

— Разувался,— признался Затуловский сокрушенно.

— В скатерть заворачивался?

— Заворачивался.

— По-немецки декламировал?

— По-латыни. Из Вергилия.

— А кто написал Эрфуртскую программу? — выскочил с вопросом паренек при значке.

— Оставьте, Шуриков! — Заведующий школой брезгливо перелистывал «Дело».— Какая уж там программа. Вы, гражданин Затуловский, пишете, что в семнадцатом году выехали из Петрограда. Разрешите узнать, по какой причине?

— Видите ли, я уже отмечал...

— Еще разочек отметьте.

— Врачи обнаружили у меня очажок. Посоветовали

выехать на кумыс. Вот у меня врачебное заключение.— Он снова стал теребить тесемки.

— Не врачи вас запугали, а рабоче-крестьянская революция,— перешел на «вы» Таранков.— От революции бежали, батенька мой!

— «Белая армия, черный барон»,— добавил со свойственным ему остроумием Коська.

Таракан не переносил долго находиться в одном помещении с родителем и решил уходить. Славик и Митька вышли за ним. Только любопытный Коська остался в зале.

— Как думаешь, Таракан, Нерона вычистят? — спросил Митя.

— А сам не петришь? — Таракан поджал губы.— Императора представлял.

— Да еще разувался,— добавил Митя.

Не успели они дойти до угла, как раздался истошный крик Коськи:

— Огурец! Чеши быстрей! Твоего пахана чистят!

Славик вернулся. У круглого столика стоял папа.

Славик с изумлением узнал, что папа родился в 1890 году, еще в прошлом веке. Родился он, как оказалось, в деревне Тверской губернии. Было их пятеро братьев. Отец их, дедушка Славика, заставлял сыновей работать хуже батраков, наравне со скотиной. Наживал богатство. Двое надорвались — померли. Остальные один за другим сбежали кто куда от отцовской каторги. Вот так дедушка! А дома, в семейном альбоме, зачем-то держат его карточку. Младший, Иван, был любимцем кроткой, покорной матушки. Но и он не мог переносить, как отец ласкает матушку рогачом,— ушел пешком в Петербург. Брат, артельщик на железной дороге, приютил его, помог поступить в путейский институт императора Александра Первого. Жил тогда папа впроголодь, украдкой ловил в Летнем саду голубей, чтобы прокормиться, подрабатывал уроками. Еще не закончив института, женился, и Славик с изумлением услышал, что родители не позволяли маме выходить замуж за папу, и мама убежала с ним без благословения, и был большой скандал... Славик не имел понятия ни о мамином побеге, ни о том, что у мамы кроме настоящей была еще и девичья фамилия — какая-то дурацкая фамилия вроде Кронштейн. Папа увез маму в экспедицию в Голодную степь, а в войну его забрали на фронт, и мама осталась одна на пороге Европы и Азии, беремен-

ная и проклятая родителями. Хотя папа работал по осушению окопов и на погонах у него были буквы ОЗУ, что означало — отдел земельных улучшений, и хотя настоящие офицеры дразнили его «земгусаром», он попал в плен, а после революции явился в Москву на восстановление мостов, на Ташкентскую железную дорогу. Потом работал в должности начальника участка службы пути, получил повышение, и дальше ничего интересного не было.

Не успел Иван Васильевич закончить, Таранков спросил:

— А откуда взялось письмо в колонке?

— Не знаю,— ответил Иван Васильевич.

— Может, супруга спрятала?

— Да вы что!

— Она по-французскому знает?

— Немного.

— Ну вот.

— Что вот?

— А то, что в письме — французские слова.

И Таранков пристукнул кулаком по столу.

— А вы думаете, она бы не сожгла на свечке такой опасный документ? — попробовал возразить заведующий школой.— Дамы в таких делах очень осторожны.

К Ивану Васильевичу комиссия относилась доброжелательно, несмотря на то, что он был инженер.

— Как это тебя, Иван Васильевич, угораздило на баронессе жениться? — спросила председательша, затянувшись папиросой.

— А я не знал, что она баронесса.

— Это другое дело. Знал бы, конечно, не женился?

— Нет. Все равно бы женился.

— Вон ты какой разбойник!

— А гости не могли подсунуть? — спросил Таранков.

— Чего подсунуть? — не понял Иван Васильевич.

— Письмо. В колонку.

— Какие гости? Да что вы, в самом деле...

— А ты вспомни. Вы все праздники справляете. И Первый май и пасху. Кто да кто к тебе ходит?

— Многие ходят... Не понимаю, что вы хотите? Чтобы я гостям давал анкету заполнять? При чем тут эта бумажка и... и гости.

— Ты, Иван Васильевич, с высшим образованием, а будто с луны свалился,— попрекнула председательша.— Что надо, чтобы тебя скинуть? В первую очередь — под-

мочить репутацию. Вот я беру это письмо, подбрасываю в колонку и жду, когда будет чистка.

— Осторожней надо выбирать приятелей, Иван Васильевич,— добавил заведующий.

Чем больше Славик слушал, тем сильней ныла его душа. Если бы он вовремя сжег эту несчастную бумажку, отца давно бы отпустили.

Славик тихонько спросил, что будет, если он выйдет и скажет, откуда взялось письмо. Митька ахнул и выволок его на крыльцо. И там они оба, вдвоем с Коськой, принялись стыдить Славика и запугивать, что его посадят в исправдом за ограбление со взломом.

Коське вообще было непонятно, зачем выгораживать Ивана Васильевича. Разве это отец: ездит на извозчиках, шамает в ресторанах котлеты, кидает червонцы направо и налево, и лиловый негр ему подает пальто. А единственному сыну штаны не может справить — заставляет бегать в трусах и зимой и летом. И мать по национальности — баронесса. Чем жить с такими родителями, лучше удавиться. Давно пора его вычистить из советского аппарата к чертовой матери — и пламенный привет.

— Ну что вы! — несмело оправдывался Славик.— Мама, я согласен, в какой-то мере плохая. А папа хороший. Он ферму хочет перевозить. Он хороший.

Ребята снова пошли в зал. Ивана Васильевича все еще держали на сцене.

— Вы до конца понимаете, в чем вас обвиняют? — спрашивал его заведующий.— По сути дела, Скавронов утверждает, что ваша супруга выдавала белым властям коммунистов.

— Моя супруга не станет выдавать ни красных белым, ни белых красным. Она высчитала, что скоро наступит конец света.

— Вы бы объяснились со Скавроновым. А то, сами понимаете, знак молчания — знак согласия.

— Не буду я объясняться.

— Спесив, спесив,— покачала головой председательша.

— Нет, Митя, это не по-пионерски,— зашептал Славик.— Я пойду и сознаюсь. Слышал, что они про маму говорят.

— Стой где стоишь,— велел Митька.— Ничего ей не будет.

— Нет, я так не могу... Это все из-за меня... Я пойду, Митя.

— А по соплям не хочешь?

Славик не успел принять решения.

— Чего молчишь, Иван Васильевич? — заговорил Павел Захарович и, опираясь на обе руки, поднял со стула крупное тело.— Можно мне?

— Давай. По-быстрому,— разрешила председательша.

— Тут за быстротой гнаться не надо. Тут живой человек. Надо разобраться. Во-первых, каюсь. Святого духа представлял я. Даю обещание, что этого больше не повторится. Был выпивши. Сорвался. Это касательно Затуловского. Теперь — касательно Русакова, Иван Васильевича. В тысяча девятьсот девятнадцатом году прибыл Иван Васильевич в нашу богоспасаемую Новосергиевку. Обстановка такая: сигналы не горят, поезда идут вслепую. Стрелочники разбежались. Машинисты соскакивают перекинуть стрелку. Начальник участка остался от старого режима — прямо скажу, не начальник, а архиерей. Как забрался с ногами на письменный стол, так и не слазил всю зиму. Крыс опасался. Справили мы с Иваном Васильевичем мандаты, получили под расписку двадцать тысяч, поехали, я — за кровельным железом, он — за стеклом. Я попал к бандитам под шомпола, а Иван Васильевич добрался-таки до Стерлитамака, добыл сто ящиков стекла. Только воротились, является Скавронов. Штаны с леями. Маузер на боку. Государственный контролер! Пронюхал про стекло — и давай выпрашивать. Наш архиерей перепугался, пишет — выдать два ящика. А Иван Васильевич хоть и числится помощником, а не дает. Накинулся на Скавронова: «Как у тебя язык поворачивается казенное добро выпрашивать? Ты,— говорит,— государственный контролер или кто? Коммунист ты или кто?» Тот за кобуру. А в это самое время, как снег на голову, — комиссар дороги. И пришлось рабу божьему Скавронову скидать штаны с леями. А вы его в гости зазываете! Да я бы с ним рядом не сел.

— Гражданин Русаков,— спросил Таранков внезапно.— Вы не знаете, откуда взялось письмо?

— Погоди-ка,— перебила председательша.— Ты что же, Иван Васильевич, такие факты утаиваешь? Скавронова боишься?

— Я его не боялся, когда на нем пистолет висел. А теперь тем более.

— Как же прикажешь понимать твое молчание?

— Сами посудите: на днях повезем ферму. Скавронов мне нужен как воздух. Во всем колесном цехе такого рес-

сорщика не найдешь. Мастер. Вот ферму перевезем, я его, если желаете, на дуэль вызову. А сейчас не могу.

— Итак, Скавронов на вас черт те что пишет, а вы к нему претензий не имеете? — полюбопытствовал заведующий.

— Никаких. Законная обида на спецов у него еще с царского режима. А в работе — мужик золотой. И кроме того, у него есть основания меня не жаловать.

— Какие же это основания?

— Могу покаяться. Вскоре, как его вышибли с контролеров, повидал я случайно, как он живет. Окна выбиты, заткнуты чем попало, тряпьем каким-то. Жена в тифу без памяти, ребятишки по полу ползают. Забор стопили, за табуретки принялись, а в углах — лед и снег.

— Ну вот,— сказала председательша.— Знал бы, отпустил бы небось стеклышка.

— Нет. И знал бы — не отпустил.

— Да ты что? Душа у тебя есть?

— Много вы от него хочете,— сказал Таранков.— Откуда у него душа, когда он учился у Александра Первого. И жена принцесса.

— Баронесса,— поправил заведующий.

— Ну, баронесса. По-французскому знает. А вы требуете не знаете чего.

— Да как вы не понимаете! Стрелошница на переезде мерзнет с грудным ребенком — ей не давать. А Скавронову — давать? За что? За то, что штаны с леями носит? В первую голову надо остеклить служебные помещения и наладить транспорт, чтобы погнать по рельсам стекло. Тогда и на Скавронова, и на всех хватит. Вы так считаете: образованный, инженер, не знал горюшка, значит контра рабочему человеку. Вражда между нами коренится в том, что царь оставил нам невежество и неграмотность. В нас, в культурных, нужда. Поэтому мы зарабатываем больше и едим слаще. От моего разговора со Скавроновым эта вражда не затухнет. Она затухнет, когда увеличится число образованных людей, когда весь народ станет грамотным и сытым.

— Вон ты у нас какой соловей! — сказала председательша.— Надо тебя шире вовлекать в общественную работу.

— На общественную работу у меня времени не хватает. Я на рабфаке преподаю.

— Говорят, вы там американских капиталистов больно

хвалите,— сказал Таранков.— Какой у них там самый главный миллионер?.. Генрих какой-то...

— Генри Форд.

— Во-во. Генри Форд. Вы агитировали, что этот Форд шесть легковых автомобилей в сутки собирает?

— Не в сутки, а в минуту.

— Вон как! В минуту! Во-первых, если даже и в минуту, то не сам собирает, а с пролетария семь шкур дерет. А во-вторых, этого не может быть... Говорят, вы из этого Генри Форда цитаты зачитывали. Что он, Карл Маркс, чтобы из него цитаты читать?

— Тут ты немного загнул, Таранков,— перебила его председательша.— Ничего страшного нет. Нашей молодежи выпала счастливая доля обновлять Россию. А без научной организации труда Азию в Европу не превратишь. И у Форда можно кое-чему научиться. Гнушаться нечего.

— От этих разбойников научишься на собак брехать,— не сдавался Таранков.

— Давайте ближе к делу! — Председательша постучала карандашом.— Мы тут не Форда чистим... И потом, в корне неверно переносить все пороки класса на отдельную личность. По-твоему, если он капиталист, так и умного слова сказать не может? А почему же тогда моего племяша к Форду на завод послали? Вот и я, старуха, полюбопытствовала. Взяла книжку Форда: «Моя жизнь, мои достижения». Поглядеть, что за гусь... Любопытная книжка. Могу одолжить.

— Мы по-французскому, слава богу, не разбираемся,— похвастал Таранков.

— Она на русском вышла. Не бойся, не заразишься.

— Нас никакая книжка не проймет. Мы народ устойчивый. А вот молодняк — другое дело. Наслушаются про легковые автомобили, натянут фильдекосовые чулки — да на бульвар. А потом эссенцией травятся. Ковальчук Ольга у вас учится?

— У меня. Способная ученица. С натуральными логарифмами только не справляется,— объяснил Иван Васильевич, и Славик с невыразимым удивлением увидел, что его строгий папа багрово покраснел.

— Вы с ней индивидуальные занятия проводили?

— Проводил. — Папа покраснел еще гуще.

— Небось и про автомобили вкручивал?

Папа молчал.

— Ну вот,— подождав немного, произнес Таранков.— А в итоге — больница. Вот тебе и мои достижения.

— Какая больница? — вздрогнул папа.

— А вы не знали? Уксусной эссенции вчера хлебнула ваша рабфаковка.

— Зачем? — спросил папа.

Зал засмеялся.

— А затем, что дура,— отрезала председательша.— Я считаю, пока факт не выяснен, мы не имеем права обсуждать его в связи с инженером Русаковым.— Она наклонилась к пареньку со значком.— Надо нам в мастерских комсомольскую организацию поглядеть. Что у них там за активисты. Не читают ли Есенина?

Папа потянулся к графину. Председательша помогла ему, сполоснула стакан и налила до краев. Папа закинул голову и выпил двумя глотками. В зале шушукались.

— А соседи не могли подбросить? — спросил Таранков внезапно.

— Что подбросить? — Краска схлынула у папы с лица, и он стоял белый как мел.

— Письмо.

— Могли и вы подбросить,— металлическим и как будто даже блестящим голосом отчеканил папа.— Вы тоже сосед.

— Давайте серьезней. Здесь не пикник, а чистка,— напомнил заведующий.

Кроме Таранкова, который испытывал ко всем без исключения ревизорское недоверие, комиссия относилась к Русакову снисходительно и ставить его под сомнение не собиралась даже в том случае, если бы обнаружилось, что он не знает Эрфуртской программы. То, что отношения Ивана Васильевича с Ольгой Ковальчук зашли несколько дальше упражнений с натуральными логарифмами, было известно довольно широко. Это баловство было понятно, представитель образованной верхушки согласно закону Дарвина тянулся к полнокровному, победоносному классу труда, за которым будущее, а комсомолка Олька Ковальчук отметала старые условности и предрассудки и утверждала новую мораль в отношениях между полами.

Но как только у Ивана Васильевича задрожали руки и стало ясно, что он любит Ольгу Ковальчук без всякой новой морали, а на самый обыкновенный старорежимный манер, и заведующий школой и паренек со значком насторожились и стали шептать седой председательше в оба

уха, что если инженер попал под влияние рабфаковки, не понимающей натуральных логарифмов, значит, он не вполне принципиальный и устойчивый, а следовательно, может стать игрушкой в руках враждебных сил. И к обрывку письма, найденному в колонке ванной, придется отнестись с сугубым вниманием. Прав товарищ Таранков. Придется отнестись с сугубым вниманием.

26

Низко над головой Славика на белом выгнутом потолке трепетал солнечный зайчик. Сперва Славик подумал, что залетел на своей кроватке под самые небеса, но скоро догадался, что лежит на верхней полке и над ним выгибается потолок вагона с жалюзи и лампионом. Нижняя половина окна была задернута шелковой шторкой, а через верхнюю половину виднелась пустая желтая степь и ястреб, как будто приколотый для красоты к скучному желтому небу.

Поезд стоял. Вагон качало ветром.

Внизу разговаривали.

— Вы бы сами, Иван Васильевич, послушали, как он распинался,— говорил чужой голос.— «Отцы,— говорит,— не добили, мы,— говорит,— добьем. И тебе — говорит,— ноги повыдергиваем». Это мне, значит, ноги он повыдергивает!

— Все равно,— сказал папа металлическим голосом.— Это не оправдание затевать драку. Ты комсомолец — должен быть образцом.

— Он на меня подковой замахивается, а я буду образцом стоять? — воскликнул папин собеседник, и Славик узнал голос Герасима.— Он мне пуговицу оборвал! Пуговицу оборвал да еще подковой замахивается. На кого замахивается, дурила! На мой загривок по два куля клали... Таких Мотрошиловых я троих в один узел увяжу.

— Придется Павла Захаровича попросить, пусть взыскивает. Мы тебя сюда не драться взяли.

Папа немного помолчал. Потом спросил:

— Где Павел Захарович?

— Поехал на разъезд с начальством ругаться. Все равно часа три стоять. Кривую рихтуют.

— На паровозе?

— На паровозе.

— Напрасно поехал.

— Как же, Иван Васильевич! То вы начальник перевозки фермы, то он начальник перевозки. Некрасиво.

Окончательно проснувшись, Славик вспомнил, что папа взял его с собой на перевозку фермы и что он едет в служебном вагоне, в так называемом вспомогательном поезде, и вслед за вспомогательным поездом особый паровоз «овечка» везет ферму.

Мама ни в коем случае не пустила бы Славика на вспомогательный поезд. Но в последние дни на нее напала страшная головная боль, и упросить ее было просто. Перед отъездом она позвала Славика к себе в темную спальню, велела самому собрать в дорогу самое необходимое, опасаться скорпионов, поцеловала в лоб и прошептала: «Несчастный ребенок».

Из самого необходимого Славик взял в дорогу барабан.

Поздно ночью его уложили на верхнюю полку. Он дал слово не пропустить момент погрузки фермы на тележку и тут же заснул. И вот, проснувшись, он услышал странную новость: папа почему-то уже не начальник перевозки, а помощник. А начальником перевозки назначили Павла Захаровича.

— Как принесли депешу, что отца вместо вас ставят, Мотрошилов с лица сменился,— сказал Герасим.

— Вот как! Не думал, что он за меня.

— Тут, Иван Васильевич, другое. Мы пришли к выводу, что этот Мотрошилов большого козла вам подложить собирался.

— Какого же, если не секрет?

— Конечно, вы будете смеяться, но мы считаем за факт. Он собирался ферму под откос завалить.

— Тебе бы, Герасим, романы писать.

— Не смейтесь, Иван Васильевич. Вы человек сугубо гражданский, а Павел Захарович два года партизанил и работал в ЧК. Как думаете, зачем Мотрошилов подкову везет? Нет, нет, не смейтесь, к чему у него в кармане подкова? Партизаны в гражданку знаете как поезда с рельсов сбивали? Не знаете? То-то и есть, что не знаете. Прилаживали на головку рельса подкову — и паровоз набок.

— Сказки,— сказал папа устало.— Сказки, Герасим, сказки.

— А почему он зубами захрустел, когда вас с начальников сняли? Ферма завалится — начальнику крышка. И вдруг вы не начальник и подкова ни к чему.

— Вот видишь. Нет худа без добра.

— Вы, Иван Васильевич, его опасайтесь. У нас там у каждого по ходу дела у кого лом, у кого выдерга. Конечно, не мое дело вас учить, а Мотрошилова лучше бы услать. Без него уладимся. Дрезина в город пойдет, с ней и услать бы.

— Роман уверял, что отобрал лучших из лучших,— возразил папа.— У нас нет оснований ему не верить. А зачем посылают дрезину?

— Скавронов ключи какие-то позабыл.

— Вот растяпы.

— Ничего не сделаешь. Неприятность там у них. Деваха из инструменталки отравилась. Запутались без нее. Шведики позабыли.

— А не говорят, отчего отравилась? — спросил папа быстро.

— Я думаю, от любови. У них это быстро.

— Что ты думаешь, меня не интересует. Что говорят люди?

— Разное болтают. Мотрошилов из-за нее рехнулся. Лазил, говорят, в больницу. Через окно. Милицию вызывали.

— Что он сказал? Как она?

— Разве к нему подступишься? Она расписалась с ним, а потом выпила эссенцию. Испортила медовый месяц. Ничего, бабы долго не хворают. Оживет.

— Оживет,— подтвердил Славик.— Алина с соседнего двора три раза травилась, а ходит.

— Ты не спишь? — спросил папа.

— Нет.

— Вставай. Проспишь царство небесное. Пойди прогуляйся.

Славик попросил папу застегнуть лифчик, оделся, нацепил на шею барабан и вышел в тамбур. Далеко расстилалась ровная, как будто глаженная утюгом, степь. Справа поднимались невысокие желтые отроги Уральских гор. По отрогу сползала отара овец, плотная, как булыжная мостовая.

Последняя ступенька вагона висела высоко над землей. Славик, закусив губку, спрыгнул, и песок набрался в его сандалии.

Очутившись в степи, он первым делом проверил, нет ли где-нибудь скорпиона. От укуса скорпиона человек синеет, раздувается — словом, становится такой, как Павел

Захарович, и умирает в страшных судорогах. Поблизости скорпионов не было. Славик забарабанил и зашагал по треснутому, сложенному будто из плиток солончаку.

Кругом сухо свиристело и стрекотало, будто всю степь перепиливали лобзиками. Славик посмотрел на пустое, белесое небо, и ему показалось, что он когда-то ходил здесь, хотя этого никак не могло быть: лето и зиму он безвыездно жил в городе и только один раз в жизни ездил на папину родину, в Тверскую губернию. Да и там пробыл недолго. Мама прожила в деревне вместо двух месяцев всего несколько дней: там не было уборной.

Наконец он догадался, что летал сюда во сне на кроватке. Именно здесь бродили динозавры со змеиными шеями, и здесь он выручал Таню.

Все было так же, как тогда. Не хватало только Тани да клубящихся первобытных туч. Славик забарабанил и подумал: «Тучи — ладно, а хорошо бы, если бы появилась Таня».

И только он это подумал, его окликнул милый хрипловатый голос:

— Огурчик!

Он обернулся и увидел ее.

Она стояла одна на самой середине степи, и велосипед нахально облокачивался на нее. И юнгштурмовка была с засученными рукавами. И волосы свисали по бокам, как буденовка.

Это было до того волшебно, что Славик улыбнулся.

— С ума сойти! — засмеялась Таня.— Ты куда направился?

Он взял себя в руки и свысока ответил:

— Куда надо, туда и направился.

— Куда же тебе надо? — спросила Таня и застегнула пуговицу у него на штанах.— Как ты здесь очутился?

— Мы ферму перевозим. Не видите, что ли?

Ветерок надувал ей на глаза волосы, и она смотрела как через сетку.

— А вы чего тут? — спросил Славик грубо.

— Я к вашему начальству ездила. Лопатку просить.

— Зачем вам лопатка?

— Да не мне. Яше.

— А где он?

— Он вот где,— ответила Таня, прижимая руку к груди.— Он здесь навеки, Огурчик.

И счастливо засмеялась.

Славик решил, что в кармане юнгштурмовки лежит Яшина карточка, и спросил снова:

— Нет, сам он где. Правдашный.

— Правдашный Яша выкапывает скелет. Уже второй день. У него сломалась лопата, и он просил найти новую. Едва выпросила. Жадюги ваши железнодорожники, так и доложи своему папе. Лопатки им жалко. Поехали к Яше?

— А далеко?

— Версты три. Не помрешь. Поехали!

Славик вцепился в сверкающий руль и, совсем как во сне, поплыл в глубину степи в Таниных полуобъятьях.

Его несло все дальше и дальше, длинные Танины волосы нежно щекотали его виски, твердое Танино колено ритмично трогало его ногу, горячий запах юнгштурмовки кружил ему голову.

— Хорошо? — тихо спросила Таня.

— Подумаешь,— сказал он презрительно.

А история случилась такая. Несколько дней назад, бродя по базару, Яша увидел девчонку-казашку. Девчонка продавала каймак. Как беркут, набросился на нее Яша. Произошел скандал. Откуда ни возьмись, сбежались родственники девчонки — братья, отец, мать. Когда шум поутих, Яше удалось объяснить, в чем дело. В монисте торговки была монетка с именем великого каана Менгу — величайшая редкость времен монголо-татарского ига. После долгих переговоров, вскриков и взвизгиваний было установлено, что монетка найдена у норки суслика, верстах в тридцати от города.

Яшу охватило состояние, похожее на горячку. Он не сомневался, что в том месте, где суслик копал свои ходы и вытолкнул вместе с грунтом монетку, был похоронен князек-завоеватель — какой-нибудь нойон или нукер. Такие погребения обнаруживались чрезвычайно редко. В отличие от половцев-кипчаков монголо-татары не насыпали над покойниками курганов. Они хоронили свою знать секретно и над свежей могилой гоняли табуны, чтобы потревоженное место стало неотличимым от вековечной степи.

Яша забыл про письмо Барановского, для разгадки которого поднял на ноги массу народа, и добился от казахов обещания вместе искать сусличью нору.

Когда Таня и Славик подъехали, Яша закопался уже так глубоко, что его не было видно. Только серые грудки земли взлетали над степью. Дожидаясь Таню, Яша копал

сломанной саперкой. Он лоснился от пота, и веки его были красные, как у голубя.

Лопате, которую привезла Таня, Яша очень обрадовался. Это была настоящая, добротная, хорошо заостренная штыковая лопата.

Работы оставалось много. Как только обнаружатся кости, придется осторожно углубляться вокруг покойника. А когда скелет окажется как бы на столе, придется со всей возможной деликатностью очищать его от земного праха, и уж, конечно, не лопатой, а щеточками и метелками, а может быть, и кисточками, чтобы не упустить ни одной самой малюсенькой бусинки. Может оказаться, что один покойник лежит на другом. Во времена ига был обычай класть под умершего властителя живого раба. Раб задыхался, закапывали обоих. То было удивительное время: живые позволяли угнетать себя даже трупам.

— Вы не знаете, что Чингисхан считал главным наслаждением человека? — выкликал Яша из ямы.— Этот фаршированный психопат считал главным наслаждением ограбить врага до нитки, видеть дорогих ему людей в слезах, ездить на его лошадях, целовать его дочерей и жен!..— Он бросил копать и утер пот.— Если вдуматься, жалкая программа. Высшее удовольствие Чингисхана — унижать. А унижать можно только высокое... Чингисхан как бы признает превосходство врага — и моральное, и всяческое иное...

— Как же они словчились нас завоевать? — спросила Таня.

— Надо в музей ходить! — кричал Яша.— В том и состоит парадокс рабства, что рабы от сотворения мира сами позволяли и даже помогали угнетать себя. Рабы плели нагайки, которыми их стегали, рабы ковали цепи и кандалы, в которые их заковывали, рабы делали мечи и ятаганы, которыми сами же отрубали друг другу головы, рабы стерегли друг друга, чтобы не убегали, и рабы ловили беглых рабов...

— Лучше умереть, чем плести для себя плетку,— сказал Славик.

— Это не так просто, мальчик! Человек всегда найдет уловку, чтобы выжить. На Руси такой уловкой был боженька. Боженька призывал к страданию и смирению. Ведь если страдание — добродетель, умирать разве можно?

— Религия — опиум для народа, это дважды два,— сказала Таня.— Но все же вера облегчала им жизнь.

— Вера никогда не облегчает человеческую жизнь! — закричал Яша.— Глупости! Вера облегчает не всякое существование! Вера облегчает только рабское существование! Рабство и слепая вера всегда гуляют под ручку! Надо ходить в музей!

— Значит, по-твоему, я не должна ни во что верить?

— Конечно! Ты должна мыслить, даже если ты не какая-нибудь Спиноза. Раб не обязательно тот, кого приковывали к галерам. Рабом становится тот, кто конфузится мыслить.

— Загибаешь, Яшка. Веры бывают разные. Ты в коммунизм веришь?

— Коммунизм не нуждается в вере! Коммунизм — наука! Коммунизм — это человеческое достоинство, самостоятельность мысли. Товарищ Глеб писал перед смертью: «Не хочу быть двуличным». Это что значит? Это значит — не могу быть рабом, не могу терять человеческое достоинство! Сколько понадобилось духовной работы народа, чтобы после монголо-татарского забытья выросли такие Глебы, и не один, а тысячи и миллионы, чтобы они поняли, что они люди, и сознательно поднялись на революцию.

— Царя свергал пролетариат Питера,— дразнила его Таня.— А у нас тут как были куроеды, так и остались. Как при татарах.

— Ты просто несознательная дура! — кричал Яша.— Тебе кругом мерещатся куроеды. Почему ты не видишь, как у нас до некоторой степени колоссально выросли люди? Спроси в очереди: «Кто последний?» Что тебе скажут? Тебе ничего не скажут, тебе обидятся. У нас нет последних! Может, отдельные единицы вроде тебя...

Таня спрыгнула в яму и обняла Яшу.

Велосипед упал.

— Ах, отстань, отлепись, пожалуйста! — сердился Яша.

— Ты меня любишь?

— Да. Только отлепись!

Таня обнимала его крепко, но он все-таки умудрялся копать.

— А любишь — поцелуй,— приставала она.— Я же тебе лопату достала.

— Как все-таки не совестно.— Яша показал глазами на Славика.

— Он ничего не понимает,— засмеялась Таня.— Огурчик, вы проходили про тычинки-пестики?

— Нет,— произнес Славик печально.

— Ну вот, видишь. Целуй — не отравишься.

У Славика закружилась голова.

— До свидания,— с трудом выговорил он дрожащими губами, но Таня его не услышала.

Он пошел к железной дороге, и длинная степная тень с острой головой тащилась за ним. Он попробовал барабанить, но ничего не получилось. Палочка натыкалась на палочку.

Две рабочие теплушки, служебный вагончик, две платформы со шпалами, лебедками и рельсами стояли без паровоза, как потерянные. За коротким вспомогательным поездом к огромной мостовой ферме был подцеплен несчастный, крошечный паровозик с откидной крышкой на трубе.

Славик шел и шел. Из-под ног у него стреляли кузнечики. А вагончики оставались такими же крошечными, словно он передвигал ноги на одном месте.

Славик дал себе слово не оглядываться, но все-таки оглянулся. Велосипедное колесо крутилось, взблескивая спицами. Над степью подпрыгивали грудки земли. «Все-таки безобразие,— подумал Славик.— Если ее назначили вожатой, она не имеет права целоваться».

Железная дорога внезапно оказалась совсем близко, будто ее пододвинули.

Под служебным вагоном спасался от солнца парень в коротких брезентовых штанах. Славик попросил его подсадить.

Парень странно, по-птичьи щебетнул горлом и спросил:

— А ты здешний?

Он поднял Славика на высокую ступеньку и полез вслед за ним. Они прошли коридор, спальные купе и оказались в салоне с зеркальными окнами. Тяжелые стулья с железнодорожными гербами окружали привинченный к полу полированный стол. Кожаный роскошный диван занимал всю поперечную стену, украшенную медными крючками и кнопками. В торце была дверь на балкон.

— Вот это да! — бормотал парень, заглядывая в купе.— Вот это ездят! — И при этом щебетал горлом.— А это зачем?

— Это пепельница,— объяснил Славик.

— Вот это да! Пепельница! — удивлялся он, как маленький.— Едут, значит, на диванах и покуривают!

Парень был коренаст и курнос. Его серые, как полынь,

волосы были подстрижены ножницами. Ворот косоворотки отваливался углом.

— А это зачем? — спрашивал он каждую минуту.

Он был совсем молодой, симпатичный и простодушным любопытством походил на Коську.

— Это графин. Воду пить,— объяснил Славик.

Парень налил стакан и выпил.

— А это зачем?

— Это выключатель. Для нормального света и для синего.— Славик подумал и спросил: — Как вы думаете, прилично целоваться при посторонних?

Парень так и застыл с рукой, протянутой к выключателю.

— Ты кто такой? — спросил парень.

— Я Славик.

— Какой такой Славик? Фамилия?

— Русаков.

— Ага! Вон ты кто! — Парень щебетнул.— Так и знал... Целовать ему надо, товарищи! На людях ему надо... Русаковское семя. Сразу видать. У тебя билет есть?

— Мне не надо билета. Это папин вагон.

— А почему это получается, что ты в мягком вагоне едешь, а я в твердом?

Славик промолчал. Он давно свыкся с тем, что, будучи сыном инженера Русакова, совершил какую-то пакость, а после Таниного вероломства ему вообще было все безразлично.

— Значит, это папин вагон? — приставал парень.— За какие такие заслуги ему назначили вагон с диваном?

— Он перевозит ферму. Ему и дали. А вы лучше уходите. А то он придет и вас выгонит.

— Меня? Да ты знаешь, кто я такой! Я главный контролер курьерских путей первого класса! — продекламировал он.— Вот кто я такой! Я по вагонам зайцев ловлю. Кто без билета. У меня закон короткий, товарищи! Билета нет — отрезаю ухо. Видал — по базару пацаны без ушей бегают?

— Видал,— сказал Славик, чтобы не спорить.

— Ну вот. Всех я словил. У меня дома ихние уши, как грибы на нитке сушатся. А ну, подойди.

Славик подошел.

— Предъяви провизионку.

— У меня нету.

— Ага, нету! — Парень достал из кармана перочин-

ный нож, дунул, вытянул лезвие и поточил о колено.— Скинь барабан! Стань передо мной, как лист перед травой!

Славик понимал, что парень шутит, но ему было обидно, что его считают за дурачка; на душе его было тошно. Он вспомнил маму, вспомнил свою погибшую любовь и заплакал.

— Ну, будет, будет! — испугался парень.— Другой раз будешь без билета ездить? Это что, барабан? Дай-ка.

Парень нацепил тесемку на шею. Барабан оказался у него под самым подбородком. Он попробовал стукать палочками.

В коридоре послышались точные шаги, и в салон вошел папа.

— Это что такое? — спросил он, нахмурившись.— Мотрошилов? Почему не на работе?

Парень растерялся.

— Ну? — ждал папа.

— Имею нужду переговорить с вами, товарищ начальник,— тихо и даже почтительно начал Мотрошилов.— Переговорить чинно-благородно, безо всякого шума по обоюдному вопросу. Прошу не побрезговать и переговорить,— он щебетнул горлом,— поскольку я давно по причине невозможности...

Папа не дослушал и пошел умываться.

— Чинно-благородно, по обоюдному вопросу...— торопливо повторил Мотрошилов.— Ты что морду воротишь! — закричал он, срывая барабан.— Недорезали вас, белогвардейцев! Ну, погоди!

Отец вернулся с полотенцем и сказал безучастно:

— Пошел вон отсюда!

— Ты надо мной не командуй.— Мотрошилов угрожающе замотал пальцем.— Ты кто такой, чтобы надо мной командовать? С начальников тебя скинули? Обломали рога? Так что извиняемся. Теперь ты ноль без палочки. Вот ты кто! — Он вроде бы опомнился, положил барабан на стол и снова перешел на почтительный, по-видимому, давно продуманный тон.— Я, товарищ начальник, человек против вас, конечно, неученый. Что у нее раньше было — я во внимание не беру, прощаю, а с вами требуется переговорить чинно-благородно и окончательно.

— Сейчас не время,— сказал папа.— Надвинем ферму, тогда пожалуйста.

— А живую красу губить было время?! — снова

взвился Мотрошилов.— Было место? Такую девку суродовал!.. Думаешь, в мягком вагоне от меня уедешь? Не-ет! Никуда ты от меня не уедешь, господин хороший!

— Ты был у ней? — тихо спросил папа.

— А то не был! Лежит на коечке, как смерть всё равно.— Голос его задрожал.— Кабы вас не было...

— Как она... Как... ее самочувствие?

— Самочувствие тебе надо! — Мотрошилов внимательно посмотрел на папу.— Ты что, опять ее дожидаешься? Нет уж! Поигрался — хватит. Не видать ее тебе больше... Кабы не ты, она бы со мной бы спервоначалу.— Он щебетнул горлом.— И как вас, ядовитых гадов, земля носит. Как стукну по кумполу! — Он схватил графин за горлышко, замахнулся.

— Разобьешь мне голову, она тебя и полюбит,— сказал папа печально. Он без усилия вынул из руки Мотрошилова графин, поставил на место и повторил: — Что с ней? Как она? Я совсем извелся. Понимаешь?

— Ага! Извелся?! А если я тебе ничего не скажу, чего ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Она моя законная супруга. Имею я полное право не говорить? Имею. Уйду, и не узнаешь ты ничего...— и он загоготал вдруг совсем как Коська.

— Ей легче?

— А ничего не скажу! Мое дело. Может, в «Ампир» поведем, а может, на погост потащим. А ты покрутись покедова.

По вагону ударило. Радостно заиграли буфера. К составу прицепляли паровоз.

— Кстати,— вспомнил папа,— где у тебя подкова?

Мотрошилов щебетнул.

— Неужели ты действительно ферму хотел под откос пустить? Поразительно. Ведь ты рабочий человек. При чем тут ферма? Я тебе дорогу заслонил, меня и бей. А фермы не касайся.

Мотрошилов поглядел на него с удивлением.

— Да вы что? Да разве я до этого допущу?.. Эту подкову я с собой... вроде бы на счастье... Для Олечки...

Он замолчал.

В вагон, сопя, забирался Павел Захарович.

— Будьте добры, подождите меня у вагона,— сказал папа Мотрошилову.— Я через минуту к вам выйду.

— Ты с ним осторожней,— заметил Павел Захарович, когда Мотрошилов вышел.

— Я и так осторожно,— папа усмехнулся.— Чего же ты меня не предупредил, Захарыч? Паровоз угнал, как при военном коммунизме. Начальство застал?

— Застал. Все были на проводе, все мозги им простучал, и все без толку.

— Начальство морзянкой не проймешь.

— Подложил же ты мне хавронью, Иван Васильевич. Во какую! Рабочих совестно. Задумка твоя, а тут пожалуйте — самозванец.

— Пустяки, Захарыч! Зато у тебя теперь звание роскошное: «Начальник перевозки фермы». Сокращенно «начперфер».

— А ты не хорохорься! — Павел Захарович стал синеть. Когда его раздражали, он синел, как индюк.— Я бы на твоем месте остановил работы и отбыл в управление. Ставь вопрос ребром: в чем дело?

— Не до этого мне, Захарыч.

Павел Захарович поглядел на него, как на больного, покачал головой.

— Толковый ты мужик, Иван Васильевич, а есть в тебе червоточина. Заразили тебя в императорском институте гонором и барским чистоплюйством. Никакой выгоды от этой заразы не будет ни тебе, ни детям твоим, помянешь меня потом.

Папа молча глядел в окно. Павел Захарович подошел, крепко шлепнул его по плечу:

— Давай уговоримся,— сказал он.— Командуй попрежнему, а я — твоя передаточная инстанция. Сыграю, как сумею, начальника, а на досуге разберемся.

— Как хочешь...

Папа вышел.

Павел Захарович и Славик видели в окно, как папа и Мотрошилов пошли в степь, но не в ту сторону, где рабочие рихтовали кривую, а в другую. Они ушли довольно далеко, оглянулись назад и пошли дальше.

— Куда это они пылят? — спросил Павел Захарович.

— Не знаю,— ответил Славик.— Кажется, драться.

— Драться?!

— А вы не бойтесь. Папа его побьет.— И увидев, что лицо Павла Захаровича стало синеть, Славик заговорил быстрее: — Папа, знаете, какой сильный! Передвигал буфет. Мама говорит, надорвешься, сейчас я позову Нюру. А пока ходили за Нюрой, папа сам передвинул. Даже все ахнули!

27

Как только Славик вернулся с перевозки фермы, Таня вручила ему пионерский галстук и объявила, что его включили в сводный взвод барабанщиков, который пойдет впереди колонны пионеров на демонстрации Седьмого ноября.

Она велела хранить галстук в чистоте и порядке, научила правильно завязывать узел и объяснила то, что Славик давно знал: короткий конец символизирует пионерскую организацию, другой конец — комсомол, третий — РКП, а узел — связь между поколениями.

Славик слушал вожатую с холодным презрением. Она явно подлизывалась. Он еще не давал торжественного обещания и формально не имел права носить галстук.

Между ними все было кончено.

Впрочем, к Славику быстро вернулось хорошее настроение. Что бы там ни было, а он становится настоящим пионером — таким же, как все.

И вот Славик первый раз после приезда лез на крышу показать ребятам алый галстук и рассказать, что его включили в сводный взвод барабанщиков и что ему чуть-чуть не отрезали ухо.

Пожарная лестница гремела сверху донизу. Голубятники ее совсем расшатали. Ребята были все в сборе: и Митя, и Коська, и Таракан. Но рассказывать Славику не пришлось. Пока он ездил с папой надвигать ферму, во дворе произошли важные события.

Первое событие было такое: Таракана осенила мысль превратить царский двугривенный в ходовую монету.

Он побежал на базар и быстро приметил подслеповатую бабку — как раз то, что было надо. Бабка торговала семечками. Таракан важно вручил двугривенный, подставил карман и велел сыпать на копейку. Все шло как по нотам. Придерживая губами денежку, старуха полезла за сдачей, извлекла из-под чулка носовичок, развязала его и принялась копаться в медяках. Подойди Таракан минутой раньше, и он вернулся бы во двор победителем — с полновесными девятнадцатью копейками и с карманом, полным семечек. Но судьба подстроила так: пока бабка считала сдачу, проходил пожарник со щукой. Бабка мигом сторговалась за гривенник и подала серебряную монету. Пожарник углядел царского орла, поднял шум. Собрались зрители.

Таракан, как и всегда в таких случаях, не растерялся.

Сперва он пытался убедить бабку, что по новому декрету царские деньги снова пустили в ход, потом, когда поднабрался народ, стал кричать, что николаевскую деньгу она сама только что вытащила из чулка. Старуха причитала, зеваки посмеивались. Пожарник требовал обратно рыбу, Таракан — сдачу.

В самый разгар спора сильная пятерня вцепилась Таракану в рубаху. Он оглянулся и увидел Кулибина. «Ты что? — промолвил Кулибин.— Обратно честный народ обманывать? А ну, пойдем-ка».— «Полегше,— сказал Таракан с достоинством.— У меня на шее чирей».— «Ничего, я тебе сведу чирей»,— сказал Кулибин-сын. «Мне сдачу надо получить».— «Пойдем, пойдем, я тебе отпущу сдачу». Кулибин привел Таракана к лавке и стал отмыкать замок. У охраняющих Таракана неведомых сил была тяжелая задачка. «Любопытно, как они выкрутятся»,— подумал он. Кулибин втолкнул его в темную лавку и спросил: «Ты зачем, гнида, заместо бумаги сургуч продаешь?» Таракану стало жутко и весело. «А ты зачем детишкам царские деньги сбываешь?» — спросил Таракан. Кулибин схватил пригоршню сургучных печатей и стал запихивать Таракану куда попало — в карманы, в штаны, за шиворот, в рот. «Вот тебе сдача, мазурик,— сладострастно приговаривал он.— Вот тебе сдача, сукин сын». Таракан крутанулся волчком, нащупал верное «перышко», и острое лезвие напоролось на толстый кулак мясника. «Караул! — взвыл Кулибин.— Режут!» Тяжелым ударом он сбил мальчишку с ног и стал лупцевать его в темноте куда попало кулаками, локтями, ногами, а сам орал на всякий случай: «Караул! Убивают!»

Очнулся Таракан не скоро. Он лежал в кромешной тьме, в чем-то мокром; над ним светились неровные ниточки. Постепенно он догадался, что светлые ниточки — щели между досками и что он лежит в ларе, куда мясники выбрасывают всякую дрянь — гнилые кишки, кости, копыта. Таракан стал вспоминать, что произошло, и размышлять о странностях жизни. Его тело гудело, как телеграфный столб. Сил не было. Сперва он решил здесь переночевать. Но мухи не давали покоя. К тому же он обнаружил, что верное «перышко» исчезло. Эта потеря огорчила его, и он решил отомстить мяснику сейчас же: или прикончить его самого, или поджечь лавку. Он с трудом поднял крышку ларя и выбрался, выплевывая изо рта кровь и сургучные крошки. Пройдя шагов двадцать, он упал.

И если бы не Алина с соседнего двора, его история на этом бы и кончилась...

Отцу Таракан не сказал ничего. Соседи советовали вызвать врача. «Не врача надо вызывать,— сказал Таранков,— а участкового». Врач все-таки пришел, прописал цинковую мазь, велел лежать две недели и мерить температуру. Таракан вылежал два дня, а на третий полез на крышу. Там его и застал Славик.

Таракан сидел у трубы, чугунный от синяков, и губы у него были как жареные.

Возле него кверху бледными лапками лежал мертвый турман.

Это было другое большое несчастье. Главный голубь, супруг Зорьки, подох.

Несколько дней он ничего не ел и не пил, сидел нечесаный и лохматый, похожий на еловую шишку, и, хотя Коська развлекал его, как умел, пел ему: «Ох, Мотя, подлец буду...» — сидел нахохлившись и грел нос под крылом. А сегодня утром ребята застали его мертвым.

Потеря голубя потрясла Славика больше, чем история Таракана.

— Не рыдай, родная, успокойся,— утешал его Коська.— Мы тут другое начинание затеяли. Об голубе тужить нечего! Обожди, понаставим домиков не хужей Самсона, на сотню турманов.

— За бумагой я не полезу,— предупредил Славик.— У меня нет больше настроения лазить за бумагой.

— Нам не надо бумаги. У нас другое начинание.

— Лампочки,— осторожно шевеля разбитыми губами, выговорил Таракан.

— Понятно тебе, лампочки! — подхватил Коська.— На Седьмое ноября затеют гулянку, лампочки понавешивают. Иллюминацию затеют — веселися, весь народ.— Дождем, когда лягут спать, и пойдем с корзинами... Пускай каждый по сотне лампочек вывинтит — это сколько будет денег, умноженное на четыре?

— Да вы что! — сказал Славик.— Я не пойду.

— А если нет, то почему?

— Все,— выговорил Таракан.

— Нет, я серьезно не пойду. Во-первых, люди будут праздновать революцию, а мы почему-то будем вывинчивать лампочки. Это просто свинство с нашей стороны. Я не пойду. И Митя, я думаю, забыл, что он юный пионер.

— Все,— снова через силу процедил Таракан.

— Все пойдем, понятно тебе? — Коська с удовольствием выполнял должность толмача.— Днем тебе никто не запрещает: пионер, стучи на барабане и будь готов,— а ночью будь такой любезный, не забывай, что ты в шайке голубятников, и явись по команде с корзинкой. Чем крепше нервы, чем ближе цель.

— Митя, неужели ты согласился? — спросил Славик.— Это же свинство!

— Да нет,— протянул Митя нехотя.— Я вывинчивать не подряжался. Я носить только.

— Как же тебе не стыдно! Красную звездочку повесят, а ты с нее лампочки вывинтишь, чтобы она потухла? Ты что, забыл, что ли, заветы?

— Что ты ко мне прилепился! — крикнул Митя.— Никуда я не пойду с ними... Я не знал, что звездочка!.. Я не подряжался со звездочки вывинчивать! И сам не стану, и Таракану не дам!

Лицо Таракана стало костяным. Он с трудом поднялся и, хромая, направился к Славику. Упругое железо гремело от его шагов то возле Мити, то возле Коськи. Славик стоял у самого края. С высоты четырех этажей были хорошо видны пригнанные, как кукурузные зернышки, камни мостовой. Проехала белая крыша автобуса. Таракан осторожно, боком, опускался по крутому скату.

— Ладно вам, ладно,— забормотал Коська.— Ты, Огурец, народ не сбивай. А то по сопатке. Я по-прежнему такой же нежный.

Таракан приблизился к Славику и уставился на него холодными золочеными глазами.

— Пойдешь? — проговорил он неповоротливыми губами.

— Тебя, Огурец, спрашивают. Пойдешь или нет? — подхватил Коська, хотя нужды в переводе не было.

— Да пойми же ты, Таракан,— очень убедительно заговорил Славик.— Ты человек вдумчивый. Лампочки повесят не так просто, а в честь революции, на память о людях, которые погибли за революцию, за всех нас, и в том числе за твое счастье. Вот был Глеб, Митя знает, молодой большевик. Его застрелили в тюрьме. И на память об этом Глебе повесят лампочки. Как же ты можешь их вывинчивать. Что ты?!

Таракан не слушал. Он удивленно осматривал красивыми глазами пацаненка, который осмелился ему возражать.

— Если тебе понадобились деньги, лучше я еще раз в подвал полезу,— говорил Славик.— А лампочки вывинчивать — это же воровство. Это некрасиво...

— Некрасиво? — спросил Таракан и схватил Славика за галстук у самого подбородка, так что Славику пришлось задрать голову.

— Пусти,— сказал Славик белея.

Он многое сносил от приятелей ради дружбы, ради подобия дружбы. Но то, что Таракан схватился шершавой, в цыпках рукой за новенький, подаренный Таней и поглаженный мамой пионерский галстук, схватился грязной рукой за святыню, которая превращает его в человека, как все,— этого его маленькая душа вынести не могла.

— Пусти галстук,— сказал он металлическим папиным голосом.

— А пойдешь?

— Пусти галстук.

— А если с крыши скину?

Фраза была слишком длинной. Из губы Таракана пошла кровь.

— Пусти сейчас же,— сказал Славик.— Или... или я не знаю, что с тобой сделаю.

— Два... Три...— отсчитывал Таракан, подталкивая его к водосточному желобу.

И тут произошло то, о чем впоследствии говорили не только свои ребята, но и пацаны с соседнего двора и с улицы, и о чем сам Славик вспоминал с замиранием сердца. Все поплыло перед его глазами. Удивительный, сверкающий мир, в котором раздают барабаны, жгут у реки костры, загоняют голубей, катаются на велосипедах, летают на кроватках под небеса, играют на фортунке, щурятся на солнце, жуют серку,— весь этот многоцветный, заманивающий мир терял цену, если в нем совершаются такие невыносимости. Сладкая злоба захлестнула Славика. Крепко, до судороги, схватил он владыку двора за вихры, схватил обеими руками с такой силой, что пальцами услышал, как трещали корни волос, и повис на нем всей своей тяжестью. Он понимал, что жить ему оставалось считанные секунды, и торопился насладиться этими последними секундами возможно полней.

— Ты плохой! — кричал он пронзительно и дико.— Тебя боятся, ты и воображаешь! А по правде, ты плохой! Очень плохой и даже отвратительный!

По расчетам Славика, они должны были давно уже

лететь кверху тормашками. Но произошло другое: Таракан стал пятиться от края крыши к слуховому окну, к голубятне. Славик сперва ничего не понял, а когда понял, от изумления разжал руки. Несколько шагов Таракан осторожно пятился все так же, пригнувшись; ему казалось, что его еще тянут за волосы. Со стороны это казалось смешным; во всяком случае, зеленый от ужаса Коська издал звук, похожий на хихиканье.

Наконец Таракан встряхнулся, оглядел Славика сверху вниз и снизу вверх по контуру.

— Чего? — криво усмехнулся он.— Перепугался? А ну, сгинь!

Коська и Митя торчали — один у голубятни, другой у трубы — как замороженные.

Славик перешел на другой скат и, только теперь начиная пугаться, стал слезать по гремучей пожарной лестнице.

28

Славик так и не понимал — гордиться ему своим отчаянным поступком или раскаиваться. Правда, Митя стал поглядывать на него уважительно и два раза назвал его не Огурцом, а просто Славкой. Но стоило Славику представить, как нога срывается с желоба и как они с Тараканом, сцепившись, медленно летят на выпуклые камни мостовой, дыхание у него захватывало, и противная дрожь продирала до самых пяток.

Только барабан утешал Славика.

Когда взрослые уходили на службу, он запирал черный ход на крюк и учился барабанить в коридоре. Конечно, приятнее было бы пройтись по двору, похвастать хотя бы перед Машуткой, но выходить из квартиры было невозможно. Таракан третий день ждал его, чтобы «вывернуть наизнанку».

Впрочем, через несколько дней выйти все-таки пришлось. Вожатая дала ему неотложное задание: навестить больную Ольку.

Сначала Славик решил идти один и, если придется, безропотно принять муки. Но в последний момент он смалодушничал и упросил Митю проводить его хотя бы до угла.

Митя согласился. Не сразу, но все-таки согласился.

Они пошли торопливо, благополучно миновали арку

ворот, и в тот момент, когда у Славика совсем отлегло от сердца, откуда-то с неба раздалось:

— Огурец! Стой-ка!

Славик ссутулился и застыл, как под мушкой винтовки: на краю крыши стоял Таракан.

— Куда поканал? — спросил Таракан страшно доброжелательно.

— В больницу.

— В какую?

Славик оправился от первого испуга и схитрил:

— В центральную.

На самом деле Олька лежала в железнодорожной больнице.

— Отец, что ли, загинается? — спросил Таракан.

— Нет.

— Мамка?

— Нет.

— Тогда нечего тебе там делать. Топай сюда.

— Зачем?

— Разговор есть. Лезь. Не пожалеешь.

— К сожалению, я сейчас не могу,— проговорил Славик.— Во-первых, меня послали в больницу.

— Ну, гляди. Придется мне самому слазить. Митька, подержи-ка его.

Митя поглядел наверх, прикинул время, за которое Таракан спустится по пожарной лестнице и выбежит на улицу, и сказал дерзко:

— А чего его держать? Я не нанимался.

— Что-о? — удивился Таракан.

— А то-о! — передразнил Митя и добавил тихо, чтобы Таракан не услышал: — Больно раскомандовался!

Но Таракан имел собачий слух.

— Огурец,— сказал он спокойно.— А ну, врежь ему по сопатке. За мой счет.

Славик оглянулся. По обоим тротуарам равнодушно, как будто ужасного Таракана не существовало в природе, в разные стороны шли люди. По мостовой проехал легковой мотор горисполкома с сигнальной клизмой и с рычагами снаружи.

— Врежь, не сомневайся,— повторил Таракан добрым голосом.— Я отвечаю.

Было ясно, что за послушание Таракан забудет случай на крыше и Славик снова сможет без опаски появляться во дворе. Понял это и Митя. Он покорно взглянул на

Славика большими синими глазами и зажмурился. У Славика сам собой сжался кулачок, и рука сама собой отмахнулась для удара. Но он вовремя спохватился, покраснел от стыда, и вдруг бешенство, такое же, как тогда, на крыше, нахлынуло на него:

— Ничего я не врежу! — закричал он визгливо.— Выйди только на двор, мы тебя так изобьем, болдуин паршивый, что своих не узнаешь! Мало тебя Кулибин-сын накосмырял, еще получишь!

Крыша загремела.

— Бежи! — посоветовал Митя.

И они побежали.

Славик должен был навестить Ольку в больнице и передать ей что-то завернутое в газету.

Когда приятели удрали настолько далеко, что о Таракане можно было на некоторое время забыть, Митя уговорил Славика развернуть сверток. В газете оказалась сущая чепуха: пачка печенья, круглое зеркальце и книжка под названием «Обзор мероприятий по борьбе с чумой в ***-ской губернии». Книжка была библиотечная, изданная в 1911 году и наполовину неразрезанная. Размышляя о том, зачем Ольке понадобилась книга, которую с 1911 года никто не читал, ребята дошли до больницы.

Не без труда — Славик никак не желал выпустить из рук пакет — дежурная нянечка натянула на него халат, и обряженный шиворот-навыворот в белую хламиду Славик отправился вслед за ней по лестнице с каменными балясинами.

Коридор во втором этаже был тихий и очень длинный. «Вот бы где барабанить»,— подумал Славик. Но обдумать как следует эту возможность ему не удалось. Нянечка шепнула: «Поклонись — доктор» — и дернула его в сторону.

Навстречу по самой середине серого половика, никого и ничего не видя вокруг, шел маленький лохматый человек в развевающемся халате, весь в болтающихся тесемках и завязках. Негромко напевая: «...веселый грач был женихом, невестой — цапля с хохолком», доктор промчался, как дрезина, и бесшумно исчез в конце коридора, словно надел шапку-невидимку. Славик успел только заметить, что из носа у него растут седые волосы.

Нянечка ввела Славика в длинную, как вагон, палату. Как в вагоне, поперек комнаты стояли одинаковые кровати под номерами. И табуретки, и тумбочки, и железные спин-

ки кроватей, и шпингалеты на окнах, и стены — все было густо вымазано белой блестящей краской. Четыре кровати были незастланы, с голыми панцирными сетками. На пятой, у окна, что-то лежало.

— Гляди, без фулиганства,— сказала нянечка.— Главный ходить.— И ушла.

Лежащее у окна существо перекатило голову по подушке, и Славик увидел смоляные египетские глаза.

— Не узнал? — Олька выпростала узкую, как бамбуковая палка, руку со вспухшим локтевым шарниром и взяла сверток.

— Нет, узнал...— сказал Славик.— Что вы тут делаете?

— Лежу. Чего же делать? Это правда — на перевозку шведики взять позабыли?

— Нет, почему... Ферму хорошо поставили.

— Нет, я знаю,— она вздохнула.— Не взяли шведики. Не нашли... А они у меня под ящиком спрятаны...

Она достала из свертка зеркальце и стала смотреться.

— Вон какая невеста! — Она слабо улыбнулась, и лицо ее по-старушечьи сморщилось.— Все кости наружу. Доктор говорит, оставайся, мол, у нас: «Поставим тебя в вестибюле заместо вешалки. Кепки будут вешать...» Садись, чего стоишь? Как голуби?

— Не знаю,— сказал Славик.— Я на барабане учусь. Мне в отряде барабан присудили. За рассказ про революцию. И я теперь барабаню.

— Получается?

— Получается. Только, говорят, слишком громко.

— На то и барабан, чтобы громко... А ты давай громче, не стесняйся. Вчера лежу, слышу — за окном пионеры. Барабан дробит, горн играет — так хорошо... Никакой музыки не надо. Куда-нибудь на субботник идут. Так мне стало тепло, уютно. Закрыла глаза и вижу: вышагивают ребятишки по нашим улицам, и у нас, и в Москве, и в Ленинграде, и в Тифлисе шагают, и во Владивостоке... По селам и деревням... Вся Россия поднялась, понимаешь... И шагают под знаменами, в белых блузах и красных галстуках... А пилсудские там всякие, чемберлены притаились за своими кордонами, слушают наши барабаны... Одна я лежу, дура,— добавила она неожиданно.

— Ничего, скоро и вы встанете,— сказал Славик.

— Встану! Меня самый главный врач лечит. Сам Карпов.

— А я его видел. Он песню пел. Про цаплю.

— Ну вот. Он и есть. Доктор Карпов. Ему все равно, хоть ты живой, хоть мертвый, все поет. Чудной, спасу нет! — Она повернулась к Славику, как здоровая, и спросила: — Помнишь письмо, которое нашли в ванной?

— Нет, — сказал Славик,— не помню.

— Ну, как же не помнишь! Письмо, которое писал полковник Барановский своей мамзели. Мы с Танькой тебе показывали.

— Ах да... Просто удивительно, как оно оказалось в подвале.

— В каком подвале? — спросила Олька.

— Ни в каком не в подвале...— Славик немного вспотел.— Я хотел сказать, что в колонке, а получилось — в подвале. Вы больная, вот вам и послышалось почему-то, что в подвале...

Олька молчала.

— Я его и в колонку не клал. Честное пионерское.

Славик украдкой выглянул в окно. Митя сидел в садике и упражнялся плевать на дистанцию.

— А полковник Барановский был больной, тучный дядька,— сказала вдруг Олька.— Пузо еле таскал. На лошадь забраться не мог. Зимой его возили в санках, летом — в пролеточке.

— Называется полковник,— усмехнулся Славик.

— И пользовал его, лечил, значит, этот самый доктор Карпов... Представляешь, умора: щупает полковника, а сам поет: «А утка свахою была, у молодой чулок сняла»... Смехотура... Ты письмо хорошо помнишь?

«Опять письмо,— поежился Славик,— надо бы идти».

— Там вроде бы написано так: «Про меня узнаете у доктора Дриляля». Верно?

— Да,— сказал Славик.— Так написано.

— Ну вот. А теперь слушай. Доктор Дриляля — это и есть доктор Карпов... Ты не смейся.

— А я и не смеюсь.

— А Танька не верит. Я ей дело говорю, а она температуру велит мерить. Смотри сам. Доктор старенький, и песенка у него старинная, еще царского времени. Нянечка говорит — спокон века поет. А припев такой:

Ди-дри, ляля, ди-дри, ляля,
Ди-дри ляля, ляля.

Олька сказала припев шепотом и посмотрела на Славика долгим взглядом.

— Вот какой припев. Понятно? Вполне возможно, и ничего нет смешного, что Барановский насмехался над доктором и прозвал его Дриляля. Бывает у вас так? Только не смейся.

— Я и не смеюсь,— сказал Славик.— Вполне может быть. Он же белогвардеец. Вполне понятно, что дразнится.

— Ну вот! А если Дриляля и есть доктор Карпов, понимаешь, что из этого следует?

— Понимаю. А что?

— А то, что доктор Карпов знает женщину, которой написано письмо. Там сказано: «Про меня узнаете через доктора Дриляля». Значит, доктор и она были знакомые, а может, и служили вместе...

— Как вы хорошо придумали...

— Да не придумала, а так и есть,— безнадежным, слабым голосом проговорила Олька.— Танька тоже обзывает фантазеркой... А я не фантазирую. Я мечтаю...

— Конечно,— поспешно согласился Славик.— Когда дома никого нет, я тоже мечтаю. Хожу по коридору, играю на барабане и мечтаю, как будто я не в коридоре, а на улице и как будто за мной идет длинный отряд. Мы идем, а все остановились и смотрят: и автобусы, и извозчики, и люди — все стоят... А мы идем...

— Вот я лежу и думаю,— прервала его Олька.— Как бы выведать у доктора, что это за женщина...

— Какая женщина?

— Да та, которой писал Барановский!

— А вы спросите у доктора.

— Кабы так просто. Он не скажет.

— Почему не скажет? Скажет. Чего ему, жалко?.. А вообще барабанить легче, когда идет много народу. И стучать надо не так просто, а на мотив. Надо твердить потихоньку под левую ногу: «Старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал, крепко спал. Он проснулся, перевернулся, всех фашистов разогнал». Тогда получится хорошо...

— А мне, знаешь, что кажется,— остановила его Олька.— Что эта женщина — та самая Леночка, про которую начала было рассказывать Клюкова.

— Какая женщина?

— Ты что, нарошно? Та самая, которую найти надо.

Ну? Которой писано письмо. А почему я думаю, что она та самая, про которую говорила Клюкова? Во-первых, потому, что Леночка — фельдшерица...

— А я и тревогу дробить тренируюсь,— вспомнил Славик.— Когда никого дома нет, подворачиваю потуже барашки и выбиваю дробь, как будто война... Как следует потренируюсь, и меня запишут в головную колонну. Впереди пойдем мы, барабанщики, потом — знаменосцы, а уж потом простые люди — без барабанов.— Он спохватился, что невежливо перебил Ольку.— А вы доктора все-таки спросите.

— Я бы спросила, да не знаю, как подступиться. Какой ему интерес признаваться, что лечил махрового беляка. Сейчас у них там, в райздраве, чистки.

— Если он беляка лечил, его в тюрьму надо,— сказал Славик.

— Ишь ты, какой прокурор! Человека надо судить в целом, а не по прыщику на носу. Доктор он настоящий. Меня из могилы вынул. Вот какой доктор... На чуму ездил в летучке, невесту бросил. Вот тебе и Дриляля. Тут про него написано,— она показала книжку про чуму и спрятала под подушку.— Почитаю, изучу, что за человек... Знали бы мы фамилию этой Леночки — все бы выведали! Сказала бы доктору: родня, мол, я Ленке... Крестная, мол, или племянница... Разговорила бы его... Помешал ты мне тогда, у Клюковых-то, фамилию спросить... Быстрый больно...

Славик надулся и опустил глаза.

— Ладно, ничего. Я не порицаю. Мне ли тебя порицать? Сама невесть что натворила. Видишь, койки голые? Это я виновата. Дуром стонала, соседкам спать не давала. Доктор приказал их в другие палаты перевесть. Сколько хлопот понаделала. Лежу теперь одна, так мне и надо.

— А вы не можете сказать, зачем вы пили уксусную эссенцию? — спросил Славик.

— Затем, что дурочка. Больно мои глазки кой-кого морочили. Решила отойти в сторонку, чтобы люди спокойно работали и не волновались по пустякам. А как положили меня сюда, как забегали профсоюзники и комсомольцы, поняла я тогда по-настоящему, до конца осознала, что живу не в старом режиме, не сама по себе, никому не нужная, а что я вроде бы часть большого живого тела — понимаешь,— которому больно от моей глупости... И так мне стало досадно, что я тут лежу, такой нужной стала мне

жизнь, такими родными люди...— Она утерла глаза уголком простыни.

— Вас скоро вылечат,— сказал Славик.

— Скоро-то скоро, а время идет... Послушай, Огурчик, ты любишь отца?

— Люблю.

— Так вот учти. Если мы не узнаем фамилию Леночки, ему будет худо.

— Почему?

— А потому. Исполнишь мою просьбу?

— Конечно. Какую?

— Сходи, пожалуйста, в Форштадт, туда, где мы были, к Клюковым. Сегодня или завтра сходи. Выведай как-нибудь фамилию Леночки.

— А зачем?

— Трудно с тобой говорить, Огурчик. Ослабла, объяснить не могу.

— Нет, я понимаю, конечно. Об этом, я думаю, никому нельзя рассказывать?

— Конечно! У меня законный супруг имеется!

Славик мало понимал, к чему сюда затесался еще и законный супруг, но спросил небрежно:

— Это Мотрошилов, что ли?

— Все-то тебе знать надо! — Оля вздохнула.— Если станет известно, что я за инженера Русакова хлопочу, он меня... У-ух! — Она посмотрелась в зеркальце.— И за дело!

— Вы его не бойтесь. Я папе скажу, он ему задаст.

— Да ты что! Ой, с тобой раньше времени выпишешься! И не думай ничего говорить никому... Не думай... А фамилию запиши на бумажку и передай... поаккуратней... Таньке...

Олька устала. Ее клонило в сон.

Славик обещал исполнить поручение как можно лучше и попрощался.

На лестнице ему снова встретился лохматый доктор. Доктор поднимался на второй этаж и напевал:

Все разошлись, лишь сыч-остряк
Остался допивать коньяк...

Славик прижался к каменной перилине и стал слушать, какой будет припев.

Но доктор шел быстро и скрылся за стеклянной дверью еще до припева.

29

Над роковым вопросом — как выведать фамилию фельдшерицы — Славик и Митя ломали голову и дома и в школе. И когда Кура вызвала их отвечать урок, Митя сообщил, что в Африке водятся дикие звери тигры и евфраты, а Славик с этим полностью согласился. Приятели были поставлены к доске, и в то время, когда им полагалось обдумывать свое поведение и раскаиваться, Славик вдруг увидел, как засияло Митино личико.

Митя так кривлялся и морщился, что Кура рассердилась по-настоящему и применила самое строгое наказание школы имени Песталоцци: приказала ему выйти из класса.

Провожаемый завистливыми взглядами, Митя отправился во двор. Едва дождавшись перемены, Славик нашел его и набросился с расспросами.

— Какой ты быстрый! — проговорил Митя, сияя, как солнышко.— Вынь тебе да положь. Паровозик дашь?

— Дам, конечно!

— Насовсем?

— Насовсем, насовсем! Ты правда чего-нибудь придумал?

— А то нет. Я такое придумал, что она тебе все скажет. Безо всяких-яких.— Митя сделал безжалостно длинную паузу.— Тут секрет в чем? Секрет в том, что тебе она нипочем ничего не скажет.

— Я знаю. Ну?

— Она засомневается. Понял? Подумает: «Чего это Огурец повадился? Ходит и ходит. Наверное, какую-нибудь фамилию выведать хочет».

— Так я это и сам знаю, Митя! Какой ты странный! Если ничего не надумал, так и скажи...

— Как это так не надумал? Очень даже надумал.

— Что?

— А то. Надо, чтобы не ты ее спрашивал. Тебе не скажет.

— Знаешь, Митя, с тобой разговаривать,— нужно ангельское терпение.

— Иди сюда! — Митя схватил Славика за руку выше локтя, оттащил к забору и сказал, таинственно оглянувшись:

— Надо на нее Клешню напустить.

— Кого?

— Клешню. Понял?

— Зачем еще Клешню? Что ты...

— Да она, если ты хочешь знать, на любой вопрос ему станет отвечать. Она ему в ноги кинется. Ты пойми: к ней не кто-нибудь явится, а Клешня. Отпетый бандит... Как девчонку-то звать?

— Лора,— торопливо подсказал Славик.

— Ну вот. Подходит к ней Клешня и требует: «А ну, предъяви мне мою сестренку Лору!» Куда ей деваться? Они эту Лору скорей всего выгнали в голодный год куда подальше, и она загнулась где-нибудь в степи с голодухи. А тут брат родной требует. Это не шутка.

— А Клюкова скажет — в приют свезли,— возразил Славик, ликуя в душе от прекрасной выдумки.

— Ничего не знаю! — входя в роль, отвечал Митя.— Она у вас стояла? Стояла. Вы мне зубы не заговаривайте... Я вам не кто-нибудь. Я Клешня. Нос отрежу, а там будем разбираться.— Митя помолчал и значительно посмотрел на Славика.— Понял?

— Какой ты все-таки умный, Митя,— сказал Славик растроганно.— По-настоящему ведь я сам должен был вспомнить про Клешню, а ты догадался первый...

Перемена кончилась. Сторож позвонил на этажах, сошел во двор, позвонил во дворе, потом вышел через ворота на улицу, позвонил и там на обе стороны, а Митя и Славик, позабыв и про Куру, и про тигров с евфратами, обсуждали тонкости предстоящей операции.

— Только его надо предупредить, чтобы он ее по правде резать не стал,— сказал Славик.

— А это ихнее дело. Нам, главное, фамилию добыть. Финачок ей покажет, и порядок.

— Я думаю, и финачка не стоит показывать. Она от страха все перепутает и скажет неправильную фамилию. Захочет сказать одну, а скажет другую... Ты Клешню ни разу не видал? Ну вот! А он такой страшный! Вылупит белые глазищи и бредит, как будто читает, что у тебя на лбу написано. Ужас как страшно.

Дома Славик безропотно вытащил из-под кровати коробку. Там в отдельных ячейках покоились сладко пахнущие крашеной жестью вагончики, звенья рельсов, стрелки, и семафор, и заводной паровозик.

Пока Митя проверял, все ли на месте, в комнату сунулся Коська. В последнее время отец его диктовал письма все чаще и настойчивей, и у Коськи были разукрашены чернилами не только губы и пальцы, но и уши.

— Пламенный привет! — возгласил он.— Таракан вызывает. Велит всем наверх. Последний скобарь издох, слава тебе господи!

— Мы сейчас, Костя, не сможем,— сказал Славик.— У нас срочное задание.

И, подчеркнув, что об этом не должна знать ни одна живая душа, ребята поведали Коське всю цепь событий, протянувшихся от обрывка письма в колонке к фамилии неведомой фельдшерицы.

Коська слушал, распустив толстые губы. Дошло до него только то, что Клешня должен взять на понт какую-то слободскую мещанку. Но ему хватало и этого.

— А Клешня согласится? — спросил он с громадным интересом.

— Конечно! — кричал Славик.— Митя ему расскажет подробно...

— Я? — Митя удивился.— Почему это я?

— Как почему? Ты же обещал только что.

— Ничего я не обещал. Я тебе мысль подал, а ты ее должен претворить. Фамилию кому надо? Тебе, а не мне. Ты и претворяй.

— Как же я претворю? — Славик растерялся.— Где же я Клешню-то возьму?

— А я почем знаю,— сказал Митя, пересчитывая рельсы.— Ищи.

— Как же я его найду?

— Кого?

— Да Клешню! Обязательно ты что-нибудь напутаешь! Как же Клешня будет пугать Олимпиаду, когда его нигде нету? Он же уехал. Отдавай паровозик!

Если бы не Коська, дело, пожалуй, добром бы не кончилось. Он посоветовал ребятам сходить на станцию. Там у любого транзитного беспризорника можно узнать, где живет не только Клешня, но и сам папа римский. А если ребята скажут вожатой, что Коська умеет дудеть и желает быть пионером, он немедленно отправится на вокзал вместе с ними.

— А Таракан как же? — спросил Славик.

— Ну его! — сказал Коська небрежно.— Малохольный он какой-то стал. Пошли, что ли?

Славик завернул в газету кусок французской булки, и они отправились.

— Железнодорожный шкет,— разглагольствовал по пути Коська,— все равно что газета «Известия». Они

ездят беспрерывно по всей России и знают друг дружку все равно как родня. Их вылавливают на узловых станциях менты, кондуктора, сцепщики — все, кому, в общем, не лень. С ними проводят разъяснительную работу, кормят, как летчиков, галетой и шоколадом, и лиловый негр подает им пальто. А сытый шкет, конечно, убегает, едет дальше и передает по пути братве, где, значит, что и почему... Отвори собачий ящик, вымани его из-под вагона булкой — он любой вопрос осветит...

— Ой! — сказал Славик и остановился.

Посередине тротуара, загородив дорогу, стоял Таракан. По-прежнему костяное лицо его было неподвижно, как и раньше, в зеленых, позолоченных глазах мерцал холодный, нагловатый блеск. Но что-то новое, бесприютное, сиротливое появилось в его облике, в устало приспущенных веках, в острых углах губ, покрытых черными болячками, и если бы не внезапность его появления, Славик, может быть, и не испугался, а пожалел бы дворового атамана.

— Куда? — спросил Таракан без интереса.

— Это Огурец,— сказал Коська, заступивши за Митину спину.— Я говорил, Таракан вызывает. А ему приспичило на станцию.

— Зачем? — Таракан взглянул на Славика, и не было в его бесчувственном голосе ни злости, ни любопытства.

Славик сбивчиво объяснил суть дела.

Таракан насторожился. По лицу его пробежала тень интереса. Задремавший в душе его бесенок встряхнулся в предчувствии рискованной, азартной затеи.

— Чего же ты раньше ушами хлопал? — беззлобно, с веселой звонкостью попрекнул Таракан.— Я бы тебе разом закруглил это дело. Пошли в Форштадт!

— А Клешня?

— Клешня был и весь вышел.

— Куда вышел? — не понял Славик.

— Загнулся твой Клешня. Помер,— сообщил Таракан с той же веселой звонкостью голоса.— С ним — все. Пошли.

Славику понадобилось время, чтобы жестокая новость улеглась в его голове.

— Как же так...— проговорил он потерянно.— Нам фамилию узнать надо, а он помер.

— А тебе что? Возьмем Коську — вполне сойдет за Клешню. И рост подходящий, и рыло в чернилах.

— Разве можно! Коська же по-французски не знает!

— А она знает?! — подскочил Коська.— Я ее так нарахаю, водой будете отливать. «Пламенный привет, мадам! Вы меня не узнаете? Неуловимый ковбой и охотник за черепами Клешня!» И все. Барон, рыдая, вышел.

— Какой Клешня?! — замахал руками Славик.— Что ты! Его же по-настоящему звать Артур.

— Ничего, родная, успокойся! Подумаешь, Артур. Если бы мой тятька был грамотный, он бы меня тоже назвал Артур... Давай показывай, где она обитает!

По пути разговор мнимого Клешни с Олимпиадой был окончательно отработан. Было решено, что Коська сразу, без всякого «пламенного привета» и прочих тонких выражений кинется Олимпиаде на шею и облобызает ее два, а если удастся, и три раза. Радость встречи должна приятно отражаться на Коськином лице и сопровождаться культурными восклицаниями: «Ах, я вас сразу узнал! Ах, вы совсем не изменились на лицо!» А когда Олимпиада немного зачумеет, разъяснить дело: он, Артур, проездом из столицы решил зайти, проведать единственную сестричку, которая вот уже сколько лет так и стоит у него перед глазами. А когда выяснится, что никакой сестрички не существует, переходить на психоз и буйство.

За базаром не меньше чем на версту тянулся монастырский садик, заросший сиренью и акацией. В белой кирпичной стене со времен гражданской войны остался неширокий пролом. Через пролом ради сокращения пути ходили на базар жители дальнего конца Форштадта.

Этим путем и пошли ребята. В прежние времена садик служил кладбищем. Среди кустов попадались железные и каменные кресты, чугунные оградки и несколько склепов. В траве лежали плиты с известными всему городу надписями: «Здесь покоится прах Загоскина, но не того, который писатель в 1812 году, а директор гимназии», «Папочка, папочка, что ты со мной наделал...», «Здесь лежит покойник Павел Сукин, проживший на свете без перерыва 86 лет». Декретом городского Совета в садике хоронить было запрещено. Несмотря на это, каким-то неведомым образом то здесь, то там возникали свежие могилки, новые кресты и новые надписи: «Здесь покоится гражданин Пушков — младенец советский и божий», «Лучший закройщик артели «Красная заря» — раб божий Коротков».

Несколько тревожил ребят вопрос, дома ли хозяин. Впрочем, тревога длилась недолго. Не прошли они по садику и ста шагов, как Славик увидел Клюкову.

Она стояла в тени акации, и в ногах у нее лежал перевязанный надвое мешок. Видно, тащила с базара пуд соли и остановилась передохнуть.

— Вот она! — Славик, как вий, показал на Олимпиаду пальцем.

Коська плюнул на ладонь и пригладил челку. Ребята медленно приблизились и остановились полукругом.

— Давай, Коська,— скомандовал Таракан.

Коська решительными шагами подошел к мадам Клюковой, охватил ее шею и громко чмокнул в щеку.

Она отпихнула его локтем. Он попятился, изображая на лице самое дурацкое выражение, на которое был способен.

— Ты чего, угорел? — Клюкова спокойно утерла щеку концом платка.— Пасха тебе, что ли?

Коська стоял, открыв рот, и хлопал глазами.

— Давай дальше! — подбодрил его Таракан.

— Пламенный привет! — сказал Коська.— Вы меня помните, мадам?

— Как не помнить! — сварливо заговорила Клюкова.— Обожди, я еще заскочу к вам! Посрамлю твоего архаровца! Всего два дня обувалась, а на третий — каблук отлетел. А денег сколько взял, черт усатый! Креста на нем нет! За такие деньги я бы новые туфли купила, мошенник такой, шаромыжник, нэп проклятый...

— Давай при детях не будем обзывать,— сказал Коська.— Денег нету, неси в артель инвалидов. Мой тятька модельный мастер.

— Ты еще меня учить будешь, куда мне туфли носить, стрикулист окаянный. Принесу обратно, пускай задарма чинит, архаровец. Мыслимое ли дело: два раза обулась — и каблук отпал...

— Такую полуторную мадам ни один каблук не сдержит,— возразил Коська.

Таракан тихо выругался и выступил вперед.

— А это что за чучела? — спросила Клюкова.

— Сейчас узнаешь,— проговорил Таракан, вонзив в нее мерцающие зрачки.— Выбирай место, где тебя тут закапывать. Лору помнишь? Девочку такую, Лорочку. Помнишь или вовсе позабыла?

— Батюшки,— Клюкова перекрестилась.— Да ты кто такой?

— Кто я такой, до этого еще дойдет дело. Где Лора?

— А я почем знаю? Ее Клюков увез. Его и спрашивай.

— Когда увез?
— В голодный год.
— Куда?
— А я почем знаю.
— Говори — куда! — Таракан поднял увесистый кусок камня.
— Ой, батюшки, такой маленький, а бандюга! — Клюкова тревожно оглянулась.— Ну, в Самару.
— Врешь!
— Ну и ладно. Вру так и вру.— Она потянулась за мешком. — Некогда мне тут с вами...
Таракан вцепился в нее сзади и дернул так, что на кофточке расстегнулись все кнопки сверху донизу.
— Карау-у-ул! — мелодично пропела Клюкова.
— Здесь караулы не ходят,— пояснил Таракан.— Тут одни покойники ходят, да и те по ночам... Ну так как будем? Скажем, куда девчонку подевали, или не скажем?
— Да я ж тебе говорю, в приют ее сдали... Чего тебе еще надо! В приют! Спроси у Клюкова, если не веришь...
— А у нас есть другие сведения,— спокойно перебил Таракан.— У нас есть сведения, что скушала ты ее в голодный год вместе с супругом. Провернула через мясорубку, начинила пирожки и скушала.
— Чего ты мелешь! Опомнись! — пронзительно закричала Клюкова.— Мы за красных стояли! У нас документы есть! Кто тебе наклепал?
Таракан оттянул ее за рукав в сторонку и спросил вкрадчиво:
— Ленку помнишь?
— Какую Ленку?
— Подружку свою душевную.
— Какая она мне подружка! Она Барановскому была душевная подружка, а не мне. А Лору Клюков в приют увез. Билеты брал до Самары... А до места не довез, кажется... Побег за кипятком и отстал от поезда... У него спрашивай.
— Брешешь ты все,— сказал Таракан.— Ленка с Барановским не гуляла.
— Нет, гуляла.
— Может, не та?
— Как это не та? Одна у нас была Ленка. Фельдшерица.
— Как фамилия?
Клюкова подумала и произнесла слово, которое стоявшие в отдалении ребята не расслышали. На Таракана это

слово подействовало до того оглушающе, что Клюкова с минуту пучила на него глаза. Сперва потихоньку, с опаской, на ходу застегиваясь на перепутанные кнопки, а потом побыстрей, она стала отходить к своему мешку, а Таракан стоял, словно оглушенный, уставившись пустым взглядом на старую заброшенную могилку.

Ребята молча окружили его. Его била мелкая нервная дрожь.

Он глядел в одну точку, губы его шевелились, и можно было расслышать некоторые слова.

— Брешет...— твердил Таракан.— Брешет... Не может этого быть. Брешет...

И, не веря своим глазам, Славик увидел, что по лицу всемогущего владыки двора неумело текут слезы.

30

За базаром зеленел монастырский садик, а за монастырской оградой простирался пустырь. На пустыре в шестнадцать ноль-ноль был назначен первый сбор сводного взвода барабанщиков.

Славик пришел на репетицию на час раньше. Ярко светило солнце. Пустырь поблескивал битым стеклом.

Постепенно стали собираться ребята из других отрядов, все с такими же красными барабанами, как у Славика, все в таких же белых рубашках и в красных галстуках. Потом пришла Таня, и двадцать три пионера стали учиться барабанить в такт.

Вряд ли когда-нибудь в жизни Славик испытывал такое блаженство, как в эту первую репетицию, когда его поставили в середину третьего ряда, и он стоял со своим барабаном в строю совершенно такой же, как другие маленькие барабанщики, справа и слева, спереди и сзади от него, и всем существом своим ощущал себя необходимой и полноправной частью стройного, красивого целого.

Впрочем, блаженство продолжалось недолго. На пустыре поднялся ветер с пылью. Ребята стали чумазые, и Таня отпустила всех по домам.

Дома Славик сидел на кухне и рассказывал прислуге Нюре, что на Седьмое ноября взвод пионеров-барабанщиков пройдет через весь город впереди знаменосцев, что в первых трех рядах — по шесть человек, а в четвертом — пять и что Славик идет в середине третьего ряда, и что

репетиция начинается точно в шестнадцать ноль-ноль. А когда пришла Клаша, Славик рассказал и ей, что репетиция начинается в шестнадцать ноль-ноль, и что его надо искать в середине, в третьем ряду, и что он пройдет с барабаном через весь город. Женщины удивлялись, как бежит время, и обещали выйти на площадь смотреть.

На второй репетиции ветра не было. Ребята барабанили лучше. Поиграли немного — пришел полуштатский в красных галифе. Он велел ребятам построиться в одну шеренгу, достал из большого, как портфель, накладного кармана список и стал выкликать фамилии.

Дойдя до Славика, он отозвал Таню, долго спорил с ней наедине. Она не соглашалась и мотала головой. Полуштатский спрятал список в огромный карман и ушел сердитой походкой, а Таня распустила всех по домам.

На третьей репетиции она кричала на Славика, что он тянет ногу.

Славик старался шагать, как все, и ему казалось, что у него получается. Таня вывела его из строя и заставила маршировать одного. Он шагал и барабанил, а пионеры стояли в одну шеренгу, смотрели на него и ворчали. Потом его снова поставили в строй, и Таня снова стала кричать, что он тянет ногу. Что это значит, Славик не понимал. Он старался шагать так же, как передний. Но Таня опять вывела его из строя и велела отдохнуть. Он стоял на пустыре, глядя с тоскливой завистью, как ребята вышагивали мимо него то в одну сторону, то в другую, оглушительно барабанили и не тянули ногу. На месте Славика, в третьем ряду, шагал пухлый, головастый, довольно противный мальчишка из четвертого ряда.

Так прошло пять минут, десять. Таня словно забыла о Славике. Он догнал ее и пообещал, что больше не будет тянуть ногу. Она поставила его сзади всех. Он очень старался, шагал под команду и стучал палочками совершенно так, как другие. Но Таня остановила взвод и вывела его снова.

— Ничего у нас с тобой, Русаков, не получится,— сказала она, первый раз называя его по фамилии.— Иди домой, а мы решим, кому передать барабан. Надо найти достойную кандидатуру.— Она была расстроена и сердилась.

— Как же домой? — лепетал Славик.— За что?.. Все барабанят, а я домой... За что?.. Я больше не буду...

— Кру-гом! — скомандовала ему Таня.

Ей стало неловко от такой команды, и она повторила мягче:

— Кругом, Огурчик, кругом! Тебе русским языком сказано: тянешь ногу.

Она отвернулась, как будто его уже не было, и хлопнула в ладоши:

— Подравнялись, ребятки! Вспомнили, где левая сторона! Налево шагом марш!

Раздался оглушительный грохот.

— Товарищ вожатая! — кричал Славик.— Мама говорит, у меня абсолютный слух! — Он, спотыкаясь, бежал вслед за ней со своим барабаном.— За что?.. Меня Нюра выйдет смотреть... Я больше не буду...

Гремели двадцать два барабана.

Славику лучше бы было идти домой, но он дожидался конца репетиции. А когда репетиция кончилась, у Тани явилась идея сделать барабанщиком Семку. Она отобрала у Славика барабан и палочки и, стараясь не смотреть на него, сказала:

— Не теряйся, Огурчик. Я тоже не верю, что письмо написано твоей маме. Скоро Оля выйдет из больницы, и мы восстановим истину.

Потом все ушли как-то сразу, и ребята из других отрядов ушли, и Таня с барабаном под мышкой, и, когда никого уже не было, Славику некоторое время мерещилось, что он слышит барабанную дробь. А когда он понял, что барабан у него отобрали навсегда и что ничем этого не поправишь, такая безнадежность навалилась на него, что он не смог даже заплакать...

Впрочем, все это случилось давно, когда не было ни телевизоров, ни растворимого кофе, ни Магнитогорска, ни пенициллина, ни пластинок Утесова, ни ветвистой пшеницы, ни Турксиба, ни духов «Жди меня!», ни принципа дополнительностей Бора, ни генералов, ни мороженого эскимо. Олька давным-давно поправилась, дозналась, что злополучное письмо было адресовано сбежавшей в Харбин неверной жене Таранкова. Барабан Славику, конечно, вернули, и нынешний Славик — Вячеслав Иванович,— если и вспоминает репетицию на пустыре, то не иначе как с улыбкой умудренного жизнью человека.

Антонов С. П. Царский двугривенный. Повесть.
А72 Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1981.—
240 с.

В повести рассказывается, как ее юные герои осознают свою причастность к историческим событиям, относящимся к сложной поре становления Советской власти на Урале.

В серии «Библиотека юношества».

А $\frac{70803-081}{М158(03)-81}$ **Р2**

ИБ № 813

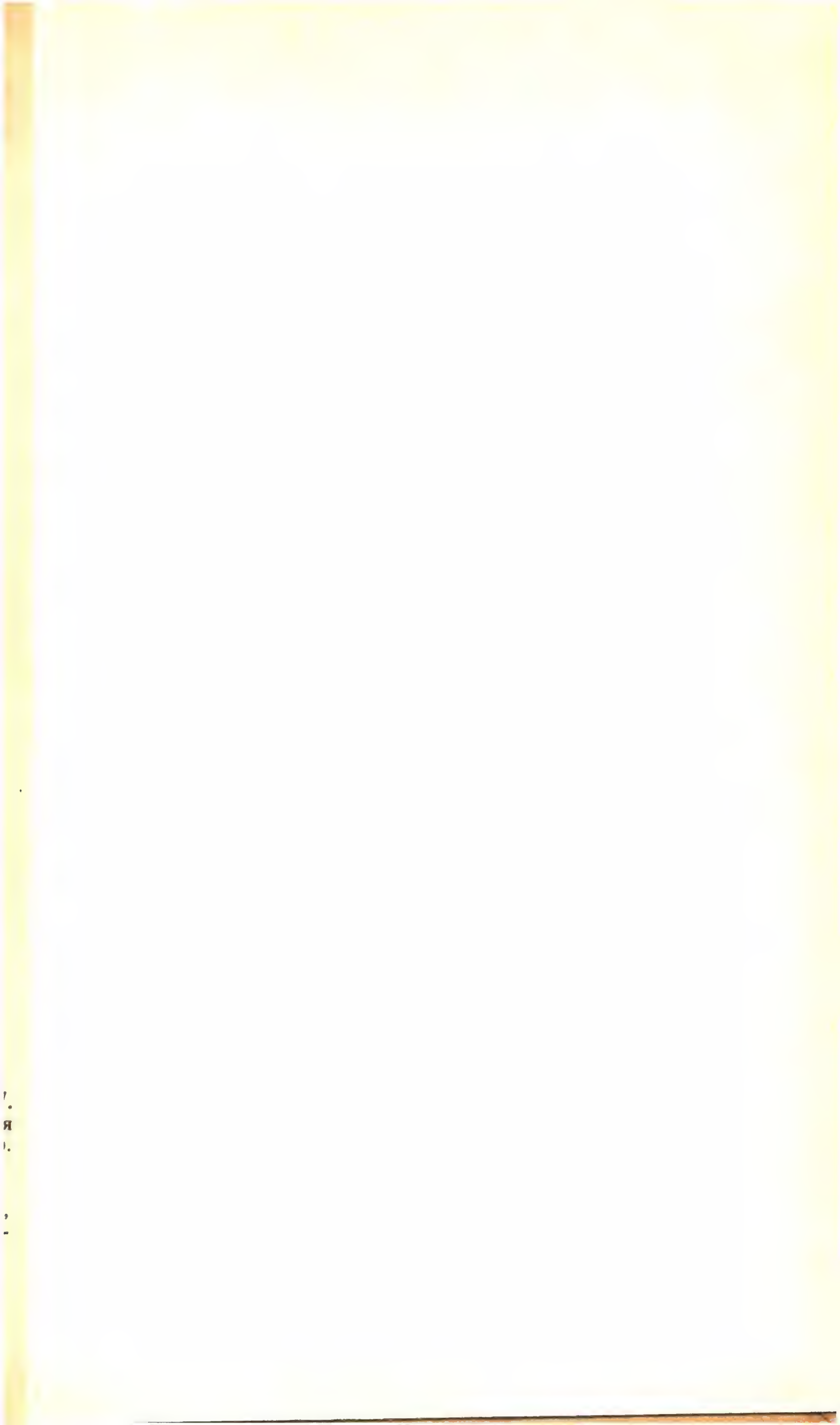
Сергей Петрович
Антонов

ЦАРСКИЙ
ДВУГРИВЕННЫЙ

Редактор С. В. Марченко
Художник В. С. Солдатов
Художественный редактор
О. И. Журавлева
Технический редактор
Т. Н. Черепанова
Корректор Г. Г. Быкова

Сдано в набор 18.06.80. Подписано в печать 04.12.80. НС 12757. Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$. Типографская № 3. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 13,6. Тираж 75000. Заказ 307. Цена 60 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.





60 коп.

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1981


ЦАРСКИЙ ДВУГРИВЕННЫЙ
СЕРГЕЙ АНТОНОВ